

# ГОГОЛЬ



Александр  
Воронский



ЖЗЛ — МАЛАЯ СЕРИЯ

## Annotation

Эта уникальная книга с поистине причудливой и драматической судьбой шла к читателям долгих семьдесят пять лет. Пробный тираж жизнеописания Гоголя в серии «ЖЗЛ», подписанный в свет в 1934 году, был запрещен, ибо автор биографии, яркий писатель и публицист, Александр Воронский подвергся репрессиям и был расстрелян. Чудом уцелели несколько экземпляров этого издания.

Книга А. Воронского рассчитана на широкий круг читателей. Она воссоздает живой облик Гоголя как человека и писателя, его художественные произведения интересуют биографа в первую очередь в той мере, в какой они отражают личность творца. *Гоголь* у Воронского обладает как бы «двойным зрением», позволяющим ему, с одной стороны, с поразительной остротой видеть «вещественность мира», а с другой — прозревать духовный рост человека.

---

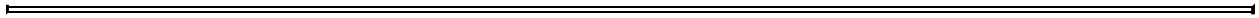
- [Александр Воронский](#)
  - 
  - [ЗАБЫТАЯ КНИГА](#)
  - 
  - [ДЕТСТВО](#)
  - [ШКОЛА](#)
  - [В ПЕТЕРБУРГЕ](#)
  - [«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»](#)
  - [ПУТИ И ПЕРЕПУТЬЯ](#)
  - [«МИРГОРОД»](#)
  - [ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОВЕСТИ](#)
  - [КОМЕДИИ](#)
  - [ЗА ГРАНИЦЕЙ](#)
  - [СКИТАНИЯ, МЫТАРСТВА](#)
  - [«МЕРТВЫЕ ДУШИ»](#)
  - [«ДУШЕВНОЕ ДЕЛО»](#)
  - [«ВЫБРАННЫЕ МЕСТА»](#)
  - [ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, КОНЧИНА](#)
  - [ГЛАВА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ](#)
  - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА](#)
  - [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)



- [ВАЖНЕЙШИЕ ИСТОЧНИКИ И ПОСОБИЯ\[47\]](#)
- [INFO](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)

- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)

- [46](#)
- [47](#)



ЖИЗНЬ®  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ  
ЛЮДЕЙ

*Серия биографий*

Основана в 1890 году  
Ф. Павленковым  
и продолжена в 1933 году  
М. Горьким



МАЛАЯ СЕРИЯ  
ВЫПУСК

1

# Александр Воронский

## ГОГОЛЬ



МОСКВА  
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

\*

*К 200-летию со дня рождения*

*На переплёте воспроизведён портрет Н. В. Гоголя  
работы художника А. Л. Москаленко*

© Воронский А. К., наследники, 2009

© Воропаев В. А., вступительная статья, 2009

© Издательство АО «Молодая гвардия»,  
художественное оформление, 2009

## ЗАБЫТАЯ КНИГА

### Об Александре Воронском и его «Гоголе»

В судьбе этой книги есть нечто поистине гоголевское — роковое и фантастическое. В 1934 году, когда она была уже написана, Александр Воронский с дочерью проходил мимо памятника Гоголю работы скульптора Н. А. Андреева (стоявшего тогда на своем изначальном месте — на Арбатской площади, где ныне находится памятник, созданный Н. В. Томским) и, глядя на сгорбленную, нахохлившуюся фигуру, полускрытую шинелью, сказал (об этом поведала нам сама Галина Александровна): «Кажется, мне удалось приоткрыть тайну Гоголя. Но в то же время остается чувство, что он не позволит сделать это».

Недобрые предчувствия автора сбылись. Законченную и отпечатанную на машинке рукопись украли прямо в издательстве. Воронский вышел с кем-то поговорить в коридор, а когда вернулся в редакцию — портфель исчез. Дали объявления в газетах «Известия» и «Вечерняя Москва»: «У писателя Воронского пропала рукопись. Вознаграждение нашедшему — пятьсот рублей». Не особенно надеясь на возвращение своего труда, Воронский сел писать книгу заново, благо оставались черновики. В новом варианте она ему понравилась даже больше прежней, и когда «пропавшая грамота» отыскалась (тоже довольно странно: рукопись, в которой не хватало многих листов, принес директор одного из учреждений, располагавшихся неподалеку от издательства, и наотрез отказался от обещанного вознаграждения), он заменил в ней первую главу на вновь написанную.

На этом мытарства «Гоголя» не кончились. Книга должна была выйти в свет в 1934 году, к 125-летнему гоголевскому юбилею, в недавно возобновленной А. М. Горьким серии «Жизнь замечательных людей» (выпуск XVII–XVIII). В выходных данных ее указано: «Сдано в набор 31/VIII — 1934 г. Подписано к печати 2/X — 1934 г. Тираж — 50 000». По-видимому, пробную часть тиража успели отпечатать: в доме Воронского появился сигнальный экземпляр. Однако книга не дошла до читателей. 1 декабря 1934 года убит С. М. Киров. Воронский под подозрением, у него начинаются неприятности. Набор «Гоголя» рассыпан. 1 февраля 1937 года писателя арестовали; о дальнейшей его судьбе почти ничего не известно. Сомнение вызывала даже дата смерти в энциклопедиях и справочниках —



1943 год. По данным, полученным семьей из Военной коллегии Верховного суда СССР, Воронского приговорили к расстрелу 13 августа 1937 года. Зная тогдашнюю практику приведения приговоров в исполнение, этот день, по всей видимости, и следует считать датой гибели Воронского<sup>[1]</sup>.

Александра Воронского реабилитировали после XX съезда КПСС. «Гоголь» стал возвращаться к читателям по частям только с середины 1960-х годов.

Дело в том, что несколько экземпляров книги уцелело. Один из них находится в настоящее время в Российской государственной библиотеке, другой — у автора настоящего очерка, третий — у Г. А. Воронской, четвертый — у критика и литературоведа А. Дементьева, пятый — у Ю. Власова, в прошлом известного тяжелоатлета, а ныне писателя. Возможно, сохранились и другие экземпляры. В 1964 году Ю. Манн опубликовал в журнале «Новый мир» (№ 8) сокращенный вариант заключительной главы со своей вступительной заметкой. В дальнейшем отдельные главы из «Гоголя» включались в сборники А. К. Воронского «Избранные статьи о литературе» (М.: Художественная литература, 1982) и «Искусство видеть мир» (М.: Советский писатель, 1987).

Александр Константинович Воронский родился в селе Хорошавка на Тамбовщине, в семье сельского священника. Фамилия семейства происходила от названия небольшой речки Вороны, протекавшей в тех местах. Когда мальчику было пять лет, умер отец, и они с матерью и сестрой стали жить у деда. Как сын покойного священника, Александр имел право на казенное содержание в духовных учебных заведениях и потому поступил в Тамбовское духовное училище, а затем в семинарию. Детство и годы учебы колоритно описаны им в автобиографической повести «Бурса» (1933, 1966), продолжающей традиции писателей шестидесятников и в первую очередь Н. Г. Помяловского с его известными «Очерками бурсы».

Религиозного духа во время пребывания в училище и семинарии Воронский не стяжал. При переходе в последний, шестой класс его исключили за «буйство, вредное в политическом отношении». В 1904 году, еще будучи семинаристом, Воронский вступил в ряды РСДРП; с переездом в Петербург занялся партийной работой — сотрудничал в большевистской печати, принимал активное участие в первой русской революции, а в годы Гражданской войны редактировал в Иваново-Вознесенске газету «Рабочий край». Всесоюзную известность он приобрел в 1920-е годы как редактор первого советского литературно-художественного журнала «Красная новь»,

созданного при участии Ленина и Горького. Вокруг журнала группировались молодые писатели, главным образом так называемые «попутчики». Воронский активно выступает в литературных дискуссиях, становится одним из ведущих критиков, создает ряд «литературных портретов» советских и зарубежных писателей (всего около тридцати). Одновременно он возглавлял издательство «Круг», организовал писательское содружество «Перевал», был членом редколлегии Госиздата.

Литературная позиция Воронского в эти годы определяется защитой классического наследия и продолжающих традиции русской классики писателей-«попутчиков» («во время литературного пожара он выносил мне подобных на своих плечах из огня» — так отзывался о нем М. М. Пришвин в 1926 году)<sup>[2]</sup>. Из художественных произведений Воронского пользовалась успехом мемуарно-автобиографическая повесть «За живой и мертвой водой» (1927, 1970). Для серии «ЖЗЛ» им написана еще одна книга — «Желябов» (1934, выпуск 3–4).

Работе над «Гоголем» предшествовало тщательное изучение источников. Первые биографы Гоголя видели свою главную задачу в собирании и систематизации документальных материалов. Таковы наиболее значительные биографические труды, созданные в XIX веке, — П. А. Кулиша («Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем». Т. 1–2. СПб., 1856) и В. И. Шенрока («Материалы для биографии Гоголя». Т. 1–4. М., 1892–1898). Особо следует сказать еще об одной работе, на которую Воронский не раз ссылается и из которой много цитирует. Это книга В. В. Вересаева «Гоголь в жизни» — своеобразная летопись, составленная из документов и мемуарных свидетельств. Вышедшая в 1933 году в издательстве «Academia», она значительно облегчила труд исследователей, собрав под одной обложкой едва ли не все значительные (и нередко труднодоступные, разбросанные по периодике) источники. Воронский близко знал Вересаева, написал о нем статью, и именно по его инициативе тот был приглашен редактором художественного отдела в «Красную новь».

В истолковании художественных произведений Гоголя Воронский опирается в первую очередь на работы двух своих современников — «Творчество Гоголя» В. Ф. Переверзева (4-е изд. Иваново-Вознесенск, 1928) и «Мастерство Гоголя» Андрея Белого (М.; Л., 1934). Указанные книги, не утратившие своего значения и поныне (монографию Переверзева переиздали в 1982 году, к столетию со дня его рождения; исследование А. Белого вышло в 1969 году в Мюнхене на немецком языке, а в 1996 году

вторым изданием — у нас), представляли как бы два направления в советском литературоведении: социологическое и формалистическое. В. Ф. Переверзев одним из первых предпринял попытку ввести марксистские принципы в анализ литературных произведений, и в его книге упрощенный, зачастую вульгаризированный подход (Гоголь объявлялся выразителем настроений мелкопоместного дворянства) сочетался с достаточно тонким разбором художественной манеры писателя. А. Белый намеренно игнорировал социальную обусловленность гоголевского творчества и всецело сосредоточился на изучении его писательского «мастерства» (стиля и языка в широком смысле) безотносительно к содержанию, рассматривая свое исследование как «введение к словарю Гоголя, к элементам поэтической грамматики». Любопытно, что с книгой Белого Воронский ознакомился до выхода ее в свет — по всей видимости, в верстке: в выходных данных указано: «Сдано в набор 29 декабря 1932 г. Подписано к печати 21 декабря 1934 г.». Во всяком случае, Воронский приводит цитаты из «Мастерства Гоголя» с указанием страниц.

Развивая многие положения Переверзева и Белого, автор «Гоголя» нередко вступает в полемику с ними. Так, книгу последнего он называет «замечательной, но социологически слабой, во многом спорной и односторонней». Сам Воронский стремится избежать крайностей, пытаясь сочетать эстетический анализ с социологическим. Правда, это ему не всегда удается. Андрей Белый, например, писал, что Чичиков в «Мертвых душах» изображен с помощью введения в повествование фигуры фикции, суть которой в «неопределенном ограничении двух категорий: «все» и «ничто»: «не больше единицы, не меньше нуля». Высоко оценивая это наблюдение и в целом соглашаясь с ним, Воронский пытается объяснить, почему тут понадобилась именно фигура фикции: Чичиков — «продукт мануфактурного века с его бездушной расчетливостью, вульгарным эгоизмом, рыночностью»; соответственно и пошлость Чичикова связана с «определенным укладом и видом собственности, именно с той, какая производится легкой капиталистической промышленностью». Подобные жесткие социологические определения встречаются в книге весьма часто. Широкое распространение в гоголеведении получила мысль Андрея Белого о том, что каждый последующий помещик, с которым встречается Чичиков, «более мертв, чем предыдущий». По сути, аналогичную идею высказывает и Воронский (ссылаясь, правда, на С. П. Шевырева, заметившего, что расположение персонажей в «Мертвых душах» отнюдь не случайно и не механистично): «Герои все более делаются мертвыми душами, чтобы потом почти совсем окаменеть в Плюшкине».

У Переверзева Воронский, помимо общего социологического подхода, берет поэтическую генеалогию гоголевских типов: «В Манилове узнается Шпонька, Подколесин; в Ноздре — Чартокуцкий, Кочкарев, Пирогов, Хлестаков; в Собакевиче — Сторченко, Довгочун, Яичница, городничий...» Необходимо, однако, помнить: книги А. Белого и В. Ф. Переверзева являются научными исследованиями, а «Гоголь» Воронского — жизнеописание, адресованное широкому кругу читателей; заимствуя у своих предшественников отдельные моменты и наблюдения, автор стремится воссоздать живой облик Гоголя как человека и писателя. Художественные произведения интересуют биографа в первую очередь в той мере, в какой они отражают личность творца.

В основе концепции Воронского достаточно традиционная схема «двух Гоголей», но развивает он ее вполне оригинально. Еще П. А. Кулиш задавался вопросами о двойственной природе натуры Гоголя — в связи с его письмом матери от 1829 года, в котором он начертил свой портрет в следующих словах: «Часто я думаю о себе, зачем Бог, создав сердце, может, единственное, по крайней мере редкое в мире, чистую, пламенеющую жаркую любовью ко всему высокому и прекрасному душу, зачем Он дал всему этому такую грубую оболочку, зачем Он одел все это в такую страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения». По Воронскому, существовало два Гоголя, «два исконных врага друг другу в одном человеке, даже в подростке, в юноше»: один — нежинский обыватель, готовый, где нужно, поклониться и польстить; другой — вдохновенный художник, творец и гражданин, осознавший ничтожное самодовольство *существователей*. «И чем низменнее окружающая жизнь существователей и чем выше полеты и запросы духа, тем сильнее раздвоение между Гоголем, миргородским барчуком-крепостником и Гоголем, познавшим цену тогдашней действительности». Следуя этой схеме, Воронский подробно говорит обо всех «неприятных» чертах личности Гоголя и «неприглядных» фактах его биографии. Гоголь-помещик женит слугу Яким на крепостной, чтобы у сестер в Петербурге была горничная (факт, многих приводивший в смущение); Гоголь-историк ищет протекции, получает место окольными путями и т. д. Иногда автор книги «оправдывает» Гоголя, например тем, что в ту пору кафедры раздавались легко и их занимали далеко не самые достойные, однако в целом ему порою не хватает, говоря словами П. В. Анненкова, «доверенности к благодатной природе своего героя».

Гоголь у Воронского обладает как бы «двойным зрением», позволявшим ему, с одной стороны, с поразительной остротой видеть

«вещественность мира», а с другой — прозревать духовный рост человека: «По своим природным дарованиям Гоголь должен был оставить произведения, в которых «вещественность» Гомера находила бы вполне органическое и цельное сочетание с высоким и суровым духом Данте». Но с выводом, сделанным Воронским из этого в общем верного наблюдения, трудно согласиться: в Гоголе-де пропал гениальный народный художник — по причине мрачной, отравленной общественной атмосферы, в которой тот жил.

Наличие пропасти между духовным и «вещественным» у Гоголя порождает две противоречащие друг другу стороны его художественного мира — «милую чувственность» полнокровной жизни и «смертное очарование» нежити. И если в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» победу одерживает первое, то в «Вии» — второе. Последнюю повесть Воронский считает автобиографической и переломной в творчестве Гоголя; ее анализ — одно из наиболее удачных мест в книге. В этой теории двойственности можно уловить влияние символистской критики. Так, по Воронскому, у Гоголя «низкая вещественность мира совмещается с горными полетами духа: ведь человек — это чорт и ангел, роза и жаба, колдун и святой». Нельзя не заметить сходство данной сентенции с аналогичными высказываниями Д. С. Мережковского и В. В. Розанова — авторов, с которыми в других случаях Воронский вступает в полемику. Не исключено, что он, прекрасно знавший эмигрантскую литературу (в свое время реферировал ее для Ленина), был знаком и с новейшими русскими зарубежными исследованиями о Гоголе, в частности с книгой К. Мочульского «Духовный путь Гоголя» (Париж, 1934). Во всяком случае, переклички с Мочульским достаточно отчетливы: например, оба автора, указывая на загадочность личности Гоголя и крайнюю поляризацию в ней духовного и материального начал, ссылаются при этом на одни и те же высказывания С. Т. Аксакова, видевшего в Гоголе «не человека», «добычу сатанинской гордости» и одновременно «святого».

Принцип двойственности, коренящийся в особенностях натуры Гоголя («Двуликий Янус» русской литературы. Одно лицо у него вполне земное. Другое — аскетическое, «не от мира сего»), распространяется автором книги на весь гоголевский мир, где двойственны пейзаж, сюжет, язык, сама Русь. Особенно значимым представляется суждение о двойной природе персонажей: «Они погрязли в пошлом существовании, в стяжательстве, но в них брезжит нечто обнадеживающее, некий намек на духовное возрождение». Здесь Воронским уловлена крайне важная, типично «гоголевская» мысль о возможности такого возрождения для каждого

человека. При этом он, как и К. Мочульский, обращает внимание на исключительно ранний интерес Гоголя к духовным проблемам, подтверждением чему может служить повесть «Портрет», в которой художник оставляет мир и становится монахом. «Портрет» Воронский считает пророческим произведением: «В нем уже приоткрывается трагическая судьба Гоголя, его будущая борьба за «высшее озарение», за аскетизм». (Справедливости ради заметим, что автобиографическое значение повести отмечал еще Н. А. Котляревский. Данное наблюдение можно подкрепить одним эпизодом биографии Гоголя, оставшимся неизвестным исследователям: летом 1845 года писатель действительно имел намерение оставить литературное поприще и поступить в монастырь.) Однако окончательный вывод достаточно традиционен: Гоголь «убил в себе художника во имя аскета-проповедника».

Касается Воронский и вопроса о влиянии Гоголя на дальнейший ход русской литературы: «Переписка» с друзьями», дуализм, проповедь нравственного самоусовершенствования во многом определили христианство Достоевского, проповедничество Толстого... От Гоголя идет чувство неблагополучия, катастрофы, страх перед революционным пролетариатом у Розанова, Мережковского, Андрея Белого, Блока, Сологуба».

\*

Появление «Гоголя» стало бы заметным явлением советского литературоведения. Созданная в жанре беллетризованной биографии, соединяющая легкость и изящество стиля с глубиной постижения художественного мира Гоголя, книга Воронского, вне всякого сомнения, имела бы успех у читателей.

Конечно, за время, прошедшее после ее написания, было открыто немало фактов и материалов, заставляющих по-новому осмыслить многие моменты биографии и творчества Гоголя.

Иногда автор без должной критической оценки относится к свидетельствам современников писателя, например к воспоминаниям Ф. В. Булгарина о службе писателя в III отделении, — «факт», ныне отвергнутый большинством исследователей, но удачно вписывающийся в концепцию «двух Гоголей». Порой Воронскому не хватает подлинного историзма и эстетического чутья в трактовке гоголевских произведений. Сегодня мы никак не можем принять его утверждений о том, что «Тарас Бульба»

испорчен юдофобством и православием и что «вторая, более поздняя редакция ухудшила повесть». Не проявляет он и должного такта, касаясь столь непростого и деликатного вопроса, как отношения Гоголя с женщинами, или пытаясь использовать методы психоанализа для объяснения причин его смерти. Не удалось Воронскому избежать и упрощенного, вульгарно-социологического подхода в общей оценке мирозерцания Гоголя. В характеристике писателя как «реакционного утописта» и других подобных формулировках явственно ощущается дух литературоведения 1930-х годов. Поверхностно истолкованы и взаимоотношения Гоголя с людьми из его ближайшего окружения, в частности с ржевским протоиереем Матфеем Константиновским (к тому же ошибочно именуемым «Константинопольским»). Перечисленные неудачи были как бы запрограммированы мировоззрением автора и требованиями надзирающих за тогдашним литературным процессом. Тем ценнее несомненные достоинства книги. Здесь, несмотря ни на какие препятствия, отразилась личность гениального русского писателя. А великое ничем не может быть умалено.

*Владимир ВОРОПАЕВ*

*Не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России.*

*Он пробудил в нас сознание о нас самих.*

*Мы не знаем, как могла бы Россия обойтись без Гоголя.*

*Кто говорил в России о том, что слышала она от Гоголя?*

*Н. Г. Чернышевский.*

*Очерки гоголевского периода*

*Этот гений, стремясь придать своим произведениям наибольшую выпуклость, применил преимущественно тени, чтобы получить еще более темные фоны, и изыскивал такую черную краску, которая была бы еще темней, нежели остальные черные цвета, для того чтобы светлые краски при*

*таком сопоставлении казались бы еще более светящимися; в конце концов при этом способе он дошел до такой черноты, что в его работах не осталось ничего светлого.*

*Джордано Вазари.*

*Жизнь Леонардо да Винчи*



## ДЕТСТВО

Детство свое Гоголь провел в родном гнезде Васильевке-Яновщине, Полтавской губернии. Васильевку, крепостное поместье средней руки, окружали необозримые украинские степи, богатые сочными, острыми травами, пышными цветами, дичью, зверьем. Некогда по этим степям вместе со свободными ветрами, с грозowymi тучами гуляла буйная казацкая вольница, гремевшая набегами, грабежами, разбоем, песнями. Вольницу эту давным-давно смирили русские цари, разделив Украину между панами — помещиками и подчинив им целиком потомков своенравных запорожцев.

Кто были эти паны-помещики, откуда они пришли, по каким правам и заслугам владели они черноземными нивами и крепостными, о том история хранит лишь смутные и далеко недостоверные предания. Права и заслуги помещиков чаще всего были очень сомнительны. Примером тому может послужить родословная Гоголя.

Известно, что некогда жил полковник подольский Остап Гоголь. Верой и правдой Остап служил гетману Дорошенке, а после Дорошенки Яну Собескому (1624–1696), — удачно воевал с турками и даже получил титул гетмана. О нем Кулиш, автор «Записок о жизни Н. В. Гоголя» рассказывает: «Что было с ним потом и какая смерть постигла этого, как по всему видно, энергического человека, летописи молчат. Его боевая фигура, можно сказать, только выглянула из мрака, сгустившегося над украинской стариною, осветилась на мгновение кровавым пламенем войны и утонула снова в тумане».

Является ли этот рубака предком Гоголей — Яновских, — неизвестно, но обычно их перечисляют в таком порядке: помянутый Остап, Прокопий — польский шляхтич, Ян — польский шляхтич, Демьян — священник, Афанасий — секунд-майор, дед Гоголя и Василий, коллежский асессор, отец Гоголя. Родословная пестрая, в ней много неизвестностей и странностей.

Предполагают даже, что Гоголь был происхождения духовного, дворянства же впервые добился его дед Афанасий, вступив в удачную любовную переписку с дочерью магната Лизогуба, Татьяной. Предусмотрительно собрав золотые и серебряные вещи, Татьяна бежала из родительского дома и повенчалась с удачливым поповичем. От братьев Татьяны он получил в приданое несколько десятков крестьянских дворов и

дворянство. В этом и состояла заслуга духовного академика пред отечеством.

Когда родился Гоголь, Васильевка имела около полутора десятка крестьянских душ и тысячу десятин земли. Село было расположено между двумя отлогими холмами. Вид Васильевки имела обычный для тогдашней Украины: избы, крашеные в белую и желтую краску, тополя, сады с темными вишнями и наливными яблоками, огороды, плетни, гумна.

Впереди села каменная церковь с зеленой крышей, окруженная кирпичной оградой. Далее располагались: панский одноэтажный деревянный дом, направо флигель, налево людские строения: двор. Сад, пруды, поля. В саду, запущенном, густо посаженном липами, акациями, около деревянной беседки — грот с большим камнем у входа; здесь любил играть ребенком Гоголь.

Жизнь в Васильевке, как и повсюду в поместьях не крупного достатка была «скромной и уединенной»: «низменная буколическая жизнь».

Выражалась она прежде всего в праздности. Хозяйство велось на крепостных, натуральных началах. Крестьяне содержали панов, их дворню, приживалов и приживалок. Как обращались с крепостными? В отрывке «И. Ф. Шпонька и его тетушка» помещик Сторченко, угощая Шпоньку, перед которым стоял лакей с блюдом, упрашивал: «Иван Федорович, возьмите крылышко, вон другое, с пупком! Да что же вы так мало взяли! Возьмите стегнышко! Ты что ж разинул рот с блюдом? Проси! Становись, подлец на колени! Говори сейчас: «Иван Федорович, возьмите стегнышко» — «Иван Федорович, возьмите стегнышко!» — *проревел*<sup>[3]</sup>, став на колени официант с блюдом».

Помещикам жилось привольно, крестьянам куда хуже. Шенрок — один из биографов Гоголя — находит положение крестьян в то время тяжелым:

«Материальное и экономическое положение крестьян было в большинстве случаев бедственное: их жилища, несмотря на известную любовь малороссиян к чистоте и опрятности, часто поражали крайней нищетой; скота у крестьян было крайне недостаточно; среди крестьянского населения свирепствовали болезни, причем наиболее ужасным бичом являлись болезни венерические, — по словам одного путешественника, — сделавшиеся почти национальной украинской болезнью. Везде дома — хижины, трубы на них хворостяные, иногда связанные соломой». При таком устройстве домов было удивительно, как еще не выгорели все города и деревни. На расстоянии полтысячи верст ни одного лекаря, ни одного доктора: даже в городах врачебный персонал часто совсем отсутствовал.

В то же время помещики разрешали себе «всевозможные развлечения и удовольствия, не исключая и весьма предосудительных и греховных, вроде соблазнительных отношений к своим крепостным девушкам, красы которых нередко служили также предметом угощения заезжих соседей... Вообще, как и в других местностях России, помещики в Украине купались в блаженстве счастья и изобилия, отчасти погружаясь в грязную тину разврата»<sup>[4]</sup>.

А надо еще прибавить, что Шенрок — один из самых ограниченных и благонамеренных «верноподданных»!

Паны-помещики в хозяйстве свое обычно не вникали. Этим занимались управляющие, приказчики, войты. «Приказчик», соединившись с войтом, обкрадывали немилосердно. Они завели обыкновение входить в господские леса, как в свои собственные, наделявали из них множество саней и продавали их на ближайшей ярмарке; кроме того, все толстые дубы они продавали на сруб для мельниц соседним казакам... («Старосветские помещики»).

Но барщина, оброки доставляли помещикам всякого прибитка еще в таком изобилии, что его вполне хватало для утробной жизни. Было много солений, сметаны, коржиков, птицы, свинины. Сбыт был совсем ограниченный. Крестьянское добро в панских чуланах и амбарах гнило, прокисало. Отсюда — обжорство, хлебосольство.

Гостеприимство поддерживалось и потому еще, что жилось до одурения скучно. Панское хозяйство являлось самостоятельным миром, и что происходило за его пределами, узнавалось от заезжих родичей, да от знакомых. Разговоры, впрочем, велись чаще всего самые житейские: об обедах и ужинах, о распущенности дворовых девок и мужиков, о том, что с ними нет сладу и что чем дальше, тем хуже живется.

Не без причины велись такие разговоры. В этот застойный мир уже врывалась новая беспокойная жизнь. Приказчик и войт, продавая дубы, сани, муку, надо полагать, не всегда прятали деньги чулок или в заветную кубышку, но понемногу скупали у обедневших помещиков пахотную землю, лесные участки, входили в силу и начинали теснить старосветских помещиков.

Спокойная жизнь нарушалась этими «дектрярями» и «торгашами». Город, ярмарки, чиновники, взятки, закладные, купчие тоже нарушали «буколическую жизнь». Новшества, казалось, шли откуда-то издалека, со стороны. Напоследок же появлялся «страшный реформатор» и спускал имение, доставшееся по наследству, — с поспешностью, как бы даже необычайной.

Понятно, что каждая Васильевка со своими обитателями имела при общей схожести и свои отличительные черты. В частности, отец Гоголя, Василий Афанасьевич, по своему умственному развитию был выше окружающих его панов. Он получил образование в полтавской духовной семинарии, служил в почтамте, рано вышел в отставку и с тех пор жил деревенской жизнью. Он обладал даром веселого рассказчика и к нему часто съезжались гости.

Неподалеку от Васильевки, в Кибинцах коротал свой век богатый родственник — вельможа Трощинский, бывший министр юстиции, из бывших казачков. Василию Афанасьевичу приходилось исполнять у него обязанности управляющего, режиссера, артиста. Он заботился о развлечениях скучающего магната, ставил спектакли, писал сам пьесы и разыгрывал их. Его пьесы до нас не дошли. Известно, впрочем, содержание его комедий «Роман и Параська» и «Собака Вивця» Гоголь воспользовался ими в своих «Вечерах на хуторе».

Мать Гоголя, Мария Ивановна, урожденная дворянка Косяровская, вышла за Василия Афанасьевича четырнадцати лет, Василий Афанасьевич был старше ее почти вдвое. Про свою семейную жизнь Мария Ивановна сообщает:

«Жизнь моя была самая спокойная; характер у меня и у мужа был веселый. Мы были окружены добрыми соседями. Но иногда на меня находили мрачные мысли. Я предчувствовала несчастья, верила снам. Сначала меня беспокоила болезнь мужа. До женитьбы у него два года была лихорадка. Потом он был здоров, но мнителен...»<sup>[5]</sup>.

Мария Ивановна отличалась сильно повышенной впечатлительностью, религиозностью и суеверностью. Суеверен был и Василий Афанасьевич. Суеверием дышит его рассказ, как он женился на Марье Ивановне: будто бы во сне явилась ему божья мать и показала на некое дитя. Позже в Марии Ивановне он и узнал это самое дитя.

Религиозность и суеверия поддерживались натурально-крепостным укладом. Производительные силы крепостного хозяйства были чрезвычайно низки; человек чувствует повсюду свою зависимость от стихийных сил природы, олицетворяет их и преклоняется пред ними. Индивидуальность человека в крепостном обществе тоже невысока, род довлеет надо всем. Это тоже увеличивает религиозность. В свою очередь, и политический строй укрепляет веру в бога-вседержителя, господина всех сил.

По-видимому, и Василий Афанасьевич и Мария Ивановна к своим крепостным относились сравнительно человечно, но это нужно понимать с

поправкой на то темное время. Крепостная душа рассматривалась как вещь, которой можно располагать по личному произволу хозяина. В доме покровителя и «благодетеля» Трощинского содержались шуты. Некому заштатному «духовному отцу» Варфоломею, нечистоплотному пьянице, ради потехи припечатывали к столу сургучом бороду и заставляли выдергивать по волоску.

При другой забаве в огромную бочку с водой бросались золотые: их получал тот, кому удавалось в одежде достать все брошенные монеты, что случалось, кстати сказать, довольно редко. Унизительные забавы! А ведь Трощинский считался одним из самых просвещенных людей своего времени. Что же подумать о панах-помещиках, менее просвещенных, совсем непросвещенных, каких было большинство? Или, может быть, чем просвещеннее барин, тем хуже?

Николай Васильевич Гоголь родился в марте 1809 года. Точно дата рождения его неизвестна. Сам Гоголь праздновал его 19 марта. До него Мария Ивановна имела двух детей, но они родились мертвыми. Появился на свет Гоголь в Сорочинцах, куда Мария Ивановна отправилась в ожидании родов. Николай рос хилым, болезненным, впечатлительным ребенком. Его мучили страхи; уже тогда он узнал угрызения совести.

А. О. Смирнова в своей «Автобиографии» рассказывает со слов Гоголя, как однажды он остался один среди полной тишины. «Стук маятника был стуком времени, уходящего в вечность». Тишину эту нарушила кошка. Мяукая, она осторожно кралась к Гоголю. Ее когти постукивали о половицы, ее глаза искрились злым зеленым светом. Ребенок сначала прятался от кошки, потом схватил ее, бросил в пруд и шестом стал ее топить, а когда кошка утонула, ему показалось, что он утопил человека, он горько плакал, признался в проступке отцу. Василий Афанасьевич высек сына. Только тогда Гоголь успокоился.

Кошка, напугавшая в детстве Гоголя, встретится потом в «Майской ночи», в ее образе мачеха будет подкрадываться к падчерице с горящей шерстью, с железными когтями, стучащими по полу. Встретится она и в «Старосветских помещиках», серая, худая, одичалая она насмерть напугает Пульхерию Ивановну. Это воспоминание прекрасно передает детские страхи Гоголя.

Другой рассказ Гоголя из его детства касается таинственных голосов.

«Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, когда простолюдины объясняют так: что душа стосковалась за человеком и призывает его; после которого следует неминуемо смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный

зов. Я помню, что в детстве я часто его слушал, иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился, *тишина была мертвая*, даже кузнечик в это время переставал, ни души в саду; но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихии, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины, среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада, и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню» («Старосветские помещики»).

Таинственные голоса — это легкие галлюцинации слуха; их слышат в детстве многие, испытывая при этом не жуткое ощущение, а скорее любопытство. Гоголь испытывает страх. Обращает внимание на то, что уже тогда, ребенком, он ощущает *мертвую тишину* и даже «страшную сердечную пустыню».

Болезненная предрасположенность к страхам укреплялась рассказами старших о том, что «боженька накажет», об аде и мучениях грешников, о дьяволе и нечистой силе.

Гоголь сообщает в одном из писем к матери:

«Я помню: я ничего в детстве сильно не чувствовал, я глядел на все, как на вещи, созданные для того, чтобы угождать мне. Никого особенно не любил, выключая только вас, и то только потому, что сама натура вдохнула это чувство. На все я глядел бесстрастными глазами; я ходил в церковь потому, что мне приказывали, или носили меня; но стоя в ней, я ничего не видел, кроме риз, попа и противного ревеня дьячков. Я крестился потому, что видел, что все крестятся. Но один раз, — я живо, как теперь, помню этот случай, — я просил вас рассказать мне о страшном суде, и вы мне, ребенку, так хорошо, так понятно, так трогательно рассказывали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешников, что это потрясло и разбудило во мне чувствительность, это заронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли». (Письма, I, 260).

Детскую религиозность, ожидания вечных мук Гоголь сохранил во всю свою жизнь. Под конец эти настроения необыкновенно усилились и осложнились, но всегда в них было что-то наивное и примитивное. В этом, как и во многом другом, религиозность Гоголя отличается от религиозности Достоевского и Толстого; в ней больше древнего, чем современного, больше суеверия, чем веры, больше боязни возмездия и наказаний, чем

нравственного чувства.

По всем воспоминаниям о Гоголе — ребенку видно, что он рано стал резко выделять себя из окружающей обстановки и противопоставлять ей себя. Его помыслы, его чувства более, чем это обычно бывает, обращались на себя. Естественно поэтому, что Гоголь ясно помнит всякие страхи, но мы ничего не знаем, что видел Гоголь в родной деревне, в крестьянском быту. Повышенную, даже болезненную сосредоточенность на себе вольно и невольно поддерживали в нем и родители. Хотя Василий Афанасьевич и прибегал иногда «для вразумления» к лозе, но вместе с тем и сильно баловал сына. Еще больше баловала его мать.

Мир ребенка — живой мир. Недаром Гейне говорил, что дети помнят, как он были деревьями и цветами и поэтому способны понимать их. На ранних ступенях своего детства ребенок даже еще и не анимист, он не разделяет мир на живое и мертвое, на тело и душу. Для него все живое, все движется, ничто не покоится. Для него нет зеленого куста «вообще», а есть вот этот куст, вот это дерево. Мир его конкретен. В детском мире Гоголя поражает наличие чего-то неживого, мертвого. В нем много тревожного, неблагоприятного: подстерегают несчастья, мучает совесть, тоска, скука, тишина. Гоголь чутко воспринимает вещи и людей, но всегда только в отношении к себе.

...А жизнь уже крадется кошкой с зелеными злыми глазами: о них, об этих глазах, всю жизнь будет писать художник.

Но куда речь идет только о темных пятнах. Мир Гоголя все еще детский мир. В нем преобладает свежесть восприятия, радость бытия, рост, сила. Припомним чудесное, может быть, лучшее из всего написанного Гоголем, лирическое отступление, каким начинается шестая глава «Мертвых душ»:

«Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишко, село ли, слободка, любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, все, что носило только на себе впечатление какой-нибудь *особенности*, все останавливало меня и поражало... О, моя юность! О, моя свежесть!»

Гоголь указывает в этом отступлении отличительное свойство не только детского мира, но и мира художника: видеть все в «особенностях», в частности, в подробностях, в осязательной телесности. Его привлекает не средне-общее, а конкретное: покрой сюртука, деревянные ящики с гвоздями, с серой, желтевшей вдали, с изюмом и мылом, «дворовая девка в

монистах, мальчик в толстой куртке».

Этот яркий детский мир Гоголь отразил в своих ранних произведениях, Кулиш вполне справедливо пишет:

«В первых своих произведениях Гоголь нарисовал многое, что окружало его в детстве, почти в том виде, как оно представлялось в глазах его. *Тут еще не было художественного слияния в одно предметов, разбросанных по целому миру и набранных поэтической памятью в разных местах и в разные времена.* Поэтому, его «Вечера на хуторе» и некоторые пьесы в «Миргороде» и «Арабесках», при всей незрелости своей, имеют для нас теперь особенный интерес...

Поющие двери, глиняные полы и экипажи, дающие своим звяканьем знать приказчику о приближении господ, — все это должно было быть так и в действительности Гоголевского детства, как оно представлено им в жизни старосветских помещиков. Это никто другой, как *он сам*, вбегал прозябнув в сени, хлопал в ладоши и слышал в скрипении двери: «батюшки, я зябну!». То *он* вперял глаза в сад, из которого глядела сквозь растворенное окно майская темная ночь, когда на столе стоял горячий ужин и мелькала одинокая свеча в старинном подсвечнике»<sup>[6]</sup>.

Очень любил ребенок-Гоголь вещи, ручки, пеналы, перочинные ножи, краски, охотно ткал на гребенке пояски.

Рано научился читать и писать. Обучение происходило под наблюдением Василия Афанасьевича. Он сам задавал сыновьям, старшему Николаю и младшему Ивану, сочинения на разные сельские темы. Мальчиком Гоголь принимал участие в театральных постановках отца и помогал ему. Для подготовки в школу был нанят семинарист.

Капризный, себялюбивый, неуравновешенный, даже болезненный, Гоголь-ребенок соединял в себе богатую восприимчивость к «особностям», ко всему телесному, с мечтательностью, с разными страхами. Однако, тихая деревенская обстановка, обилие зелени, здоровый воздух, достаток давали перевес бодрому и положительному. Но чем же тогда заменить их?



## ШКОЛА

В 1818 году вместе с младшим братом Иваном Гоголь поступил в полтавскую гимназию.

Нравы и порядки дореформенных гимназий отличались грубостью. Детей пороли за незначительные провинности, воспитывали угодничество, раболепство, презрение к «мужикам», трусость. Об этом воспитании наглядное представление дают страницы «Мертвых душ», где изображается жизнь Павлуши Чичикова в школе. И родители и воспитатели учили, что надо надеяться на копейку: товарищи выдадут, а копейка никогда не выдаст. Ценились не успехи в науках, а благонравное поведение, которое измерялось прислужничеством перед старшими, ябедничеством, причем эти прислужники и ябедники первыми же при удобных случаях не только забывали о своих «благодетелях», но и делали им посильные гадости.

Этот казенно-елейный, угоднический дух сохранили детские письма школьника Гоголя:

«Целую бесценные ручки Ваши, имею честь быть с сыновьем моим к Вам высокопочитанием, ваш послушный сын...». «С глубочайшим высокопочитанием и сыновнею преданностью имею честь быть, любезнейшие родители...».

Учился Гоголь вяло и относился к разряду воспитанников «на худом замечании», был склонен к насмешливости, иногда к остроумным и злым проказам. В науках не преуспевал, хотя и отмечал, будто им вполне довольны; однако, просил взять учителя математики, чтобы «поспеть с честью во второй класс».

Таким подросткам, каким был Гоголь, школа того времени давалась нелегко: «воспитанников» стригли под общую гребенку, а у Гоголя было много своенравия, причуд, упрямства. Ученики, подобные Гоголю, могут усердно заниматься, не по звонку, быть хорошими товарищами, но тогда лишь, когда им близко удастся сойтись со сверстниками; все у них выходит по особому. Это раздражает тупых педантов, мундирных душонок, чернильных каракатиц, мокрых слизняков.

В полтавской гимназии Гоголь пробыл недолго. Смерть брата Ивана столь сильно повлияла на него, что его вынуждены были взять из гимназии, где все напоминало ему об умершем.

В мае 1821 года Гоголя удалось поместить в Нежинский лицей

своекоштным воспитанником. На вступительных экзаменах Гоголь отличился только по закону божьему. За обучение в лицее нужно было платить тысячу рублей в год; Василию Афанасьевичу это было затруднительно; спустя год Гоголя приняли на казенное содержание. Вместе с ним в лицее для услужения жил и его дядька — крепостной Семен.

В Нежине Гоголю жилось лучше и легче, но любви к школе он и здесь не обнаружил. Он был ленив, к урокам относился спустя рукава, в учебники заглядывал только когда надо было отвечать урок, был неряшлив, временами насмешлив и дерзок в обращении с преподавателями и сверстниками.

Хилый, болезненный, золотушный, с глазами, обрамленными красными кругами, в пятнах, причем у него текло из ушей, — таким выглядел он в те годы. Присматривал за ним преподаватель немецкого языка Зельднер, получивший за это приношения натурой из Васильевки. Надзиратель плохо говорил по-русски, отличался отменной тупостью, Гоголь нередко издевался над своим воспитателем.

Несколько окрепнув здоровьем, Гоголь стал охотно принимать участие в разных ученических проделках и шалостях. Но в то же время он был скрытен, держался часто особняком. В лицее было достаточно надутых, спесивых школьников, кичившихся богатством родителей, родовитостью, силой, здоровьем. Ничего этого у подростка Гоголя не было. Не то дворянин, не то из «долгогривых».

Семья Гоголя во многом зависела от магната Трощинского. Отец, Василий Афанасьевич, был при нем то управляющим, то актером, а на актеров тогда смотрели, как на шутов. Все это, конечно, школьники знали. Гоголем многие пренебрегали, его дразнили, высмеивали. Неказистый вид, незавидное здоровье тоже располагали к насмешкам над ним. А Гоголь был самолюбив, избалован матерью, знал себе цену.

В своих письмах к родителям Гоголь-отрок прежде всего упорно и настойчиво просит о присылке денег и съестного.

«Ежели угодно вам будет, чтобы я учился танцевать и играть на скрипке и фортепьяно, так извольте заплатить десять рублей в м-ц...»<sup>[7]</sup>

«Еще ежели бы вы прислали денег мне, потому что моя казна вся истощилась. Один мой товарищ купил за восемь рублей ножик; я просил его, чтобы дал мне посмотреть; и я забыл ему отдать сейчас, а положил свой ящик; но через минуту посмотрел в ящик, и его там уже не было. Теперь он говорит, чтобы я отдал сейчас ему восемь рублей, а не то так он возьмет все мои вещи и еще пожалуется гувернерам, и они меня накажут со

всей строгостью. Простите мне это.» (1822 год, 7 января.)

У всех у нас при стесненных обстоятельствах пропадали ножики товарищей, чаще всего воображаемые, и мы просили родителей выручить нас из беды. В этом Гоголь нисколько не оригинален.

Из других писем:

«Книги же... пришлю по почте, как скоро пришлете мне деньги, потому что нечем будет заплатить на почту... А вы, дражайшая маменька, не позабудьте мне прислать съестных припасов...» (без даты.)

«Прошу вас, дражайшие родители, прислать мне сколько-нибудь денег... Также ежели б еще прислали чего-нибудь из съестных припасов...» (Из письма 1822 года, 16 октября.)

«Ежели вы только пришлете деньги через Федьку, то я до Рождества еще буду уже совершенно уметь танцевать...» (1823 года, 3 октября.)

«Ежели можно прислать и сделать несколько костюмов, — сколько можно, даже хоть и один, но лучше, если бы побольше; также хоть немного денег». (1824 года; 22 января.)

«Прошу вас прислать мне денег десять рублей, которые мне следует получить». (1824 года, 13 июня.)

«Прошу вас еще прислать мне синего сукна на мундир или здесь пускай купят». (1824 года, 19 октября.)

«Да еще пришлите, пожалуйста, деньги портному, который мне каждый день надоедает. Вы не поверите, как страшно иметь работодателя». (Без даты.)

По поводу смерти отца Гоголь писал матери в таких словах:

«Не беспокойтесь, дражайшая маменька! Я сей удар перенес с твердостью истинного христианина. Правда, я сперва был поражен ужасно сим известием; однако же не дал никому заметить, что я был опечален, оставшись же наедине, я предался всей силе безумного отчаяния. Хотел даже посягнуть на жизнь свою, но бог удержал меня от сего...»  
Заканчивается письмо такой припиской:

«Ежели вас этим не побеспокою и ежели вы можете, то пришлите мне десять рублей на книгу, которую мне надобно купить, под заглавием «Курс Российской словесности»<sup>[8]</sup>.

Мать Гоголя, Мария Ивановна, недаром утверждала, что сын ее пишет письма только тогда, когда ему нужны деньги. О присылке денег настойчиво и аккуратно Гоголь просит и в последующей переписке, указывая иногда, в какие сроки следует их ему получить. Деньги нужны на книги, на шинель, на летнее платье. Нужны панталоны. Сорок рублей он уплатил за Шиллера. Полтораста рублей требуется на «разные

безделушки»: на галстуки, подтяжки, платочки, на сюртучок — легонький, простенький. Уже более взрослым он просит 120 рублей на фрак, его надо непременно заказать в Петербурге. Деньги нужны на пособия, на изучение языков, опять на платье.

Отрок и юноша Гоголь — сластена, любит плотно поесть; во рту у него постоянно сладкое. Попрежнему очень ценит вещи: ручки, тетради, пресс-папье, карандаши, записные книжки. Не забывает и о других вещах.

«А прислать за нами прошу, ежели можно, желтую колясочку, маленькую». (1825 год, 3 июня.)

«Вы обещали мне для жилета голубой материи». (1825 год, 2 декабря.)

Он расспрашивает о хозяйственных делах, о постройках, о новых заведениях, советует отыскать глину, годную для черепицы: черепичная крыша самая выгодная, для стен же и штукатурки он знает один дешевый способ. Пусть его также уведомят, когда начнут курить водку. Поставили или нет ветряную мельницу? Сад надо распространить засаживанием молодых деревьев. Не утерять бы также времени для дернования и щепки. Дабы успешнее курить водку, следует иметь деревянный прикубник: тогда можно затирать два раза в день. В случае нужды можно пойти на продажу леса.

У школьника Гоголя превосходнейшие задатки рачительного и прижимистого хозяина-помещика, знающего цену копейке и умеющего наживать рубль на рубль: расчетлив он и дотошен. Несомненно, в нем — что-то сродное Чичикову. «Что же касается до бережливости в образе жизни, то будьте уверены, что я буду уметь пользоваться малым»<sup>[9]</sup>. Разве это не слова благоразумного Павлуши? Некоторые же места в письмах напоминают незабвенного героя:

«Каковы у нас дела хозяйственные? Павел Петрович пишет, что отыскалась на том баштане, что за прудом (который весь высох), дыня с пупком, а не с хвостом. Удивляюсь сему необыкновенному феномену, хотел бы я знать причину». (1826 год, 12 сентября.)

«Антону я еще дал на дорогу из своих 4 р. 80 коп; у него не стало, а здесь овес чрезвычайно дорог». (1827 год, 19 сентября.) Это похоже на переписку достопочтенного Ивана Федоровича Шпоньки с его тетушкой:

«А как только получу увольнение, то найму извозчика. Прежней вашей комиссии насчет семян пшеницы сибирской арнаутки не мог исполнить: во всей Могилевской губернии нет такой. Свиной же здесь кормят большею частью брагой, подмешивая немного выигравшегося пива».

Назойливые и однообразные просьбы о присылке денег, припасов, платья, хозяйственные советы и соображения в духе Палуши Чичикова и

Шпоньки наряду с чувствительными выражениями: «дражайшая маменька», «утоление горестей»... «Зная вашу снисходительность и великое обо мне попечение», — производят впечатление неискренности, попрошайничества и самой серой посредственности. Надо принять еще во внимание, что Мария Ивановна действительно имела о сыне Николае великое попечение, не чаяла в нем души и уж, конечно, не забывала снабжать его нужным.

Невыгодное впечатление от этих просьб подкрепляется его низкопоклонничеством перед «благодетелями». О самодуре Трощинском Гоголь пишет:

«Уведомите, когда его высокопревосходительство Дмитрий Прокофьевич будет у нас, что он там найдет хорошего, что ему понравится. Мне с нетерпением хочется знать мнение великого человека даже о самых маловажностях». (1826 год, 10 сентября.)

Однако вместе со всеми этими «маловажностями» в переписке школьника Гоголя звучат и совсем другие мотивы. Встает другой образ, не похожий ни на Шпоньку, ни на Павлушу Чичикова. Гоголю неприятно в лице, одиноко среди сверстников, он часто переживает приступы тяжелой скуки и тоски. Двенадцати лет он жалуется матери:

«Мне после каникул сделалось так грустно, что всякий божий день слезы рекой льются, и сам не знаю отчего». (1821 год, 14 августа.)

«Ночью так у меня болела грудь, что я не мог свободно дышать... и притом мне было очень грустно в разлуке с вами». (1821 год, 6 сентября.)

После смерти отца Гоголь, не получая долго от матери писем, сообщает:

«Ежели бы вы меня увидели, вы бы согласились, что я совсем переменялся. Я теперь, можно сказать, совсем не свой: бегаю с места на место, не могу ничем утешиться...» (1825 год, 26 мая.)

В том самом письме, где Гоголь пишет о желтой колясочке, он просит прислать в дорогу книг: иначе будет «ужаснейшая скука». Правда, жалобы на тоску и скуку порою сменяются уверениями, что стало лучше, что он весел, оживлен, но они опять уступают место сообщениям, что ему нудно, не по себе.

Отрок-Гоголь заносит в альбом свое изречение о свете, который «скоро хладеет в глазах мечтателя. Он видит надежды, его подстрекавшие, несбыточными, ожидания неисполненными». Может быть, в этих признаниях есть много еще книжного, навеянного Шиллером, Байроном, Пушкиным, Жуковским. Это весьма вероятно, даже больше, — это несомненно. Но есть здесь и собственные слова, правдиво передающие

личные настроения. Нет причин усомниться, когда Гоголь признается приятелю Высоцкому, что душа его стремится вырваться из тесной обители, то есть из лица, и что ему во сне и наяву грезится северная столица, или когда ему же он жалуется, будучи в последних классах:

«Я холодел постепенно и разучался принимать жарко к себе все сбывающееся. Без радости и без горя, в глубоком раздумьи, стоял я над дорогою жизни, безмолвно осматривая будущее... в душе моей залегла пустота, какое-то *безжизненное чувство*. И вот ты меня освободил из моего мертвого усыпления. Но надолго-ли? Пришел пост, а с ним убийственная тоска».

Лицейская жизнь и в самом деле отнюдь не прельщала Гоголя. Ученье его не захватывало. Он был нерадив, рассеян, скрытен. За плохие отметки и за разные провинности в поведении его нередко сажали на хлеб и на воду. Лицейстов подвергали телесному наказанию. Кукольник, школьный товарищ Гоголя, сообщает: однажды Гоголя решили высечь, и он, избегая наказания, притворился помешанным, стал пронзительно кричать, его отправили в больницу, где он пролежал две недели, обманывая врача.

Гоголь любил больницу: он скрывался в нее от начальства и уроков; к тому же там часто лежал и его друг Высоцкий.

Предметы преподавались кое-как: «Нас всех учили понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Преподаватель русского языка Билевич сводил занятия на уроках к чтению учебника. Для сокращения времени проказники склеивали листы. «Помнится — рассказывает Базили, — случилось так, что страница оканчивалась словами: — то тех судей... — а следующая после наклеенной начиналась словами: «сдают в архив». При чтении лекции это озадачило Билевича. Сначала подумал он, что это опечатка, и стал искать опечаток в конце книги, там ничего он не нашел, не теряя присутствия духа, он нам пояснил, что это, должно быть, метафора, а под словом «тех судей» надо понимать: — те судейские дела кладут в архив»<sup>[10]</sup>.

По словам того же Базили профессор словесности Никольский, ябедник и наушник, не имел никакого понятия о древней и западной литературе, восхищался Херасковым и Сумароковым, о Пушкине отзывался пренебрежительно и даже поправлял его «стихи», не зная, кому они принадлежат.

Немудрено, что Гоголь в науках не преуспевал. Он не любил математики, плохо шел по языкам, не отличался и в русском правописании. Кулиш утверждает: «Ученические письма Гоголя отличаются отсутствием всяких правил орфографии, что обнаруживает поверхность полученного

поэтом в детстве воспитания, а пожалуй также и его всегдашнюю небрежность... Чтоб сделать их более ясными, я расставил как следует знаки препинания, обратил прописные буквы, на которые он был тогда очень щедр, в строчные и поправил неправильные окончания в прилагаемых именах»<sup>[11]</sup>.

Каким выглядел в школьные годы Гоголь? Учитель Кулжинский вспоминает:

«Как теперь вижу этого белокурого мальчика в сером суконном сюртучке, с длинными волосами, редко расчесанными, молчаливого, как будто затаившего что-то в своей душе, с ленивым взглядом, с довольно неуклюжею походкою, и никогда не знавшего латинского урока. Он учился у меня три года и ничему не научился... Это был талант, неузнанный школою и, ежели правду сказать, не хотевший, или не умевший признаться школе»<sup>[12]</sup>.

Гоголь уходил в себя, скрытничал, сторонился и преподавателей и товарищей. Недаром получил он прозвище «мертвой мысли», то-есть человека, который молчит подобно могиле. Другие его называли таинственным Карлой. Когда бывало расположение, он не знал себе равных в шутках и насмешках. По собственному признанию, он любил подзадоривать товарищей, заставляя их высказываться о нем и таким образом узнавал их мнения.

Внутренно одинокий Гоголь искал развлечений по душе: то он намеревался учиться на скрипке и на фортепиано, то начинал танцевать, заниматься рисованием и просил мать прислать рамы и полотна. Еще в Васильевке Гоголь интересовался театром, наблюдая, как отец занимал Трощинского постановками спектаклей. В последних классах лица увлечение театром сделалось еще более сильным.

«Театр наш готов совершенно, — извещает он мать, — а с ним вместе — сколько удовольствий!» (1827 год, 1 февраля.)

Немного позже опять сообщает:

«Четыре дня сряду был у нас театр и, к чести нашей, признали единогласно, что из провинциальных театров ни один не годится против нашего. Правда, играли все превосходно. Две французские пьесы, сочинения Мольера и Флориана, сочинение Фонвизина, «Неудачный примиритель» Княжнина, «Лукавин» Писарева и «Береговое право» Коцебу. Декорации были отличные, освещение великолепное, посетителей много и все приезжие и все с отличным вкусом.). Короче сказать, я не помню для себя никогда такого праздника, какой провел теперь». (1827 год,

26 февраля.)

В письме к Высоцкому Гоголь тоже признается, что театр «много развлек» его.

По отзывам современников юноша-Гоголь обнаружил превосходный комический талант, был натурален, находчив, необычайно остроумен. Представления, которые он ставил, охотно посещало «общество». Замечательно Гоголь играл госпожу Простакову в «Недоросле»; старухи ему прекрасно удавались. К спектаклям он готовился тщательно, входил в мелочи; например, подготавливая роль старика-скряги, с особой настойчивостью добивался, чтобы нос сходился с подбородком.

Тупоумые педанты-преподаватели не одобряли театральных затей. Помянутый профессор права Билевич донес о лицейском театре окружному попечителю. Ему помог ябедник Никольский: особым рапортом на имя конференции он спрашивал, кем были разрешены театральные зрелища, кто несет за них ответственность и не пытается ли гимназическое начальство спектаклями завлечь детей в свое заведение.

Среди преподавателей возникли дразги и ссоры. В частности, Билевич донес на Гоголя, будто он, спрошенный им в коридоре, не захотел даже остановиться и обнаружил тем самым полное и решительное неуважение к своему наставнику. Билевич донес и на профессора Белоусова, как на вольнодумца и опасного вольтерьянца, который преподавал естественное право... по Канту. Белоусов, один из честных и добросовестных преподавателей, был удален из лицея.

Театр замер. «Театр наш, — писал Гоголь Высоцкому, остановлен, — и я принужден был, повеся голову, сидеть неподвижно на одном месте, перебирая свои уроки». (I т., 1827 год, 17 апреля.)

Другим занятием, помогавшим Гоголю уходить от неприглядной, казенной школьной жизни и рутины в иную область, являлась литература и художественное творчество. Со слов Марии Ивановны, Г. Данилевский рассказывает:

«Страстный поклонник всего высокого и изящного, он на школьной скамейке тщательно переписывал для себя на самой лучшей бумаге, с рисунками собственного изобретения, выходившие в то время в свет поэмы «Цыгане», «Полтава», «Братья разбойники» и главы «Евгения Онегина»<sup>[13]</sup>.

Еще подростком Гоголь просит отца прислать ему «Эдипа», «Поэму Онегина», а также «Собрание образцовых сочинений в стихах и в прозе». Он пишет матери, чтобы она отправила ему «Опыт о русском стихосложении», откладывает деньги на покупку книг любимых писателей.

Он занят также и сочинительством. «Сколько везу к вам теперь



сочинений, картин!» — старается он обрадовать мать. (1826 год, 16 ноября.) «Думаю удивитесь вы успехам моим, которых доказательство лично вручу вам. Сочинений моих вы не узнаете: новый переворот настигнул их. Род их теперь совершенно особенный». (1826 год, 23 ноября.)

В «Авторской исповеди» Гоголь сообщает о своих первых опытах: «Первые мои опыты, первые упражнения в сочинениях, к которым я получил навык в последнее время пребывания моего в школе, были почти все в лирическом и серьезном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим, хотя, несмотря на мой меланхолический от природы характер, на меня часто находила охота пошутить и даже надоедать другим моими шутками...»

Это заявление надо принять с оговорками. Одно из первых стихотворений, акrostих, является сатирой на школьного товарища Бороздина. Высоцкий сообщает, что Гоголь-лицейист написал сатиру на нежинских обывателей: «Нечто о Нежине, или дуракам закон не писан». К лирическому жанру надо, по-видимому, отнести стихотворную балладу «Две рыбки», посвященную его младшему брату. Упоминается дальше трагедия «Разбойники», стихи «Россия под игом татар».

Помышлял ли Гоголь тогда сделаться писателем?

Гоголь это отрицал.

«В те годы, когда я стал задумываться о моем будущем (а задумываться о будущем я начал рано, в те поры, когда все мои сверстники думали еще об играх), мысль о писателе мне никогда не всходила на ум, хотя мне всегда казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий, и что я сделаю что-то для общего добра. Я думал просто, что я выслужусь, и все это доставит служба государственная». («Авторская исповедь».)

Действительно, в переписке Гоголя с родными и товарищами нет указаний на то, что чувствует в себе призвание писателя; наоборот, о государственной службе Гоголь говорит в выражениях, самых решительных. Однако литературные наклонности у Гоголя и в то время были не поверхностны и не случайны, хотя никто не находил в них ничего примечательного. Школьный товарищ Гоголя Любич-Романович вспоминает: Гоголь-лицейист искал сближения с крестьянами и мещанами, после бесед с ними запирался в своей комнате и писал. А Стороженко, знавший Гоголя юношей, рассказывает: однажды он застал его за сочинением стихов и в шутке спросил, неужели он хочет тягаться с Пушкиным, Гоголь ответил: «Да! Не робей, воробей, дерись с орлом!»

Артынов, тоже товарищ Гоголя по гимназии, отмечает: Гоголь любил посещать предместье Нежина, имел там знакомых крестьян, бывал на их свадьбах. Кулиш сообщает:

«Пишущему эти строки случайно достались классные упражнения на заданные темы Гоголя... Сочинения Гоголя отличаются уже некоторой опытностью, разумеется, ученического пера, и силою слова... Литературные занятия были его страстью»<sup>[14]</sup>.

Одно время Гоголь был библиотекарем книг, выписываемых в складчину. Неряха и ленивец, он старательно завертывал в бумажки большой и указательный пальцы читателям и строго следил за сохранностью книги. В ученический сборник «Навоз Парнасский» он сдал повесть «Братья Твердославичи». Повесть решительно и беспощадно забраковали. Гоголь ее уничтожил.

Занимался ли Гоголь точными науками? Попытки заниматься ими он делал. Дяде П. П. Косяровскому он писал:

«На-днях я получил 5-ю часть «Ручной математической энциклопедии», которая только что вышла. Не знаю, как воздать хвалу этому образцовому сочинению, верите ли что я только читая ее понял все то, что мне казалось темным, неудовлетворительным, когда проходил математику. Как удивительно изъяснена теория дифференциального и интегрального исчисления... Мне нравится, что во всем этом курсе (который состоит из тринадцати томов) всякая часть, даже самая арифметика, написана так, что ее никак нельзя учить буквально». (1827 год, 13 сентября.)

Все дело заключалось именно в том, что нежинские педанты заставляли зубрить «буквально», а к буквальному Гоголь испытывал непреодолимое отвращение. Поэтому школа точных знаний Гоголю не дала, а некоторые скудные сведения приобрел он самоучкой. Говорят, он любил ботанику и в свободные часы подолгу беседовал с садовником.

Как бы то ни было, Гоголь вышел из школы с ничтожным запасом научных знаний и за исключением истории и литературы не пополнял их. В этом он решительно уступал и Пушкину, и Жуковскому, и многим другим своим современникам, хотя нуждался в приобщении к культуре больше их, потому что был проникнут религиозными предрассудками, был чрезвычайно суеверен, мнителен.

Миргородская и нежинская среда отличалась изменностью интересов, затхлостью и застоем. Гоголя не затронули еще и в то время громкие отголоски первой французской революции. Восстание декабристов не нашло в нем никакого положительного отклика. Мимо него проносилось

умственное движение передовых умов тогдашнего времени. До многого Гоголь, подобно Ляпкину-Тяпкину, доходил своим умом.

Однако мертвящий гнет окружающей обстановки, повторяем, Гоголь чувствовал глубоко. Он признавался Высоцкому:

«Уединяясь совершенно от всех, не находя здесь ни одного, с кем мог бы слить долговременные думы свои, кому бы мог выверить мышления свои, я осиротел и сделался чужим в пустом Нежине. Я иноземец, забредший на чужбину искать того, что только находится в одной родине, и тайны сердца, вырывающиеся на лице, жадные откровения, печально опускаются в глубь его, где же такое же *мертвое безмолвие*... Не знаю, как-то на следующий год я перенесу это время!.. Как тяжело быть зарыту вместе с созданиями низкой неизвестности в *безмолвии мертвое*! Ты знаешь всех наших *существователей*, всех, населивших Нежин. Они задавили корою свой земности, ничтожного самодовольствия высокое назначение человека. И между этими существователями я должен пресмыкаться... Пожалей обо мне!» (1827 год, 26 июня.)

Гоголь боится, что судьба забросит его с толпой самодовольной черни в самую «Глушь ничтожности». Косяровскому он жалуется:

«Я весь в каком-то бесчувствии». (1827 год, 3 сентября.)

«Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом; быть в мире и не означить своего существования — это было для меня ужасно». (1827 год, 3 октября.)

Это — настоящий вопль юноши, уже измученного «существователями», пошлостью и ничтожеством, вопль, совершенно искренний, несмотря на высокопарность, которая тогда была в ходу и в литературе и в переписке.

Под конец своей школьной жизни Гоголь все чаще возвращается к тягостным условиям, его окружающим.

«Я не говорил никогда, — признается он матери, — что утерю целые шесть лет даром; скажу только, что нужно удивляться, что я в этом глупом заведении мог столько узнать еще... Я больше поиспытал горя и нужд, нежели вы думаете... вряд ли кто вынес столько неблагодарностей, несправедливостей, глупых, смешных притязаний, холодного презрения и пр. Все выносил я без упреков, без роптаний, никто не слышал моих жалоб, я даже всегда хвалил виновников моего горя. Правда, я почитаюсь загадкой для всех; никто не разгадал меня совершенно... Здесь меня называют смиренником, идеалом кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом — угрюмый, задумчивый, неотесанный и пр.,

в третьем — умен, у других — глуп. Как угодно почитайте меня, но только с настоящего моего поприща вы узнаете настоящий мой характер». (1828 год, 1 марта.)

Чрезвычайно любопытно указание Гоголя, что его сверстникам он представлялся человеком, совмещавшим в себе самые противоположные качества.

Гоголя занимает вопрос об его высоких начертаниях:

«Исполнятся ли высокие мои начертания? Или неизвестность зароев их в мрачной туче своей. В эти годы эти долговременные думы свои я затаил в себе. Недоверчивый ни к кому, скрытный, я никому не поверял своих тайных помышлений, не делал ничего, что бы могло выявить глубь души моей...» (1827 год, 3 октября.)

Гоголь говорит о прекрасном деле, какое он призван совершить, о важном, благородном труде на пользу отечества, для счастья граждан, о чистых чувствах своих. Его неодолимо влечет мечта:

«Человек странен касательно внутреннего своего положения. Он завидел что-то вдали и мечта о нем ни на минуту не оставляет его; она смущает покой его и заставляет употреблять все силы для доставки существенного». (1827 год, 17 апреля.)

Его все больше манит столица, государственная служба. Он чувствует в себе присутствие неведомой огромной силы, прозревает судьбу свою: его ожидает нечто необычайное, прекрасное.

Все это уже несколько не похоже на докучные и мелкие просьбы о присылке денег, о колясочках и галстуках, на почтительные справки, что изволит думать сановный благодетель в отставке. Два Гоголя. Два исконных врага друг другу в одном человеке, даже в подростке, в юноше. Иногда это обнаруживается с наивной непосредственностью. После горьких сетований в письме к Высоцкому, Гоголь вспоминает про родную Васильевку:

«Уже два дни экипаж стоит за мною. С нетерпением лечу освежиться, ожить от мертвого усыпления годичного в Нежине, от ядовитого истомления, вследствие нетерпения и скуки. Возвратясь, начну живее и спокойнее носить иго школьного педантизма...»

Опуская несколько строк, неожиданно читаем:

«Нельзя ли заказать у вас в Петербурге портному — самому лучшему — фрак для меня? Мерку может снять с тебя, потому что мы одинакового роста и плотности с тобой... Узнай, что стоит пошитье самое отличное фрака по последней моде, и цену выстави в письме... Мне очень бы хотелось сделать себе синий с металлическими пуговицами; а черных

фраков у меня много...» (1827 год, 20 мая.)

Два Гоголя. Один благоразумный Павлуша, миргородский и нежинский существователь, готовый, где надо поклониться, где надо — польстить; любит покушать, покрепче и подольше поспать, побездельничать, заказать портному, самому лучшему, синий фрак, надоедает матери, бьющейся из-за каждой копейки, попрошайничеством. Какой тяжелой скукой, ограниченным себялюбием веет иногда от отроческих и юношеских писем Гоголя! Неужели они писались в пору, когда душу переполняют самые дерзкие мечтания, самые необузданные порывы? Как не посмеяться над этими вопросами о дыне с хвостом, достойными Митрофанушки Простакова, не подивиться слишком благоразумным для подростка советам о лучших способах курения водки!

...И вот другой Гоголь. Уже он нашел простое и меткое слово для определения нежинских обитателей: существователи; понял, что главная опасность, которую таит в себе миргородская и нежинская повседневность — низменность интересов, эгоизм, бесчувствие, мертвенность, безмолвие. Уже увидел он все это и ужаснулся великим и благодетельным ужасом: ведь это ничтожное самодовольство ложится гробовой плитой на лучшие человеческие помыслы и нужны невероятные усилия, чтобы избавиться от душевного мрака и холода, чтобы оставить свою борозду в жизни и выполнить высокое, творческое предназначение человека.

А творческие силы есть. Есть прекрасные помыслы, надежды. Недаром же — юность, половодье чувств! Неведомое властно влечет к себе. Сил много, они не дают покоя. Еще не ясно, куда, на каком поприще их применить. Ясно одно: в Миргороде и в Нежине применять их негде.

Есть также потребность записывать сказки, предания, обычаи, обряды, песни, поговорки, быть среди простого «Народа»; есть острая наблюдательность, заразительный и звонкий смех...

И чем низменнее окружающая жизни существователей и чем выше полеты и запросы духа, тем сильнее раздвоение между Гоголем, миргородским барчуком-крепостником, и Гоголем, познавшим цену тогдашней действительности.

В уроках жизни недостатка не было.

«Уроки, которые я от них (от людей — А. В.) получил, останутся навеки неизгладимыми. Вы увидите, что со временем за все их худые дела я буду в состоянии заплатить благодеяниями, потому что зло их мне обратилось в добро. Это неперменная истина, что ежели кто порядочно пообтерся, ежели кому всякий раз давали чувствовать крепкий гнет несчастий, тот будет счастливейший».

В этих словах уже звучит нечто от Гоголя последних лет.

Два Гоголя... Скоро у молодого поэта в сознании острой своей раздвоенности, стоном вырывается мучительный вопрос:

«Часто я думаю о себе: зачем бог, создав сердце, может единственное, по крайней мере редкое в мире чистую, пламенеющую жаркою любовью ко всему высокому и прекрасную душу, зачем он дал всему этому *такую* прекрасную душу, зачем он дал всему этому *такую* грубую оболочку? зачем он одел все это в такую страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения? Но мой бранный разум не в силах постичь великих определений всевышнего». (Любек, 1829 год, 13 августа.)

В июне 1828 года Гоголь окончил лицей с правами на чин четырнадцатого класса, между тем как воспитанники с отличными успехами выпускались с правами на чин двенадцатого класса. Учитель Кулжинский рассказывает:

«Окончив курс науки Гоголь, прежде всех товарищей своих, кажется, оделся в партикулярное платье. Как теперь вижу его в светло-коричневом сюртуке, которого полы были подбиты какою-то красною материей в больших клетках. Такая подкладка почиталась тогда *plus ultra* молодого щегольства, и Гоголь, идучи по гимназии, беспрестанно, обеими руками, как будто нарочно, раскидывая полы сюртука, чтобы показать подкладку».

Вообще молодой Гоголь любил хорошо одеваться, но чаще всего костюмы его представляли собой странную и резкую смесь щегольства и неряшества: из-под парика выглядывали вата, из-за галстука торчали тесемки (Кулиш.)

Осенью того же 1828 года вместе со школьным товарищем А. Данилевским Гоголь уехал в Петербург.

## В ПЕТЕРБУРГЕ

Спасаясь от нежинского и миргородского «самодовольствия», от мертвого безмолвия, от скуки и тоски, страшась безвестности и ничтожества, Гоголь отправился в столицу. Там он надеялся найти более живую среду. Когда читаешь письма юноши Гоголя и следишь, с каким нетерпением стремился он в Петербург, закрадываются невольные опасения, не потерпит ли он крушений в своих ожиданиях. Так и случилось. По приезде Гоголь писал матери:

«На меня напала хандра или другое подобное, и я уже около недели сижу, поджавши руки и ничего не делаю. Не от неудач ли это, которые меня совершенно оравнодушили ко всему». (1929 год, 3 января.)

Неудачны были прежде всего посещения влиятельных лиц с рекомендательными письмами от Трощинского. Один из них, Кутузов, болел, принял искателя мест радушно, но ничего для него не сделал. Не помогли так же по разным причинам письма и к другим сановникам. Приходилось ожидать в холодной комнате, беречь каждую минуту, искать новых связей, недоедать. И по внешнему своему виду Петербург не оправдывал ожиданий Гоголя.

«Скажу еще, что Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал. Я его воображал гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые распускали другие о нем, также лживы... Жизнь в столице очень дорогая, приходится жить как в пустыне и даже отказывать себе в лучшем удовольствии — в театре».

Мечтания о государственной службе тоже потерпели крушение: трудно было найти место, к тому же, общественная польза от службы, как стало обнаруживаться, являлась все более и более сомнительной.

Отрицательные черты петербургской жизни и казенной службы Гоголь подметил очень язвительно и умно.

«Каждая столица, — писал он матери, — вообще характеризуется своим народом, набрасывающим на него печать национальности; на Петербурге же нет никакого характера: иностранцы, которые поселились сюда, обжились и вовсе не похожи на иностранцев; а русские, в свою очередь, обьяностранились, и сделались ни тем, ни другим. Тишина в нем необыкновенная, никакой дух не блестит в народе, все служащие да должностные, все толкуют о своих департаментах да коллегиях, все подавлено, все погрязло в бездельных, ничтожных трудах, бесплодно

издерживается жизнь их. Забавна очень встреча с ними на проспектах, тротуарах: они до того бывают заняты мыслями, что поравнявшись с кем-нибудь из них, слышишь, как он браниться и разговаривает сам с собой; иной приправляет телодвижениями размахками рук». (1829 год, 30 апреля.) В этих замечаниях уже сказывается будущий Гоголь. Он верно выхватил существо николаевской столицы: гробовую тишину, подавленность, бюрократизм, призрачность.

Мысль о государственной службе не была все же оставлена, но пришлось думать не об общественной пользе, а об окладах, чинах, о преимуществах. Гоголь ищет выгодное место и одновременно все сильнее обращается к литературным занятиям. В письмах он просит мать и родных сообщать ему сведения об обычаях, о нравах на родине. Ему нужны разные бытовые подробности.

«Я ожидаю от вас описания наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапогов, с поименованием, как все это называется... равным образом названия платья, носимого нашими крестьянскими девками, до последней ленты». (1829 год, 30 апреля.)

Гоголю надо знать о колядках, Об Иване Купале, о русалках, о духах, о домовых, о карточных играх, о поверьях. Он просит выслать комедии отца: «Овца-собака», и «Роман и Параська».

Нужда, между тем, по пятам преследует неизвестного литератора. Приходится опять обращаться с просьбами к матери.

«Мне предлагают место с 100 рублей жалования в год. Но за цену ли, едва могущую выкупить годовой наем квартиры и стола, мне должно продать свое здоровье и драгоценное время? И на совершенные пустяки, — на что это похоже? В день иметь свободного времени не более как два часа, а прочее все время не отходить от стола и переписывать старые бредни и глупости господ столоначальников и проч... Я принужден снова просить вас, добрая, великодушная моя маменька, вспомоществования...» (1829 год, 22 мая.)

Почтительности к чиновному Петербургу у Гоголя не наблюдается. Политически покорный николаевским порядкам, он для выражения своих отношений к тогдашнему быту находил вполне верные и беспощадные слова. Вскоре Гоголю удалось поместить в номере 12 «Сына отечества» без подписи стихотворения «Италия». В этой первой своей печальной вещи, чрезмерно чувствительной, с наивными и неуклюжими рифмами, Гоголь «роскошную страну», где «шумит задумчиво волна и берега чудесные целует», противопоставляет низкому миру холодной суеты.



Меня влечет и жжет твое дыханье,  
Я — в небесах весь звук и трепетанье.

Вот когда еще чувствовал он любовь к Италии и тяготение к ней.

Между прочим, Гоголь едва только приехал в столицу, попытался увидеться с Пушкиным. Анненков со слов самого Гоголя рассказывает, как он отправился к поэту:

«Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость и наконец у самых дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликера. Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой: «дома ли хозяин?», услышал ответ слуги: «почивают!».. Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: «верно, всю ночь работал?» «Как-же, работал, — отвечал слуга, — в картишки играл».

Другое литературное произведение, с каким Гоголь выступил в печати, была идиллия в картинах «Ганц Кюхельгартен». Гоголь выпустил ее, подписавшись Аловым. Трудно сказать с уверенностью, относится ли идиллия к 1827 году, как пометил ее сам Гоголь, или она была написана им в Петербурге, что тоже вполне возможно, так как в ней отразились некоторые настроения, схожие с теми, какие пережил Гоголь в столице.

Гоголь издал идиллию за свой счет и прибегнул к мистификации, сопроводив ее предисловием, будто бы от издателя, решившего «споспешествовать» ознакомлению читателя «с созданием юного таланта».

Действие «Ганса Кюхельгартена» происходит в Германии, которую Гоголь ни разу не видел. В укромной сельской местности мирно доживает свой век благочестивый пастор, с благонравной и верной женой Гертрудой. Благочестивый пастор стал таким только на старости лет, так как раньше, — по его признаниям, — испытал бурную молодость: «Мне лютые дела не новость, но дьявола отрекся я».

У пастора — дочь Луиза, разумеется, дивное создание. По соседству, разумеется, юноша Ганс, нежный мечтатель, не прозревший «никаких горьких дел», не ведавший «земных, губительных страстей». Понятно, Луиза и Ганс самозабвенно любят друг друга. Их ожидает простая, неомраченная жизнь.

Но тут обнаруживаются горестные препятствия. Ганцуем овладевает «тайная печаль». Его влекут «райский места», прошлое, мир греков, между тем, как современный мир «и бледен, и сир, и расквадрачен он на мили». О расквадраченности мира Гоголем потом будет говорено много и упорно, а в

«Переписке» мысль сделает одной из самых основных.  
Мечта ничтожна, но упоительна.

Скажите, кто рассудку верен?  
Чья против зол душа тверда?  
Кто вечно тот же завсегда?  
В несчастьи кто не суеверен?  
Кто крепкой не бледнел душой  
Перед ничтожною мечтой?

Влекомый мечтой Ганц покидает родные края, Луизу, ведет скитальческую жизнь, посещает Афины. Некогда там кипел и волновался «торжественный народ», вились легкие туники, были плющом повиты вакхаические девы. Теперь древности Афин печальны: истлевшие могилы, обломки холодного мрамора, расщепленный карниз упал в заглохшие окопы. Ганц совершает «дальний путь», нигде не находя утешения. Измученный, он «зло смеется над собой». Он осуждает себя, что безрассудно кинулся людям в объятия:

Как гробы холодны они,  
Как тварь презреннейшая, низки;  
Корысть и почести одни  
Им лишь и дороги и близки.

Познав горечь одинокого скитальничества и людскую корыстность, Ганц возвращается благополучно на родину, женится на Луизе, готовый зажить скромной жизнью и «шуму света не внимать».

В идиллии трудно узнать будущего Гоголя: нет и в помине гоголевского смеха, стихи неуклюжи, беспомощны, содержание отвлеченно; вся поэма носит ученический характер подражания немецким романтикам, Жуковскому, Пушкину. Пастор, Луиза, Ганц очерчены вяло. Упоминания о людской корысти неопределенны, но уже налицо.

Однако картины моря, которого Гоголь тоже ни разу не видал, полей, домашнего уюта, местами удачны. Еще любопытнее то двойное бытие, в котором живет Ганц: мир мечты и мир живой действительности. Живая действительность в конце концов побеждает мечту: горячий и светлый, как янтарь, кофе в доме пастора, черешневый его чубук, дым, уходящий

кольцами, веселые жаворонки, волны по золотому хлебу, зеленые морские воды в огнецветных брызгах — осязательные высокопарных и бледных мечтаний об Афинах. «Райские места» расплываются в сизых туманах, уступая место простым, но живым впечатлениям бытия.

«Райские места», мир мечты подобны сновидениям Луизы. Они — болезненны, они непорочны. Луизе, тоскующей по Ганцу, снится в небе что-то ищут два косматых рыцаря в чеканных латах. Рыцари вступают в бой... Появляется воздушный дворец; «на серебряном ковре чудный дух летит в огне». Дух лицезрит фею, настигает ее: «обнялись, слились с тьмой...».

Выплывает из вод дева: «и роскошная нога стелет брызги в два ряда...».

Встает в белом саване мертвец...

И под ним великий конь,  
Необъятный, весь белеет,  
И все более растет,  
Скоро небо обоймет,  
И покойники с покою,  
Страшной тянутся толпою...

И русалку, и мертвецов, и великого коня, и косматого рыцаря читатель встретит в позднейших произведениях поэта; там они сделаются более реальными; куда же мир видений, мечтаний побежден живой сущностью.

Мечты, ночные видения обнаружили свое ничтожество. Светлый взор Ганца блещет веселием, сердце вкушает наслаждения с Луизой. Дьявол тоски, скитальчества посрамлен. Не все, однако, тут благополучно:

И вас, коварные мечты,  
Боготворить уж он не станет,  
Земной поклонник красоты.  
Но что ж опять его туманит?  
(Как непонятен человек!)  
Прощаясь сними он навек,  
Как бы по старом друге верном,  
Грустит в забвении усердном.

Обнаруживается, что коварные мечты и ночные видения все еще манят к себе, несмотря на свое крушение.

В «Ганце» — два мира, причем и тот и другой существуют независимо друг от друга, не сливаясь и не соприкасаясь. Отметим еще, что Гоголь созерцает жизнь как бы в некоем отдалении, со стороны, не ощущая ее в подробностях. Отсюда, очевидно, и посредственность «Ганца».

Начало было не из удачных. «Идиллия» успеха не имела. «Северная Пчела», отметив, что у сочинителя заметно воображение и способность писать хорошие стихи, заявила: что в «Ганце» много несообразностей, «картины часто чудовищны» и «свет ничего бы не потерял, когда сия первая попытка юного таланта залежалась бы под спудом». «Московский телеграф» отозвался об идиллии тоже совершенно пренебрежительно. Гоголь поспешно отобрал в книжных лавках «Ганца», сжег книгу, в чем ему помогал его слуга. До конца своих дней, даже от самых близких Гоголь скрывал, что он является автором идиллии.

В августе 1829 года Гоголь неожиданно уезжает за границу в Любек при странных обстоятельствах. От матери он получил деньги для внесения в опекунский совет, но в совет он их не внес, а отправился путешествовать; матери же в объяснение своего поступка описал романтическую историю.

«Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости?» — оправдывался он перед ней. «Но я видел е... Нет, не назову ее, она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы назвал ее ангелом, но это выражение — не кстати для нее. Это божество, но облаченное слегка в человеческие страсти. — Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение печатлется в сердце; глаза, быстро пронизывающие душу; но их сияния, жгучего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеко... Адская тоска, с возможными муками, кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние!.. Мне кажется, если грешникам уготован ад, то он не так мучителен... С ужасом осмотрелся и разглядел я свое ужасное состояние... Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хотя тень покоя в истерзанную душу...» (1829 год, 24 июля.)

Друзья и знакомые Гоголя, знавшие близко его в то время, утверждают, что никакой романтической истории у него не было. Высокопарные и ходульные выражения не возбуждают и вправду доверия. По поводу их уместно вспомнить, что Гоголь позднее писал о Байроне: «Он слишком жарок, слишком много говорит о любви и почти всегда и исступлением. Это что-то подозрительно».

Почему все-таки Гоголь столь поспешно выехал за границу, почти

бежал? В то же самое письмо, где он изобразил себя жертвой необузданного любовного увлечения, есть строки, объясняющие более убедительно это бегство.

«Я осмелился откинуть... божественные помыслы и пресмыкаться в столице здешней между сими служащими, издерживающими жизнь *так бесплодно*. Пресмыкаться другое дело там, где каждая минута не утрачивается даром, где каждая минута — богатый запас опытов и знаний; но изжить там век, где не представляется совершенно ничего, где все лета, проведенные в *ничтожных* занятиях, будут тяжелым упреком звучать душе, — это убийственно! Что за счастье дослужиться в пятьдесят лет до какого-нибудь статского советника, пользоваться жалованием, едва достающим себя содержать прилично и не иметь силы принести на копейку добра человечеству?... Несмотря на это все, я решился, в угодность вам больше, служить здесь во что бы то ни стало; но богу не было этого угодно. Везде совершенно я встречал одни неудачи... Люди, совершенно неспособные, без всякой протекции, легко получали то, чего я, с помощью своих покровителей, не мог достигнуть...».

Гоголь бежал из Миргорода, Нежина, Васильевки в столицу от себялюбивых «существователей», от «ничтожных занятий» и от бесплодной жизни. Но в столице он встретил тех же существователей и те же ничтожные занятия.

Его преследовали неудачи. Места не выходило. Он видел, как его обходили и обгоняли. «Ганца» пришлось сжечь. Не лучше ли скрыться «в землю чужую», «воспитать свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности?»

Гоголь бежит за границу и чтобы сделать для матери понятнее эту свою поездку, сочиняет романическую историю.

Он бежал также и от себя. «Это училище (заграница — А. В.) непременно образует меня, я имею дурной характер и избалованный нрав; лень и безжизненное здесь пребывание непременно упрочили бы мне их навеки». К тому же в Гоголе рано проснулась страсть к путешествиям.

Восемнадцать лет спустя по поводу первой своей зарубежной поездки он писал:

«Может быть, это было просто то непонятное поэтическое влечение, которое тревожило иногда и Пушкина, — ехать в чужие края, единственно затем, чтобы по выражению его,

Под небом Африки моей  
Вздыхать о сумрачной России...

Проект и цель моего путешествия были очень неясны...».

В своих последующих письмах к матери Гоголь путается, выдумывает новые объяснения. По приезде в Любек он сообщает ей, что забыл объявить главную причину поездки; главная причина — болезнь; «теперь хотя и здоров, но у меня высыпала по всему лицу и рукам большая сыпь». Когда же Мария Ивановна решила, что сын ее заболел дурной болезнью и написала ему об этом, Гоголь, страстно и обидчиво разуверяя ее, ответил: «кажется я вам писал про мою грудную болезнь». Ссылаясь на письмо о большой сыпи, выступившей у него, некоторые предполагают, что Гоголь заболел венерической болезнью, ездил за границу лечиться, причем во встречах художника Пискарева («Невский проспект») с красавицей — проституткой видят отражение некоторых личных событий в жизни Гоголя. Предположение это ничем не подтверждается.

В письме из Петербурга от 2 февраля 1830 года Гоголь дает матери новое объяснение по поводу своей поездки: он уехал за границу, спасаясь от летнего зноя и от столичной духоты. Есть у него и заявление:

«Я не в силах теперь известить вас о главных причинах, скопившихся, которые, может быть, оправдали меня, хотя в некотором отношении. Чувства мои переполнены; я не могу перевести дыхания». (1829 год, 24 сентября.) В конце концов: мог ли Гоголь пережить такое увлечение, такую страсть, чтобы они заставили его бежать из столицы? Это вообще могло с ним случиться, хотя в данном случае и маловероятно.

Какое впечатление произвело на Гоголя первое зарубежное путешествие?

На пароходе ему не понравились англичане. Далее довольно подробно он описывает вид Любека, дома, чистоту, девушек-крестьянок в красивых корсетах, лошадей, здоровых, жирных и медлительных, как украинские волы, — кафедральную церковь, прекрасный климат, учтивость жителей. Но все это внешнее. Гоголь ничего не сообщает ни об общественно-бытовой, ни о политической, ни о культурной жизни Запада. Письма его вполне ординарны, похожи на те, которые писали «наши за границей», миргородские, сорочинские и диканьские грамотные обыватели. Гоголь и сам признается, что за граница не произвела на него заметного впечатления.

«Признаюсь, все это еще как будто скользит ко мне и пролетает мимо, не приковывая ни к чему моего *безжизненного* внимания. Сначала за год пред сим, думал я: каковы-то будут первые впечатления при взгляде на совершенно новое, совершенно бывшее чуждым доселе для меня, на

другие нравы других людей! Как любопытство мое будет разгораться постепенно! Ничего не бывало. Я въехал так, как бы в давно знакомую деревню, которую привык видеть часто. Никакого особенного волнения не испытал я». (Любек, 1829 год, 13 августа.)

«Безжизненное внимание» Гоголь впоследствии обычно испытывал, когда его начинали мучить болезненные приступы меланхолии. Часто от них он спасался дорогой. Может быть и теперь он бежал за границу в один из таких моментов, причем почва была подготовлена разочарованием в столице и неудачами.

За рубежом Гоголь пробыл недолго: в конце сентября он уже возвратился в Петербург со множеством безделушек, мелких и красивых вещей. Этот гиперболист вообще очень любил миниатюрные вещи, особенно — миниатюрно-изданные книги. В Петербурге Гоголь жил вместе с Прокоповичем. Прокопович думал, что его приятель странствует невесть в каких землях. Как же был он удивлен, когда, возвращаясь вечером, встретил слугу Гоголя Якима и узнал, что дома есть гости. «Прокопович вошел в квартиру: Гоголь сидел, облаотясь на стол и закрыв лицо руками» (Кулиш.)

По возвращении в Петербург Гоголь пытался устроиться в театре, но на предварительных испытаниях, по отзывам, не обнаружил дарований. Настроение у него подавленное. Он пишет матери: «Что-то скажет нам новый 30-й год? Какое-то шумное волнение заметно в начале его. Но холодно и безжизненно встретил я его». (1830 год, 1 января.)

Нужда в деньгах. Растрату покрыл А. А. Трощинский, генерал, племянник магната и министра Трощинского; у него же Гоголь занял сто пятьдесят рублей «на обмундировку». Матери он подробно описывает, сколько ему нужно в месяц, чтобы содержаться: в месяц нужно не менее ста рублей; это при всей бережливости, доказательством чего служит его ветхое платье.

Гоголь-существователь порою сильно дает знать о себе. Он просит, например, прислать ему вещи-антики: «Я хочу прислужиться этим одному вельможе, страстному любителю отечественных древностей, от которого зависит улучшение моей участи». (1830 год, 2 февраля.)

Откровенно, до какого-то наивного цинизма.

Есть в переписке и худшие места:

«Вы говорите, почтеннейшая маменька, что многие приехавшие в Петербург, сначала не имевшие ничего, жившие одним жалованием, приобрели себе впоследствии довольно значительное состояние единственно стараниями и прилежанием по службе... не те времена. Тогда,

особливо в царствование блаженной памяти Екатерины и Павла, губернские правления, казенные палаты были самые наживные места. Теперь взятки, господ служащих в них гораздо ограничены; если же и случаются какие-нибудь, то слишком незначительны». (1830 год, 3 июня.)

Отвечая на вопрос, как скорее выслужиться, Гоголь пишет: надо иметь ум, железную волю и терпение; служащий «должен не упускать из виду малейшего обстоятельства».

Рассуждения вполне в духе героев «Ревизора».

Мария Ивановна приступила к перестройке дома в Васильевке. Гоголь входит в самые мелкие подробности перестройки, рассматривает планы, советует, как дешевле и лучше сделать.

По словам Булгарина, в конце 1829 года или в начале 1830 года к нему явился молодой человек со стихами, в которых он, Булгарин, непомерно восхвалялся и ставился наряду с Вальтер-Скотом. Молодой человек рассказал, что он ищет службы и покровителей. Молодой человек был Гоголь. Булгарин походатайствовал за Гоголя перед управляющим Третьим отделением, тогдашним Жандармским управлением и охранкой. Управляющий Фон-фук представил Гоголю в канцелярии место.

Гоголь не побрезговал учреждением, к которому лучшие люди его времени, в том числе и Пушкин, относились с гадливостью и омерзением. Правда, молодой искатель мест явился в Третье отделение только за получением жалования и скоро ушел оттуда, но все же это — неразборчивость.

Конечно, Гоголь хорошо знал, куда он идет и кому он посвящал хвалебные вирши.

В апреле 1830 года Гоголь пристраивается на службу в департамент уделов, где скоро прослыл нерадивым чиновником, хотя сам он сообщал, что служба у него идет хорошо.

Повсюду ищет он покровительства. Он пишет матери:

«Не будете ли видеться с Шамшевскими? Они хорошо знакомы с Панаевым и ведут с ним переписку. В таком случае не мешало бы, если бы они упомянули бы и обо мне. Это, я думаю, ускорило бы мне прибавку жалования». (1830 год, 29 сентября.)

Жил в это время Гоголь на пятом этаже, в убогой обстановке. Приходилось много бегать: «Нельзя надивиться, — как здесь приучаешься ходить». Время проводил благонамеренно: «В девять часов утра отправляюсь я каждый день в свою должность и пробываю там до трех часов; в половине четвертого я обедаю; после обеда в пять часов отправляюсь я в класс, в Академию художеств, где занимаюсь



живописью... В классе, который посещаю я три раза в неделю, просиживаю два часа; в семь часов прихожу домой, иду к кому-нибудь из знакомых на вечер, которых у меня таки не мало. Верите ли, что одних однокорытников моих из Нежина до двадцати пяти человек... Три раза в неделю отправляюсь я к людям семейным, у которых пью чай и провожу вечер. С девяти часов вечера я начинаю свою прогулку, или бываю на общем гулянье, или сам отправляюсь на разные дачи... прихожу домой часов в двенадцать и в час...» (Письмо к матери 1830 год, 3 июня.)

Наряду с таким житьем-бытьем Гоголь продолжает собирать материалы, расспрашивать родных про старину, обо всем этом ему надо знать «с подробнейшей подробностью». «Все это имеет для меня цену. В столице нельзя пропасть с голоду имеющему хоть скудный от бога талант».

В «Отечественных записках» 1830 года в февральской книжке появляется его рассказ «Басаврюк, или вечер накануне Ивана Купала» без имени автора, настолько переделанный издателем Свиным, что позже Гоголь в предисловии к «Вечерам» написал о барышниках, которые выманивают рукописи и печатают затем такое, что рассказчики совсем не узнают в напечатанном своих рассказов.

«Северные Цветы» помещают отрывок Гоголя из исторического романа за подписью ОООО. В январе 1831 года «Литературная газета» принимает главу его из повести «Учитель» (Подписано А. Глечик) и в № 4 статью «Женщина» за настоящей подписью.

В марте 1831 года Гоголь, предварительно уволившись из департамента уделов, поступает с помощью Плетнева учителем истории в Патриотический институт с жалованием 400 рублей в год. В переписке он жалуется на «геммороиды».

У Логиновых Гоголь делается наставником детей. Ученик М. Логинов вспоминает: «у Гоголя была заметна склонность к новаторству. Он не позволял употреблять шаблонных выражений, вводил в преподавание много смешного, анекдотического. Оставляя большие пробелы, он умел манить ученика вперед» (Кулиш.)

Жилось Гоголю все еще нелегко. Сологуб рассказывает, что летом 1831 года на вакациях в Павловске от бабушки он услышал о «каком-то студенте», который «пописывал», у тетки его — Васильчиковой — он был наставником детей. На даче у этой бабушки в обществе приживалок худощавый студент, бедно одетый, в присутствии Соллогуба читал свою рукопись. Чтение было замечательное. «Какой-то студент» оказался Гоголем, а читал он про украинскую ночь. У Васильчиковой было пятеро детей. Один из сыновей родился идиотом. Гоголь был его наставником;

приходилось раз по двадцать твердить: «Вот это, Васенька, барашек — бе...е...е..., а вот это корова — му...у...му..., а вот это собачка — гау... ау...ау...». «Признаюсь — заключает свой рассказ Соллогуб, — мне грустно было глядеть на подобную сцену, на такую жалкую долю человека, принужденного из-за куска хлеба согласиться на подобное занятие». («Воспоминания».)

Круг знакомств Гоголя понемногу все же расширяется и делается разнообразным. Молодой поэт отличался настойчивостью и умел проникнуть, куда хотел. У Плетнева Гоголь встречается с Пушкиным. Его принимает сановный Жуковский. Его уже знают среди литераторов.

«Вечера на хуторе близ Диканьки», как издание пасечника Рудого Панько, получают цензурное разрешение и печатаются. Не без самохвальства Гоголь пишет матери:

«Письма адресуйте ко мне на имя Пушкина, в Царское село».

Между тем, в столице свирепствует холера. Гоголь подробно описывает матери, как от нее лечат. В письме Пушкину он жалуется: «В Петербурге скучно до нестерпимости. Холера всех поразогнала во все стороны, и знакомым нужен целый месяц антракта, чтобы встретится между собой». (1831 год, 21 августа.)

На скуку он жалуется и Жуковскому. Одно утешение — русская литература:

«Что-то будет далее? Мне, кажется, что теперь воздвигается огромное здание чисто-русской поэзии. Страшные граниты положены в фундамент, и те же самые зодчие выведут стены, и купол, на славу векам! Да поклоняются потомки и да имеют место, где возносить умиленные молитвы свои». (1831 год, 10 сентября.) Пророческие слова, не лишённые, однако, расчетливой лести. Вообще в письмах Гоголя к известным людям, или к людям с положением, много грубого заискивания.

Лето Гоголь провел в Павловске и в Царском селе... «Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я», — с гордостью пишет он А. Данилевскому.

В сентябре 1831 года выходит из печати первая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Посылая книгу матери, Гоголь говорит, что она есть плод отдохновения и досужных часов. «Она понравилась всем, начиная от государыни». Он надеется скоро помогать родным.

К этому же времени относится его знакомство с Анненковым, вдумчивым и наблюдательным критиком, и впоследствии автором превосходных воспоминаний о Гоголе. Между прочим, Анненков писал о

Николае Васильевиче тех лет:

«Он был весь обращен лицом к будущему, к расчищению себе путей во все направления, движимый потребностью развивать все силы свои, богатство которых невольно сознавал в себе. *Необычайная житейская опытность, приобретенная размышлениями о людях, высказывалась на каждом шагу.* Он исчерпывал людей так свободно и легко, как другие живут с ними. Не довольствуясь ограниченным кругом ближайших знакомых, он смело вступал во все круги... Он сводил до себя лица, стоявшие, казалось, вне обычной сферы его деятельности, и зорко открывал в них те нити, которыми мог привязать к себе. Искусство подчинять себе чужие воли изощрялись вместе с навыком в деле, и мало-помалу приобреталось не менее важное искусство направлять обстоятельства так, что они переставали быть препонами и помехами, а обращались в покровителей и поборников человека.

Степенный, всегда серьезный Яким состоял тогда в должности его камердинера. Гоголь обращался с ним совершенно патриархально, говоря ему иногда: «Я тебе рожу побью», — что не мешало Якиму постоянно грубить хозяину...

Сохраняя практический оттенок во всех обстоятельствах жизни, Гоголь простер свою предусмотрительность до того, что раз, отъезжая по делам в Москву, сам расчертил пол своей квартиры на клетки, купил красок и, спасая Якима от вредной праздности, заставил его изобразить довольно затейливый паркет на полу во время своего отсутствия»<sup>[15]</sup>.

О практическом направлении таланта Гоголя, соединенном с нежной деликатностью души, писал и Кулиш (I т., стр. 100.) Шенрок тоже отмечает: «Несомненно, что Гоголь — практический человек сильно отличался от Гоголя-идеалиста». (II т., стр. 36.) Но при своей несомненной практичности Гоголь вместе с тем сплошь и рядом обнаруживал и крайнюю беспомощность в житейских делах.

«Патриархальные отношения к Якиму не ограничивались только угрозами побить. Гоголь и бивал своего крепостного слугу. По возвращении из летней поездки в Васильевку, Гоголь жаловался матери: «Яким научился в деревне пьянствовать». Дальше следует приписка: «Я Якима больно...» (1832 год, 22 ноября.)» Шенрок из благоговения перед Гоголем опустил главное, что он избил Якима.

Пьянствовал Яким тоже не спроста. Гоголь взял из Васильевки подросток-сестер для обучения в Патриотическом институте. Чтобы иметь при них свою горничную, Якима женили на крепостной девушке Матрене. Про Якима и Матрену Гоголь сочинил потом веселые куплеты. «И с

Матреной наш Яким потянулся прямо в Крым».

Все это куда как неприглядно даже и по тому невзыскательному времени!

Анненков рассказывает далее о Гоголе:

«Он надевал обыкновенно ярко-пестрый галстучек, взбивал высоко свой завитый кок, облакался в какой-то белый, чрезвычайно короткий и распашной сюртучок, с высокой талией и буфами на плечах, что делало его действительно похожим на петушка».

Получалась помесь Хлестакова с Чичиковым!

*«Он необычайно дорожил внешним блеском, обилием и разнообразием красок в предметах, пышными, роскошными очертаниями, эффектом в картинах и природе... Полный звук, ослепительный поэтический образ, мощное, громкое слово, все, исполненное силы и блеска, потрясало до глубины сердца».*

Отметив, что Гоголь был не лишен примеси суеверия, Анненков продолжает:

«Он решительно ничего не читал из французской изящной литературы и принялся за Мольера только после строгого выговора, данного Пушкиным за небрежение к этому писателю. Также мало знал он и Шекспира (Гете и вообще немецкая литература почти не существовали для него)» (стр. 57–59.)

...Следом за первой частью вышла и вторая часть «Вечеров». Успех их был необычайный; многие стремились увидеть Гоголя, послушать его мастерское чтение. Он хвалился матери: «мне любо, когда не я ищу, а моего ищут знакомства».

Летом 1832 года, как уже было помянуто, Гоголь гостил в родной Васильевке. В Петербурге он сильно отощал и побледнел. По дороге сделал остановку в Москве, где познакомился с Аксаковым, Погодиным, артистом Щепкиным, сошелся близко с Максимовичем.

По поводу своего первого знакомства с Гоголем С. Т. Аксаков повествует:

«Наружный вид Гоголя был тогда совершенно другой и невыгодный для него: хохол на голове, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородок, большие и крепко накрахмаленные воротнички придавали совсем особую физиономию его лицу: нам показалось, что в нем было что-то хохлацкое и *плутоватое*. В платье Гоголя приметна была претензия на щегольство. У меня осталось в памяти, что на нем был пестрый светлый жилет с большой цепочкой... К сожалению, я совершенно не помню моих разговоров с Гоголем, в первое наше свидание: но помню, что я часто

заговаривал с ним. Через час он ушел... Константин тоже не помнит своих разговоров с ним... но помнит, что он держал себя неприветливо, небрежно и как-то свысока, чего, разумеется, не было, но могло так показаться. (Почему же «разумеется на было»? — А. В.) Ему не понравились манеры Гоголя, который *произвел на всех без исключения невыгодное, несимпатичное впечатление*. Через несколько дней, в продолжение которых я уже предупредил Загоскина, что Гоголь хочет с ним познакомиться и что я приведу его к нему, явился ко мне довольно рано Николай Васильевич. Я обратился к нему с искренними похвалами его Диканьке: но видно слова мои показались ему обыкновенными комплиментами, и он принял их очень сухо. Вообще в нем было что-то отталкивающее, не допускающее меня до искреннего увлечения и излияния, к которым я способен до излишества. По его просьбе мы скоро пошли пешком к Загоскину. Дорогой он удивил меня тем, что начал жаловаться на свои болезни и сказал даже, что болен неизлечимо. Смотря на него изумленными и недоверчивыми глазами, потому что он казался здоровым, я спросил его: «Да чем же вы больны?» Он отвечал неопределенно и сказал, что причина болезни его находится в кишках.

Дорогой разговор шел о Загоскине. Гоголь хвалил его за веселость, но сказал, что он не то пишет, что следует, особенно для театра. Я легкомысленно выразил, что у нас писать не о чем, что в свете все так однообразно, гладко, прилично и пусто, что

...Даже глупости смешной  
В тебе не встретишь, свет пустой.

Но Гоголь посмотрел на меня как-то значительно и сказал, что «это неправда, что комизм кроется везде, что живя посреди него, мы его не видим; но что если художник перенесет его в искусство, на сцену, то мы сами над собой будем валяться со смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его». Рассказав далее о скучном и сером поведении Гоголя у Загоскина, которого он навестил еще однажды при другом приезде в Москву, Аксаков отмечает гоголевский юмор:

«В его шутках было очень много оригинальных приемов, выражений, складу и того особенного юмора, который составляет исключительную собственность малороссов; передать их невозможно. Впоследствии, бесчисленными опытами убедился я, что повторение гоголевских слов, от которых слушатели валялись со смеху, когда он сам их произносил — не

производило ни малейшего эффекта, когда говорил их я или кто-нибудь другой»<sup>[16]</sup>.

В своих письмах, да и во многих воспоминаниях Гоголь встает сплошь и рядом как заурядный миргородский и нежинский «существователь». Но он был также и художник — творец, человек, глубоко переживший все низкое, нелепое, глупое и жалкое. В «Вечерах на хуторе» мы видим победу художника — творца над своей посредственной практичностью и неразборчивым приспособлением к обстоятельствам.

## «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»

Общеизвестен рассказ самого Гоголя о выходе «Вечеров»: «Любопытнее всего, — писал он Пушкину, — было мое свидание с типографией: только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. Это меня несколько удивило; я к фактору, и он, после некоторых ловких уклонений, наконец, сказал, что «штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, оченно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву». Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни». (I том, 21 августа 18331 года.)

Пушкин тоже признавался:

«Сейчас прочел «Вечера на хуторе близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Вот это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился». (Письмо к Воейкову, 1831 год.)

Пушкин первый отметил талант Гоголя, его земной, реальный характер, но с легкой руки его на «Вечера» упрочился взгляд, будто в них только и есть одна непринужденная веселость. Утверждали и утверждают, будто в этих повестях нет смысла, автор не отдавал себе ясного отчета в их художественном значении, писались они для заработка; Гоголь не преследовал в них никакой определенной цели, ни назидательной, ни литературной. Так, например, смотрит на «Вечера» Нестор Котляревский в своей книге «Гоголь».

Этим и подобным утверждениям способствовал и сам писатель, заявив в «Авторской исповеди», что он первое время писал вовсе не заботясь, зачем, для чего и кому из этого выйдет какая польза. Гоголь имел здесь в виду особую пользу, религиозно-нравственного, христианского порядка.

Такой пользы в «Вечерах» действительно, нет.

Нисколько, однако, не следует отсюда, что первые повести Гоголя случайны, лишены замысла и цели. Цель, иногда ясно не сознаваемая художником, в них бесспорно имеется. Прежде всего, далеко не все в «Вечерах» так непринужденно весело и безоблачно, как это кажется.

Непосредственной юношеской свежестью веет от первой страницы

«Сорочинской ярмарки»:

«Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно-жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой, неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землей, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих...»

Уже с первых слов угадывается влюбленность Гоголя в песенность, в музыкальность, его склонность к преувеличениям, высокая впечатлительность его натуры. Это — не прозаичная речь, это — поэзия. Но припомните конец той же «Сорочинской ярмарки»:

«Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал, слабея и теряя звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отделенного моря, и скоро все стало пусто и глухо. Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье. В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и *дико* внемлет ему. Не так ли резвые дуги бурной и вольной юности, по одиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец одного, старинного брата их. Скучно оставленному. И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему».

А что веселого и непринужденного в «Вечере накануне Ивана Купала», в «Пропавшей грамоте», и разве не перебивается веселость в «Майской ночи», даже в «Ночи перед Рождеством», картинами, сценами, образами, замечаниями совсем иного порядка? «Погляди на белую шею мою: они не смываются! Они не смываются! Они ни за что не смоятся, эти синия пятна от железных когтей ее». Точно на шее прекрасной панночки-утопленницы, на повестях Гоголя выступают синие пятна, отметины каких-то железных когтей и сквозь румянец щек, сквозь веселую юность вдруг зрится что-то темное, нездоровое.

Мир раздвоен, как и в «Ганце», на мир действительности и мир больной мечты, ночных видений. Мир действительности стал живей, осязательнее. Это правда, что влюбленные парубки Грицьки, нежные и бравые Левки, обольстительные Параськи и Оксаны с круглыми личиками и черными бровями, упрямые кузнецы Вакулы, Пидорки и Петруси выглядят порой ряжеными и слишком картинными. В них еще не чувствуется настоящей полнокровной жизни, живой игры. И говорят они слишком литературно, не по деревенски. Но все же в них есть много заразительности. Чувствуется, что создавали их свежее воображение, молодость, нерастраченная мечтательность. А как живописны пожилые персонажи: Солопий Черевик, Макогоненко, Чуб, Солоха, Пацюк.



Живописна и природа. Таких поражающих своею конкретностью изображений, какие содержатся в произведениях Пушкина, Толстого, у Гоголя нет. Преобладает общее, но это общее обвеяно таким сильным и восторженным чувством, так своеобразно переплетается с комическим, залито таким светозарным блеском, что читатель невольно поддается обаянию и уже сам дорисовывает картину. Критикой уже отмечалось: Гоголь в сущности *не изображает* природу, а *воображает* ее. Но не один из русских писателей не обладал таким поразительным даром воображать природу. В его слове — что-то шаманское. Украинская ночь при всей своей прелести не так волшебна, как она изображена Гоголем, но мы ему верим. Ему верится даже и тогда, когда он пишет явно неправдоподобное: «Огромный месяц величественно стал в это время вырезываться из земли. Еще половина его была под землю, а уже весь мир исполнен какого-то торжественного света». Месяц, который только вырезывается из земли, не наполняет мир, тем более весь, торжественным светом. Но Гоголь прекрасно понимал, что *искусство всегда условно*.

Мир Гоголя буйно живописен, молод. Все горит, блещет, сверкает, нежится, гнется под тяжестью плодов, — река обнимает серебряную грудь, на которую роскошно падают зеленые кудри деревьев. Блестят лилейные плечи, пестрят яркие ленты, звенят монисты, зовут розовые губы, обольщают здоровые дивчины, смешат ловкие проделки парубков, все напоено молодым сладострастием, движется, несется в беспечном, удалом плясе, в песнях. Немного грубовато, олеографично, но ярко и сильно.

Гоголь-юноша превосходно изображает внешнее. Достаточно вспомнить описание «Сорочинской ярмарки», возы, горшки, пряники, бабы, брань, крики, мычание, палатки — все срослось в одно огромное тысячеголосое чудовище. Вещи живут, чувствуют, мыслят, притягивают к себе. Людей Гоголь тоже изображает больше со стороны их внешности...

...А уже «земля вся в серебряном свете». «А на улице необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в глубине ее». «Какое-то странное упоительное сияние примешивалось к блеску месяца, какую-то сладкую тишину и тихое раздолье ощутил он в своем сердце». И вот мир уже погружен в лунные туманы, на дно реки. Мелькают бледные тени утопленниц: они будто из призрачных облаков. Чем-то больным, мертвенным веет от этих ночных видений, страшных в своей неживой красоте. Если сравнить их с ночными снами Луизы, с коварными мечтами Ганца, они покажутся более осязательными. Там они только во снах, в воображении, здесь они как бы воплотились, приблизились к обычному миру действительности, стали с ним соприкасаться, вмешиваться в него,

хотя живая действительность тоже сделалась ярче, реальнее.

Странный мир чертей, мертвецов, колдунов!

Зачем понадобился он молодому писателю с такой влюбленностью в цвета и краски, во все земное и дневное! Пшеница, волы, колеса, галушки, простые, житейские Параськи, Грицько, Солопии, Хиври... Но в незатейливый, добродушный их мир вмешивается со злобными и язвительными глазами цыган, которому только одна дорога — виселица. Следом за цыганом лезет свиная харя, черт, потерявший красную свитку.

В «Вечере накануне Ивана Купала» стародавнюю хуторскую жизнь губит тоже человек не человек, колдун не колдун, а может быть и того хуже, некий Басаврюк. Пявился Босаврюк неизвестно из каких краев; не жалеет денег, подарков, но взгляд у него такой, что, кажется «унес бы ноги бог знает куда». Басаврюк околдовал Петруся. Петрусю полюбила красавица Пидорка, дочка старого и богатого Коржа. Петрусь — бедняк и Корж не соглашается за голоштанника выдать Пидорку.

Басаврюк разбудил в Петрусе алчность к богатству; в ночь на Ивана Купала Петрусь отправляется в лес за кладом вместе с Басаврюком, но, чтобы завладеть кладом, надо убить невинное дитя, Ивася, брата Пидорки. Петрусь убивает Ивася, получает клад, женится на Пидорке, теряет душевный покой, сходит с ума, сгорает в хате. Мешки с червонцами превращаются в груды битых черепков.

Ведьмы, черти, очень корыстны, привержены к богатству, к деньгам. Ведьма-мачеха в «Майской ночи» заставляет падчерицу работать на себя, лишает ее куска хлеба, выгоняет из дому босой. В «Пропавшей грамоте» Шинкарь советует деду запастись для нечистой силы деньгами: «Ты понимаешь, это добро и дьяволы, и люди любят». В самом деле, когда деду понадобилось попасть в пекло, бесам и всяким харям пришлось дать денег.

Ведьма Солоха зарится на добро Чуба: «В сундуках Чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей с золотыми галунами: покойная жена его была Щеголиха. В огороде, кроме маку, капусты, подсолнечников засевалось еще каждый год две нивы табаку. Все это Солоха находила нелишним присоединить к своему хозяйству.» Чорт не может утерпеть и крадет с неба месяц, а когда кузнец Вакула поймал его, он прежде всего пискнул: «денег дам, сколько хочешь».

Дивчины тоже корыстны. Увидев у себя Вакулу, Оксана прежде всего осведомляется, готов ли ее сундук и требует себе царских черевичков. Подобно красной свитке, эти черевички играют в повести немаловажную роль, заставляя Вакулу на чорте путешествовать в Петербург и там выпрашивать их у царицы. Черевички — в центре сюжета точно так же, как

красная свитка и червонцы Басаврюка.

В «Страшной мести» Данило Бурульбаш говорит про колдуна, который живет в замке:

«Он не без золота и всякого добра. Вот где живет этот дьявол!.. Мы сейчас будем плыть мимо крестов — это кладбище! Тут гниют его нечистые деды. Говорят, они все готовы были продаться за денежку сатане с душою и ободранными жупанами».

За что понес страшную кару колдун, отец Катерины? Жили когда-то два казака: Иван да Петро. Все добро делили они пополам, но однажды король Степан за удачную поимку паши приказал выдать Ивану такое жалование, какое получает все войско и наделил его землей, сколько тот захотел. И хотя Иван по-братски поделится с Петро, но Петро затаил месть, сбросил Ивана и его малолетнего сына в карпатскую пропасть, забрал все его добро.

Страшные преступления колдуна, убийство Данилы, внука, дочери, схимника, страсть к кровосмешению ведут свое начало от алчности Петро, от его богатства.

Красная свитка в «Страшной мести» появляется на колдуне в виде красного жупана и подобно цыгану и Басаврюку отец Катерины выглядит чужеземцем.

В «Заколдованном месте» дед тщетно старается достать клад; его водят за нос мерзостные хари; за свою корысть дед платится тем, что в вырытом им котле вместо золота находит сор и всякий дряг.

Наконец, в совершенно реалистическом отрывке о Шпоньке и его тетушке дарственная запись покойного Степана Кузьмича сеет недоверие, непонимание, охлаждение между Шпонькой и соседом Сторченкой.

Было бы ошибочно свести все богатства «Вечеров» к изображению нечистой силы, к ведьмам, к их попыткам опутать человека с помощью кладов и червонцев. Остаются типы, характеры, их разнообразие, выразительность и многоцветность Чуба, Макогоненко, Пацюка, Сторченко, Шпоньки, его тетушки, Вакулы, — остается лиричность, песенность, юмор, выпуклость всего художественного рисунка. Но остается много и странного. Дик и темен порою мир, творимый Гоголем. Вот крадется к панночке страшная черная кошка-ведьма, бросается на шею и душит ее. Вот хоровод утопленниц и среди них ведьма-мачеха: «Тут Левко стал замечать, что тело ее не так светилось, как у прочих; внутри его виднелось что-то черное...» А в «Вечере накануне Ивана Купала»: «Стоит Ивась. И рученки сложило бедное дитя на крест, и головку повесило... Как бешеный подскочил с ножом к ведьме Петро и уже занес было руку... — А

что ты обещал за девушку? — Грянул Басаврюк и словно пулю посадили ему в спину... Как безумный ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи».

Еще более мрачно, дико и загадочно все повествование о страшном колдуне... «И чудится пану Даниле, что уже не небо в светлице, а его собственная опочивальня... но вместо образов выглядывают страшные лица; на лежанке... но сгустившийся туман покрыл все, и стало опять темно, и опять с чудным звоном осветилась вся светлица розовым светом, и опять стоит колдун неподвижно в чудной чалме».

Что же такое было на лежанке? Чем навеян чудовищный рассказ о кровосмесителе? Для чего потребовалась художнику магическая картина заклатья и вызова души Катерины? Не так ли закликает и растлевает родину, Россию, тихую патриархальную, заморскую гостью звоном червонцев, кладами, всяким богатством?

И не правы ли по своему черные публицисты-охранители, разглядевшие в колдуне самого писателя, который своим «грешным», колдовским словом, своими необыкновенными художественными заклятиями растлил Россию — Катерину? С их охранительной точки зрения поэт — несомненный растлитель и колдун. Не напоминают ли речи колдуна в темнице, у схиника речи самого Гоголя?.. А конь, вопреки всему несущий колдуна все ближе к Карпатам, к страшной смерти? А неподвижный всадник, ожидающий колдуна? А буквы, налившиеся кровью? А мертвецы, вонзившие в колдуна зубы, чтобы вечно грызть его? Больная, мрачная фантазия, но как многое здесь напоминает страшную судьбу Гоголя!..

Все это остается; но главным все же в «Вечерах» является корысть, алчность, нечистая сила, развращающая людей кладами, богатством. Неверно, будто фантастическое ввел Гоголь в свои повести, лишь подчиняясь внешним литературным влияниям со стороны немецких романтиков, украинских былиц и сказаний, со стороны Жуковского, Пушкина, дабы соединить с современностью мир прошлой казацкой жизни.

Фантастическое у Гоголя отнюдь не внешний прием, не случайное и не наносное. Удалите чорта, колдуна, ведьм, мерзостные свинные рыла, повести распадутся не только сюжетно, но и по своему смыслу, по своей идее. Злая, посторонняя сила, неведомо, со стороны откуда-то взявшаяся, разрушает тихий, безмятежный, стародавний уклад с помощью червонцев и всяких вещей, — вот в чем этот смысл.

В богатстве, в деньгах, в кладах — что-то бесовское: они манят,

завлекают, искушают, толкают на страшные преступления, превращают людей в жирных скотов, в плотоядных обжор, лишают образа и подобия человеческого. Вещи и деньги порой кажутся живыми, подвижными, а люди делаются похожими на мертвые вещи; подобно Чубу, куму, дьяку, они благодаря интригам чорта превращаются в кули. Ивану Федоровичу Шпоньке снится сон, будто он женат. Жена сидит около него, у нее гусиное лицо. Нечаянно он поворачивается и видит другую жену, тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону — стоит третья жена. Назад — еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад, но в саду жарко. Он снял шляпу, видит и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком — и в кармане жена... Приходит в лавку к купцу. «Какой прикажете материи? — говорит купец: «вы возьмите жене, это самая модная материя! Очень добротная! Из нее все теперь шьют себе сюртуки». Купец меряет и режет жену. И не только во сне, но и наяву люди кажутся с гусиными лицами, кажутся харями. Нечего говорить о колдуне, о ведьмах, о Пацюке, о Солохе, даже совсем обыкновенные люди выглядят рожами, вылезшими из самого пекла: таковы Сторченко, Шпонька, его тетушка, Макагоненко, Чуб. В женщинах что-то ведьмовское. Левко утверждает: «видно, правду говорят люди, что у девушек сидит чорт». Оксана и Параська не случайно любят кованые сундуки, черевички, монисты: в будущем они — ведьмы.

Два мира, две действительности: мир живой яви и мир странных, злых чар и сил. И тот и другой сделались более осязательными, чем в «Ганце». Мир ночных видений, чертей, колдунов, ведьм то и дело врывается в явь, путает людей, совращает их с круга. Но свежая, неиспорченная явь пребывает еще прочно, она ярче, тверже, чем заумный мир. Свиная рожа в красной свитке просунет морду и тут же исчезнет. И тогда снова кумовья угощают друг друга, ярмарка шумит, Параськи выходят замуж за Грицько, Оксаны за Вакул, продают, покупают пшеницу и на баштанах украинскими ночами слушают дедовские былицы. Мир яви еще поэтичен, прост, отраден.

Наоборот, червонцы, клады являются достаточно отвлеченными. Отчего они обладают погибельной силой? По мысли писателя выходит: отрицательную свою силу они получают от чорта, со стороны. Это суживает и обессиливает смысл повестей. Достаточно отвлеченными остаются и образы неведомо откуда взявшихся проходимцев: цыгана, Басаврюка, колдуна. Они вносят путаницу, чепуху, заставляют совершать злодейства. Они одиноки, точно волки в осеннюю пору, бесчувственны, но на них нет еще отпечатка определенной общественной среды. В этом

недостаток «Вечеров на хуторе».

Андрей Белый утверждает, что основная тема Гоголя — тема безродности: цыган, Басаврюк, колдун — отщепенцы, оторванцы; оторвались они от патриархально-родового начала. Они олицетворяют личное в противоположность коллективному. Личное таит гибель. Оторванец — предатель, оружие чорта, он гибнет сам и губит других («Творчество Гоголя»).

Тема безродности, действительно, — существенная тема у Гоголя, но не главная, как мы постараемся показать ниже. Андрей Белый оставляет также без ответа, почему же «оторванцы» от рода становятся преступниками. Ответ на это в том, что они делаются алчными, себялюбивыми, жестокими и такими же делают других благодаря имуществу, деньгам. Но в «Вечерах» эта тема «подана», повторяем, пока еще очень отвлеченно. Кстати, Белый зорко подметил характеристику колдуна, данную Гоголем при помощи фигуры отрицания: «не», «ни», но явной натяжкой являются его утверждения, будто таинственные знаки писаны по-французски, черная вода — кофе; колдун — вегетарианец, занимается астрономией.

Обращаясь к общей оценке «Вечеров», надо вспомнить литературную действительность того времени с ее расплывчатым романтизмом, с ее отрешенностью от жизни, с надуманностью, с парением в пустопорожних мечтаниях. Повести Гоголя, сохраняя явные следы романтизма, значительно приблизили литературу к жизни и впервые, хотя и отвлеченно, у нас в искусстве поставили вопросы социального порядка: о богатстве, о деньгах как об источниках корысти, алчности, преступлений и несчастий. В этом Гоголь неизмеримо опередил своих литературных современников.

В «Вечерах» Гоголь далек от мысли обвинять самого человека, искать причину преступлений и несчастий в его пороках и страстях. Покуда человек у него виновен, пожалуй, в одном: он слишком наивен и доверчив. Его совращают посторонние, внешние силы; сам по себе человек любит только пожить, повеселиться, посмеяться, подурачиться.

Упомянув о недостатках первых повестей Гоголя, Овсяннико-Куликовский отметил длинноты, чрезмерность красок, излишнюю восторженность, растянутость. Образ сохраняет свою художественность лишь тогда, когда он необходим для выражения мысли и помогает скорейшему ее созданию, либо дает ей наилучшую форму. В «Вечерах» есть перегруженность образами.

Отмечали также ряд несообразностей: свадьба Параськи и Грыцько устроилась на ярмарке слишком быстро, ночь перед рождеством отдает

буффонадой, крестьяне говорят городской литературной речью, в портретах больше красоты, чем жизни. Переверзев нашел в первых книгах Гоголя сочетание праздничной, нарядной, но мелкой и лишенной сильных страстей жизни с жизнью, богатой молодецкой удалью и радостью; Гоголь соединил, — по его мнению, — две стихии, два уклада: стародавний, казацкий и современный Гоголю мелкопоместный, мелкотравчатый. Отсюда и двойственность языка; смесь простого, разговорного с мерной, торжественной, песенной, даже былинной речью.

Критика того времени встретила «Вечера» рядом отзывов. Полевой в «Московском телеграфе» объявил, что Гоголь, хотя и разрыл клад малороссийских преданий, но сделал это рукой неискusной и превосходные материалы так и остались материалами. Иначе и не мог оценивать «Вечера на хуторе близ Диканьки» сторонник старого романтизма.

Другие отзывы были более благоприятны: «Северная Пчела» сочла Панько искусным: автору хотя и недостает творческой фантазии, но «некоторые места дышат пиитическим вдохновением». «Мы не знаем, — говорится далее, — ни одного произведения в нашей литературе, которые можно бы было сравнивать... с повестями, изданными Пасечником».

В «Телескопе» писалось:

««Вечера на хуторе близ Диканьки» состоят из прекрасных отрывков народной украинской жизни... Изложение вызывает прелесть очарования...»

Якубович в «Литературных Прибавлениях» поздравил читателей с истинно веселой книгой, а Стороженко в «Сыне Отечества» пожелал автору: «дай бог, чтобы опыт земляка моего, Панька, был предвестником неутолимых трудов и будущей славы».

Из этого краткого обзора видно, что современная Гоголю критика, несмотря на положительные отзывы, была далека от истинного понимания «Вечеров» и правильной оценки их значения для русской литературы.

В «Вечерах» Гоголь, заключая собой романтизм, делал решительный шаг к общественной действительности. В то же время гражданин, художник-мастер одерживал в нем крупную победу над хитроватым, житейским практиком-помещиком. Гоголь осуждал существователей: Чуба, Макогоненко, Шпоньку, Сторченко, Солопия. Собственно и нежить его тоже существователи: они корыстны, привержены к деньгам, повинны в людских преступлениях. Сама же по себе жизнь прекрасна, весела, непринужденна. Только по временам просовываются в нее свиные рыла в красных свитках.

Мир еще светел, прозрачен; но внутри его, точно в ведьме-

утопленнице что-то чернеет.



## ПУТИ И ПЕРЕПУТЬЯ

С юношеских лет Гоголь, по собственным признаниям, чувствовал присутствие в себе богатых творческих сил, был уверен, что призван свершить в жизни нечто крупное. Его влекло к литературе. Но отнюдь еще не был уверен, что сделается писателем. На «Вечера» он смотрел, как на плод отдохновения. Их успех тоже не убедил его окончательно в настоящем его призвании. Поэтому он продолжает преподавать в Патриотическом институте. Правда, рвения он не обнаруживает; в связи с его поездкой летом к себе на родину Плетнев жалуется Жуковскому:

«Кстати, о чадах Малороссии: Гоголь нынешним летом ездил на родину. Вы помните, что он в службе и обязан о себе давать отчет. Как же он поступил? Четыре месяца не было про него ни слуху, ни духу. Оригинал!». (1832 год, 8 декабря.)

«Чадо Малороссии» занят расстроеным имением; сожалеет, что помещики кругом разоряются и входят в неоплатные долги. «Начинает понимать, — пишет он Дмитриеву, — что пора приниматься за мануфактуры и фабрики; капиталов нет, счастливая мысль дремлет, наконец умирает».

Озабоченный воспитанием малолетних сестер, Гоголь решает взять их для помещения в институт. Неизменно внимательный к родным, он справляется о житье и здоровье даже дальних родственников, дает советы, указания. К матери он по особому чуток и нежен, очень аккуратен в переписке, беспокоится, если из Васильевки долго не получает вестей. Нет мелочей в семейной жизни, которые не занимали бы его: он заказывает ботинки, посылает чулки, следит за свадьбой сестры, напоминает о бережливости; зная, что мать суеверна, мнительна, он успокаивает ее. В его любви к матери есть нечто трогательное и несомненно — объясняется она не одними практическими соображениями. Несмотря на обширный круг знакомых, Гоголь внутренне один. Ближе сходить с женщинами он уже тогда избегал. Анненков отмечает, что Гоголь вел трезвую целомудренную жизнь; удавалось это ему — по его словам — в напряженной борьбе с собой. В одном из писем к А. Данилевскому, влюбленному тогда, Гоголь писал:

«Очень понимаю и чувствую состояние души твоей, хотя самому благодаря судьбе, *не удалось испытать*. Я потому *благодарю*, что это пламя бы меня превратило в прах в одно мгновенье. Я бы не нашел в себе в

прошедшем наслаждения; я силился бы превратить это в настоящее и был бы сам жертвою этого усилия. И потому-то, к спасенью моему, у меня есть твердая воля, два раза отводившая меня от желанья заглянуть в пропасть. Ты счастливее, тебе удел вкусить первое благо в свете — любовь; а я... Но мы, кажется, своротили на байронизм». (1832 год, 20 декабря.)

Одиночество, целомудренная жизнь толкают его в семью, к матери. Ей и сестрам отдает он запасы нежности, любви, поверяет свои думы.

Успех «Вечеров» сильно ободрил Гоголя. Он делается решительнее и самоувереннее. Порою он даже заносчив. Он выговаривает матери:

«Вы очень мало знаете приличия, маменька, или лучше сказать, и знаете приличия, но не знаете моих отношений в свете. Вы все еще, кажется, привыкли почитать меня за нищего, для которого всякий человек с небольшим именем и знакомством может наделать кучу добра. Прошу вас об этом не беспокоится. Путь я имею гораздо прямее и признаюсь, не знаю такого добра, которое бы мог мне сделать человек».

И здоровьем Гоголь заметно окреп. Он часто шутит и балагурит, увлекается природой.

«Я в полном удовольствии, — пишет он Дмитриеву. — Может быть, нет в мире другого, влюбленного с таким исступлением в природу, как я. Я боюсь выпустить ее на минуту, ловлю все движения ее, и чем далее, тем более открываю в ней неуловимых прелестей». (1832 год, 23 сентября.)

Мысль его иногда поражает блеском и остротой, но по временам он опять продолжает жаловаться.

«Сам не знаю, отчего, удивительно равнодушен ко всему. Все этому, я думаю, причина — болезненное мое состояние», — признается он Погодину, будучи в Васильевке.

По возвращении в столицу, куда Гоголь взял и сестер, он сообщает тому же Погодину, что творческая сила его не посещает. К тому же зимовать приходится в холодной квартире, холод лишает его работоспособности.

О своих «Вечерах» в последующем 1833 году Гоголь отзывается уже пренебрежительно:

«Чорт с ними! Я не издаю их... Да обрекутся они неизвестности, пока что-нибудь увесистое, великое, художественное не изыдет из меня. Но я стою в бездействии, в неподвижности. Мелкого не хочется, великое не выдумывается. Одним словом, умственный запор. Пожалейте обо мне и пожелайте мне». (К. М. Погодину, 1833 год, 1 февраля.)

Из другого письма:

«Наберу слов пропасть, выражения усилены, сколько можно усилить, и

фигурно чрезвычайно, а мысль, разглядишь, давно знакомая». (1833 год, 8 мая.)

Он признается Максимовичу:

«Не знаю, напишу ли что-нибудь для вас. Я так теперь остыл, очерствел, сделался такой прозой, что не узнаю себя. Вот скоро будет год, как я ни строчки». (1833 год, 2 июля.)

Вообще 1833 год дался Гоголю, видимо, трудно. Уверенность в себе, бодрость сменилась неудовлетворенностью, новыми поисками, припадками тоски и равнодушия. Гоголь указывает на страшные внутренние перевороты.

«Если бы вы знали, какие со мною происходили страшные перевороты, как сильно растерзано все внутри меня! Боже, сколько я перестрадал! Но теперь я надеюсь, что все успокоится, и я буду снова деятельный, движущийся. Теперь я принялся за историю нашей единственной бедной Украины. Ничто так не успокаивает, как история». (Из письма К. М. Максимовичу, 1833 год, 8 ноября.)

Речь, видимо, идет здесь о болезненных припадках, сопровождавшихся внутренними потрясениями. В это время Гоголь работал над «Вием», повестью во многом переломной для его творчества. Любопытно также сопоставить с указаниями на страшные перевороты общественные настроения молодого писателя.

При случае он не прочь выразить верноподданные чувства. Ни в переписке, ни в воспоминаниях современников, ни в произведениях нет указаний, чтобы Гоголь осуждал крепостное право, как тогда это делали уже многие передовые русские люди. Но художественный гений его видел и схватывал многое ясно и правдиво. Недаром Анненков утверждает, что молодой Гоголь «был склонен скорее к оправданию разрыва с прошлым и к нововводительству». Цену старой, дореформенной России Гоголь знал превосходно.

«О, Русь! Старая рыжая борода!» — восклицает он в одном из писем к Максимовичу. — «Когда ты поумнеешь!»

В другом письме к нему же он отзывается о Москве.

«Что ж, едешь, или нет? (в Киев — А. В.) Влюбился же в эту старую, толстую бабу-Москву, от которой, кроме щей да матерщины, ничего не услышишь». (1834 год, 12 марта.)

Погодину, по поводу его новой драмы «Борис», которую он ценил, он советует:

«Ради бога, прибавьте боярам несколько глупой физиономии. Это необходимо... Чем знатнее, чем выше класс, тем он глупее. Это вечная

*истина. А доказательство в наше время.* Через это небольшой ум между ними уже будет редок. Об нем идут речи, как о разученной голове. *Так бывает в государстве.* А у вас, не прогневайтесь, иногда бояре умнее теперешних вельмож. Какая смешная смесь во время Петра, когда Русь превратилась на время в цырюльню, битком набитую народом! Один сам подставлял свою бороду, другому насильно брили. Вообразите, что один бранит антихристову новизну, а между тем сам хочет сделать новомодный поклон и бьется из сил сковеркать ужимку французокафтанника. Я не иначе представляю себе это, как вообразя попа во фраке. Не пожалейте красненькой, нарядите попа во фрак, за другую — обрейте ему бороду и введите его в собрание или толкните меж дам. Я это пробовал, и клянусь, что в жизнь не видел ничего лучше и смешнее: каждое слово нового фращника нужно записывать». (1833 год, 1 февраля.)

Во всем этом мало уважения и к старине, и русской истории, и к высшим классам, и к духовенству. Не питал уважения Гоголь и к новой силе, к торговой суме. В одном из отрывков, изображая «Невский проспект», он писал:

«Навстречу русская борода, купец в синем, немецкой работы, сюртуке, с талией на спине, или лучше сказать на шее. С какою купеческой легкостью держит он зонтик над своею половиною! Как тяжело пыхтит эта масса мяса, обернутая в копот и чепчик! Ее скорее можно причислить к моллюскам, нежели к позвоночным животным... Боже, какую адскую струю они оставили после себя, в воздухе из капусты и луку! Кропи их, дождик, за все: за наглое бесстыдство плутоватой бороды, за жадность к деньгам, за бороду, полную насекомых, и сыромятную жизнь сожительницы...»

Гоголь подшучивает над киевско-печерскими монахами, которые облизываются в ожидании нового виноградного вина. Он далек от мысли во всем видеть божий промысел: «Богу никак нельзя приписать наших неудач: «береженного и бог бережет». У него бродят в голове совсем нецензурные мысли. Он признается Погодину:

«Я помешался на комедии... Уже и сюжет было на днях начал составляться, уже и заглавие написалось на белой толстой тетради: «Владимир третьей степени», и сколько злости, смеха и соли!.. Но вдруг остановился, увидевши, что перо так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит. А что из того, когда пьеса не будет играть: драма живет только на сцене. Без нее она как душа без тела. Какой же мастер понесет напоказ народу неоконченное произведение? Мне больше ничего не остается, как выдумывать сюжет самый невинный,

которым бы даже кварталный не мог обидеться. Но что комедия без правды и злости! Итак, за комедию не могу приняться. Примусь за историю, — передо мною движется сцена, шумит аплодисмент, рожи высовываются их лож, из райка, из кресел и оскаливают зубы и история к чорту! *И вот почему я сижу при лени мысли*» (1833 год, 20 февраля.)

Это письмо вскрывает очень многое в общественных настроениях молодого Гоголя, оно объясняет также, почему часто его рука с пером опускалась бессильно и почему приходилось уходить в историю и переживать «страшные перевороты».

Отчетливо видел также он и то, что делалось в отечественной литературе, придавленной цензурным гнетом, где орудовали Греч и Булгарин.

«И вот литература наша без голоса. А между тем наездники эти действуют на всю Русь». (Погодину, 1834 год, 11 января.)

Гоголь учитывал, что такое николаевские порядки. Едва ли был он тогда настолько политически наивен и бессознателен, насколько изображают его консервативные биографы. Идеи, положенные им позже в основу «Переписки с друзьями», еще не владели им и понуждали его делать ложные заключения.

Выводы из того, что знал и видел Гоголь, напрашивались сами собой. Общественный кругозор его, правда, был узок, от его взглядов веяло затхлостью, но нельзя полагать, будто он свято и твердо верил, что Николай — самый умный, милосердный и дальновидный монарх, а его чиновники — преданные не за страх, а за совесть интересам отечества люди, и что русские, крепостные порядки — наилучшие.

Знал же Гоголь, как складывалась всеобщая история и в частности история русская. Писал же он в свое «Взгляде на сопоставление Малороссии» об «Ограбленных россиянах», о холопах, бежавших от деспотизма панов, о том, как насилием, кровью, сечами сколачивались монархии и государства, какое значение имели в истории корысть и алчность. Но Гоголь был практичен, он предвидел, куда могут завести правда, «злость» и смех и он «останавливался» по его же словам: он умел, где нужно, молчать, льстить и угодничать. «Я вижу яснее и лучше многое, нежели другие», признавался он матери; но то, что он видел и знал, сплошь и рядом оставалось под спудом.

Знал цену Гоголь и своим «однокорытникам» по Нежину. О них он писал Тарановскому:

«Наши одноборщники все, слава богу, здоровы. Николай Прокопович женился на молоденькой, едва только выпущенной актрисе. Прокопович

Василий получил... (непечатное слово.) Кулькольник навалял дюжину дюжинных трагедий. Романович не добыл ума ни на копейку... Кобеляцкий так же мастерски умеет плавать, как и прежде». (1833 год, 2 октября.)

Все это видел гражданин-художник, творец-общественник, владелец же Васильевки продолжал зорко следить, что делается в родовом имении. Каков урожай, в какой цене хлеб, в каком положении новый кожевенный завод? Мужикам верить нельзя: они лукавы и, хотя и падают в ноги, они бестии. Сумеет ли фабрикант, приглашенный заведовать фабрикой, выполнить заказ? Где найдет нужные рабочие руки? Не случится ли, что взявши деньги, он возьмет и улизнет? Не лучше ли деньги держать при себе и выдавать их фабриканту по надобности? Его считают добрым и совестливым; ничего не значит: до поры до времени, пока беден, пока успех не сделал его дерзким. Вообще надо держать ухо востро. «Истинный мудрый заводчик держит в тайне первоначальные успехи своей фабрики и никогда не хвалится выгодами». «Лучше не давать большого размера фабрике, но стараться понемногу обучить собственных несколько человек; тогда основание ее, фундамент, будет тверже, прочнее. Нанятые сегодня здесь, завтра бог знает где; свои же всегда остаются дома». (К матери, 1834 год, 17 марта.)

Это советует крепостник с макушки до пят, опытный, деловитый, которого на коне не объедешь. Тут есть чему поучиться старосветским помещикам, если они желают приспособиться к новым условиям «мануфактурного века». Многие опасения Гоголя, действительно, оправдались: «фабрикант», улучив удобный момент, сбежал, предоставив Марии Ивановне выплачивать долги.

Очень ловко и умело приобретал Гоголь новые связи со знатными и полезными ему людьми, не гнушаясь самой откровенной лести. Он называл сановного Дмитриева «патриархом поэзии» и даже Шенрок называет одно из гоголевских писем к этому «патриарху» «уважительным» до такой степени, при котором исключается возможность вполне искренних отношений.

Любил покушать. Сестра Елизавета Васильевна вспоминает о времени, когда она училась в Патриотическом институте, а Гоголь преподавал в нем:

«Он был большой лакомка, и иногда один съедал целую банку варенья, и если я в это время прошу у него слишком много, то он всегда говорил: «Погоди, я вот лучше покажу тебе, как ест один мой знакомый, смотри, вот так, а другой — эдак» и т. д. И пока я занималась представлением и смеялась, он съедал всю банку».

Противоречия между помещиком-крепостником-существователем и художником-творцом-гражданином и романтиком Гоголь сознавал уже тогда достаточно остро. Примирения противоречий он искал в искусстве, в истории. Еще в 1831 году он подготавливает к печати статью «Скульптура, живопись и музыка». Позже он включил ее в «Арабески». В ней проводилась та основная мысль, что эти виды искусства возвышают нас над низменными и грубыми наклонностями. В этом их главный смысл и назначение:

«Никогда не жаждали мы так порывов, воздвигающих дух, как в нынешнее время, когда наступает на нас и давит вся *дробь прихотей и наслаждений*, над выдумками которых ломает голову наш XIX век. Все составляет заговор против нас; вся эта соблазнительная цепь утонченных *изобретений роскоши* сильнее и сильнее порывается заглушить и усыпить наши чувства. Мы жаждем спасти нашу бедную душу, убежать от этих страшных обольстителей и — бросились в музыку. О, будь нашим хранителем, спасителем, музыка! Не оставляй нас! Будь чаще наши *меркантильные души!*.. Волнуй, разрывай их и гони, хотя на мгновение, этот холодно — *ужасный эгоизм*, силящийся овладеть нашим миром».

В заключение Гоголь пишет:

«Древнему, ясному чувственному миру посылал он (бог — А. В.) прекрасную скульптуру... Эстетической чувство слило его в одну гармонию и удержало от грубых наслаждений. Векам беспокойным и темным, где часто сила и неправда торжествовали, где демон суеверия и нетерпимости изгонял все радужное в жизни, дал он вдохновенную живопись... Но в наш юный и дряхлый век ниспослал он могущественную музыку... Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?»

Это вполне личное определение значения искусства. Искусство должно освободить человека от основного противоречия между низким и высоким, между склонностью к прихотям и наслаждениям, между «меркантильной душой» и лучшими его духовными потребностями.

Готику Гоголь тоже любил за то, что она стремилась примирить эти противоположности.

«Готика соединяет в себе *колоссальность, массивность с воздушностью*, величие и красоту, роскошь и простоту, вопреки нашей современности, которая научила нас производить множество разных вещей, но лишила великого и исполинского». («Об архитектуре нынешнего времени».)

Гоголь старательно собирает и записывает песни. Помогает Максимовичу составлять сборники. Сохранились три больших тетради

песен, тщательно им переписанных.

«Моя радость, жизнь моя, песни! Как я вас люблю! Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, пред этими звонкими, живыми летописями! Я не могу жить без песен. Вы не *понимаете*, какая это мука». (Максимовичу, 1833 год, 9 ноября.)

Бесспорно, что русские и украинские песни во многом определили творчество Гоголя. Кулиш прав, утверждая, что они еще с детства поразили слух Гоголя и сообщили его творчеству характер трагической грусти и высокого лирического смеха. И в песнях Гоголь искал примирения основной дисгармонии, какую он видел повсюду и какую страдал и сам.

Следует ли отмечать, что суждения Гоголя об искусстве и литературе блестят необыкновенным умом. Для примера напомним его суждение о переводах украинских песен в одном из писем Максимовичу:

«О переводах я тебе замечу вот что: иногда нужно отдаляться от слов подлинника нарочно для того, чтобы быть к нему ближе. Есть пропасть таких фраз, выражений, оборотов, которые нам, малороссиянам, кажутся очень будут понятны, если мы переведем их слово в слово, но которые иногда уничтожают половину силы подлинника. Почти всегда сильное лаконическое место становится непонятным для русских, потому, что оно не в духе русского языка. И тогда лучше десятью словами определить всю обширность его, нежели скрыть его... В переводе более всего нужно привязаться к мысли и менее к словам, хотя последние чрезвычайно соблазнительны». (1834 год, 20 апреля.)

1833 год для Гоголя был довольно бесплоден. В следующем году он работал плодотворнее. Жалуясь на грусть, он, однако, сообщает, что готовит целых две пьесы; готовит также к печати и повести. Гоголь строг к себе. Рукопись о старосветских помещиках он называет неуклюжей. Он желает, чтобы пока его имя было не слишком видно; его несколько не увлекают литературные успехи. Николая Васильевича избирают в члены Общества любителей российской словесности, он подсмеивается над собой.

Наряду со всем этим Гоголь усиленно изучает историю Украины, средних веков, всеобщую историю, домогаясь получить кафедру профессора в Киеве, ищет протекции, уговаривает Максимовича перебраться в Киев, приобретает знакомства с историками, вступает с ними с переписку. Планы его необыкновенно обширны. Стремясь в Киев, он сообщает Пушкину:

«Там кончу я историю Украины и юга России и напишу всеобщую историю, которой, в настоящем виде ее, до сих пор, к сожалению, не только



на Руси, но даже и в Европе нет». (1833 год, 23 декабря.)

Погодина Гоголь извещает:

«Я весь теперь погружен в историю малороссийскую и всемирную; и та и другая у меня начинает двигаться. Это сообщает мне *какой-то спокойный и равнодушный к житейскому характер*, а без того я бы был *страх сердит* на все эти обстоятельства. Ух, брат! Сколько приходит ко мне мыслей теперь! Да каких крупных! Полных, свежих! Мне кажется, что я сделаю кое-что не общее во всеобщей истории...» (1834 год, 11 января.)

Он хвалится Максимовичу, что пишет историю Малороссии в четырех больших томах и Погодину, что замышляет «дернуть историю средних веков».

Место в Киеве получить не удалось, но в июле 1834 года Гоголь занял место адъюнкт-профессора Санкт-Петербургского университета по кафедре средних веков.

Принято думать, что на месте преподавателя истории в университете Гоголь проявил себя Хлестаковым, что он взялся преподавать, не зная предмета. Высокими качествами профессора Гоголь не отличался. И. С. Тургенев, один из его слушателей-студентов, рассказывал: «Из трех лекций Гоголь две пропускал, порою шептал что-то несвязное, показывал какие-то гравюры, очень конфузился. На выпускном экзамене сидел, повязанный платком, якобы от зубной боли, с совершенно убитой физиономией»<sup>[17]</sup>.

О неудачных лекциях свидетельствуют и другие современники. Но и в этом во всем, Гоголь был крайне неровен. Иваницкий и другие отмечают и блестящие его чтения, например его первую лекцию, или лекцию об Аль-Мамуне, которую с удовольствием слушали Пушкин и Жуковский и которую для них Гоголь приготовил вне всякой связи с общим курсом. В целом же лекции Гоголя несравненно ниже его.

Сам Гоголь признался Погодину:

«Никто меня не слушает, ни на одном, ни разу не встретил я, чтобы поразила его яркая истина. И оттого я решительно бросаю теперь всякую художественную отделку, а тем более — желание будить сонных слушателей. Я выражаюсь отрывками, и только смотрю вдаль — и вижу его в той системе, в какой оно явится у меня вылитую через год. Хоть бы одно студенческое существо понимало меня. Но народ бесцветный, как Петербург». (1834 год, 14 декабря.)

Было бы, однако, совершенно ошибочным считать исторические занятия Гоголя и его лекции хлестаковщиной. Гоголь серьезно увлекался историей и старательно готовился к ним, если и не ко всем, то ко многим из них. В заявлениях к приятелям и знакомым, будто он собирается «дернуть»

историю средних веков, или будто он пишет историю Украины в четырех больших томах, содержатся преувеличения, но намерения его были вполне серьезны.

Гоголь занимался историей, потому что хотел забыться от «житейского», от всего современного, торгашеского; в историю, в прошлое его побуждал уходить цензурный гнет, как он в том признавался и сам, его привлекали эпохи героические, исполинские характеры и события, он искал проявлений возвышенного духа, подвижничества, самоотверженности; наконец, он хотел осмыслить исторический процесс. И несомненная правда, ему приходили крупные мысли. Просматривая конспекты его лекций, из которых опубликованы пока немногие и не полно, приходишь к твердому заключению, что Гоголь, и как историк, был выше многих своих коллег-профессоров.

По «бессмертному» Иловайскому нетрудно представить себе во что сплошь и рядом превращалось у них преподавание истории: превращалось оно в механическое изложение смены царей, завоевателей с педантичной хронологией событий, лишенных внутреннего смысла. История походила на высохшую мумию. Гоголь понимал это. Вялым и безжизненным летописям противопоставлял он старинные былины и песни. «Эти летописи, — утверждал он, — похожи на хозяина, прибившего замок к своей конюшне, когда лошади уже были украдены». (1834 год, 6 марта.)

Само собою понятно, что чиновники-профессора должны были относиться к Гоголю отрицательно и, надо думать, что они с полной готовностью содействовали распространению мнения о Гоголе-историке как о Хлестакове.

Впрочем, некоторые из преподавателей враждебно относились к Гоголю, зная, что он получил место профессора окольными путями, через знатных покровителей.

Гоголь был далек от понимания сущности исторического процесса. Благодетельное влияние Гегеля не коснулось его. Живая диалектика исторического процесса ему была чужда. Отдавал надлежащее место он и казенно-патриотическим восхвалениям престола, ссылок на божье проведение, не всегда искренним. Но вместе с тем в истории он видел не простое нагромождение событий, битв, царствований, героев, а старался найти в ней внутреннюю закономерность. В чем же видел он эту закономерность и этот смысл?

«Показать... великий процесс, который выдержал своеобразный дух человека, кровавыми трудами, борясь от самой колыбели с невежеством, природой и исполинскими препятствиями — вот цель всеобщей истории...

Все события мира должны быть так тесно связаны между собой и цепляться одно за другое, как кольца в цепи». («О преподавании всеобщей истории».) Гоголя чрезвычайно занимает мысль, почему народ стирается, уступает место другому народу, более свежему. Ответ Гоголя своеобразен.

*«Всеобщий дух и напряжение «ослабляются», когда роскошь разъедает раны нравственной болезни народов и алчность выгод личных выводит за собою низость, лесть и способность устремляться на все утонченные пороки».* («О преподавании».)

Когда корысть, алчность, роскошь заражают государство, народ, они отбываются во тьму веков, в небытие. Гоголь рассматривает всеобщую историю именно под этим углом зрения. Он отмечает, как Персия вместе со своим царем царей подвергается в азиатскую роскошь и падает; как римляне перенимают у побежденных народов не только просвещение, но и пороки; наконец, на весь древний мир находит летаргический сон, та страшная неподвижность, то ужасное онемение жизни, когда все обращается в мелкий ничтожный этикет, жалкую развратную бесхарактерность. Гоголь напоминает, что диким германским племенам были чужды корысть и добычи, они искали подвигов. Он утверждает, что рыцарские средневековые ордены стали распадаться, когда начали заряжаться корыстью. Он пишет о новой истории, что европейцы «с жадностью» поспешили в Америку, что Франция Людовика XIV «закипела изделиями роскоши». О современности он сообщает:

*«Просвещение, не останавливаемое ничем, начинает разливаться даже между низшим классом народа; паровые машины доводят мануфактурность до изумительного совершенства, будто невидимые духи помогают во всем человеку и делают силу его еще ужаснее и благодетельнее».*

Всеобщая история является плацдармом, где высокий человеческий дух борется с низменными наклонностями и страстями, с жаждой покоя, роскоши и хотя «в общей массе всего человечества душа всегда торжествует над телом», но пороки, но алчность сплошь и рядом приводят государства и народы к гибели.

Отсюда — высоко драматический характер всего исторического процесса. И Гоголь — историк в своих статьях, набросках, лекциях, в конспектах необычайно драматичен и лиричен. В них — настоящая, а не деланная напряженность, подъем, трагический пафос, чувствуется биение сильного исторического пульса. В соответствии со своей философией истории Гоголь старается проникнуть в прошлое интуицией, художественно пережить его и обобщить в образах. Он не анализирует, а синтезирует. Огромное значение при изучении минувшего он придает

сказаниям, песням, живым характеристикам, живописным изображениям событий.

Итак, занятия историей Гоголя — не случайность, не прихоть, не шарлатанство. У Гоголя были свои мысли, он знал, что сказать. Стараясь понять исторический процесс, Гоголь остался верен себе, своей основной теме, своим главным идеям, и в этом он имел бесспорные преимущества перед многими экстраординарными и ординарными профессорами своего времени. Вероятно, эти продуманные и прочувствованные мысли он и имел в виду, когда с горечью заявил, что покидает кафедру неузнанным. В отзывах о Гоголе-профессоре, кажется, больше других прав некий М-н:

«Гоголь, — заявил он, не был никогда научным исследователем, и по преподаванию уступал специальному профессору истории Куторге, но поэтический свой талант и некоторый даже идеализм, а притом особую прелесть выражений, делавших его несомненно красноречивым, — он влагал и в свои лекции...»<sup>[18]</sup>.

Другой вопрос, следовало ли Гоголю так упорно добиваться кафедры профессора, как он это делал. Добиваться этого не следовало уже потому, что преподавание истории отвлекло его от художественного творчества, то есть уводило в сторону от настоящего призвания. Тем более не следовало прибегать к окольным путям, к протекциям, держаться по временам очень заносчиво с коллегами, требовать оплаты своих долгов. В оправдание Гоголя можно сказать, что в то время кафедры, в том числе и университетские, раздавались очень легко и часто их занимали люди не по специальностям. В известном легкомыслии здесь можно, упрекать не только Гоголя, но и Пушкина. Домогаясь университетской киевской кафедры, Гоголь просил Пушкина:

«Если зайдет речь обо мне с Уваровым, скажите, что вы были у меня и застали меня еле живым, при этом случае выберите меня хорошенько за то, что живу здесь и не убираюсь сей же час из города».

На что Пушкин ответил Гоголю:

«Я совершенно с вами согласен. Пойду сегодня же навещать Уварова о смерти «Телеграфа», кстати поговорю и о вашей. Авось уладим» (Шенрок.)

Гоголь пробыл профессором полтора года. Успеха среди студентов не имел. Они считали, что их профессор сам не тверд в исторических науках и подвязывал зубы при экзаменах слушателей, опасаясь обнаружить свое незнание пред более сведущими экзаменаторами.

В декабре 1835 года, когда вышло постановление, по которому Гоголь должен был сам сдать экзамен, он благоразумно оставил профессуру, охладев к историческим наукам.

## «МИРГОРОД»

В начале 1835 года Гоголь издал «Арабески» и сборник повестей «Миргород». В «Миргороде» прежде всего бросается в глаза большая, чем в «Вечерах» зрелость.

Слово звучит увереннее, тверже, повествовательная ткань сделалась добротнее, плотнее; замысел находит более полное, совершенное и свободное воплощение. Творческий рост Гоголя необычаен: за четыре — пять лет он развернулся в художника гигантской силы и, когда читаешь страницы «Миргорода», поразительные по своей живописи, по творческой выдумке, по богатству оборотов, характеристик, и сравниваешь с ними неуклюжие и натянутые вирши «Ганца», невольно удивляешься; неужели «идиллия» и миргородские повести принадлежат одному и тому же автору и отделяются друг от друга всего лишь немногими годами? Рост поразительный и по этому росту можно представить, какую невероятную работу проделал над собою художник.

Меньше, однако, стало непосредственности и непринужденной веселости. Видно, серое петербургское небо, холода, туманы, департаменты, чиновники, пришибленный мелкий люд, чванливые сановники поубавили юношеской самонадеянности, надежд, радости и житейская проза заставила трезвее взглянуть на себя. Меньше танцуют гопаков и казачков; прекрасны описания украинских степей, но упоение природой потеряло свою свежесть; веселые парубки и обольстительные девчата уступили место другим персонажам, Иван Ивановичам и Иван Никифоровичам, старосветским помещикам; глубже сделался подход к изображаемым людям, больше размышлений о них, об их жизни; и смех уже стал терпким как полынь и стали чаще вырываться тоскливые признания. Поубавилась и фантастика. Она сохранилась только в повести «Вий» и сделалась более мрачной.

Из миргородских повестей «Вий» теснее всего примыкает к «Вечерам» и в частности к «Страшной мести». В «Вии» тоже два мира: мир обычной действительности и мир нежити, мертвецов, страшилищ. Еще более, чем в «Вечерах» оба эти мира сделались осязательными и сблизились. Характеры бурсаков, сотника, его слуг очень жизненны, но несколько не менее жизненны и панночка-ведьма, и Вий, и нечистая сила. Недаром Шевырев упрекал Гоголя, что ужасное у него слишком подробно описано: призрак, — утверждал он, — только тогда страшен, когда в нем есть нечто

неопределенное, незаконченное. Шевырев не обратил внимания на то, что при всех своих подробностях ужасное у Гоголя таит в себе много недосказанного и странного.

«Вий» вообще очень странная повесть, может быть, самая странная из всего написанного Гоголем. В пояснение повести автор почел необходимым отметить, что «Вий» есть народное предание и что он не хотел «ни в чем изменить его»: «рассказываю почти в такой же простоте, как слышал». Исследователи показали, что Гоголь соединил в повести не одно, а целых три предания, изменив их почти до неузнаваемости; достаточно сказать, что все три сказки оканчиваются благополучно, а в одной из них ведьма даже принимает крещение. О Вии в сказках не упоминается. Очевидно, своим примечанием Гоголь хотел лишь тщательнее зашифровать и без того таинственный смысл повести. «Просто», как мы уже видели в «Вечерах», Гоголь преданий не передавал, а всегда влагал в них свой смысл, свое мироощущение и миропонимание; он по преимуществу был писатель-творец, а не бытописатель, не собиратель преданий и сказок и в «Вии» надо искать не предание, а прежде всего творческое художественное произведение. В критической литературе «Вию» не повезло: повесть обычно только «отмечают»: в основу положено старинное сказание; повесть де фантастическая, но не лишена и черт современной Гоголю действительности, этим больше и достойна внимания, причем, изображая быт бурсаков, Гоголь удачно воспользовался романом Нарезного «Бурсак».

Оставим все это в стороне и присмотримся в первую очередь к Хоме Бруту.

Хома Брут — бурсак-философ. Этот «философ» ничем не выделяется из среды своих школьных товарищей, ни из среды киевских и окрестных обитателей. О нем известно: нрава он веселого, любит лежать, курить трубку; размышлением и умствованием голову обременять не склонен, очевидно, полагая, что во многой мудрости много печали; скорее всего, он ничего не полагает, а просто существует. Лихо пьет горилку; когда напивается, нанимает музыкантов, отплясывает трепака. В положенные сроки с философским равнодушием отведывает «крупного гороха», то-есть семинарского сечения. Прожорлив; от прожорливости даже не чист на руку; благодушен, здоров, крепковыен, незадачлив.

И вот именно его облюбовывает красавица, ведьма-панночка. Она заставляет Хому переживать странные, болезненные очарования, судя по натуре, ему как бы совсем и не свойственные. Еще недавно он вытащил у богослова Халявы из кармана карася, которого тот тоже «взял» с воза, а вот уже несется Хома по полям и долинам со старухой-ведьмой на спине,

испытывая нечто колдовское: «Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступившее к его сердцу. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалась, росла глубоко и далеко, и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря... Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце, он слышал, как голубые колокольчики, наклоня свои гловки, звенели. Он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета... Но там что? Ветер, или музыка: звенит, звенит и вьется, и подступает и вонзается в душу какую-то нестерпимой трелью...»

Какое-то томительно страшное наслаждение потрясает все его бурсацкое естество. Он, впрочем, от этих чувств освобождается, как только удастся ему убежать от панночки-ведьмы. В Киеве Хома вскоре утешается со вдовой-торговкой и, надо думать, его утешения не носят никакой заumnости. Хома даже забывает о чудесном происшествии.

Хому привозят к сотнику читать по умершей псалтырь. Когда сотник предполагает, что Хома, вероятно, известен святою жизнью, бурсак изумляется: это он-то святой жизни! Да он против самого страстного четверга к булочнице ходил: «сам я чорт знает что». Хому подводят ко гробу панночки, он думает о житейском: как-нибудь отдежурю три ночи, за то пан набьет мне оба кармана чистыми червонцами. Все это в духе его сословия, у которого, по народному выражению, «глаза завидующие, руки загребущие». Взгляд Хома падает на усопшую и тут им опять овладевает болезненное и странное очарование: «Она лежала, как живая. Тело прекрасное, нежное, как снег, как серебро, казалось, мыслило...»

«Но в них же, в тех же самых чертах он видел что-то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню похоронную. Рубины уст ее, казалось, прикипали кровью к самому сердцу».

Поразительно это изображение мертвой красоты, более живой, чем сама жизнь! Из каких темных недр черпал Гоголь вдохновение на такие изображения?

Но за что, почему свалились на самого обыденного бурсака странные и страшные обольщения? Неужели красавица панночка не нашла себе более интересного героя, чтобы «задать ему страху»? И не сделал ли грубой психологической ошибки писатель, заставив вполне заурядного бурсака испытать необычайные состояния и пережить ряд фантастических

происшествий? Не мертвая красавица — ведьма, под стать Хоме Бруту, а розовощекая матушка в пышных телесах, да дюжина детей, да побольше пирогов да коржиков.

Никакой психологической ошибки писатель однако не допустил в повести. По его воззрению, человек есть существователь, обитатель, покрытый корою земности и ничтожного самодовольствия; но этого человека посещают чудные и в то же время болезненные и гибельные обольщения, он подвержен самым фантастическим событиям.

И тот и другой мир совершенно действительны, переплетены друг с другом, и в этом причудливом сожитии, может быть, и заключается трагическое и смешное в бытии. Вырвались же у Гоголя в те года знаменательные слова:

*«Нам не разрушение, не смерть страшны; напротив, в этой минуте есть что-то поэтическое, стремящее вихрем душевное наслаждение; нам жалка наша милая чувственность; нам жалка прекрасная земля наша...»*  
(«Последний день Помпеи».)

В «Вии» «милая чувствительность», земное, «существенное» ведет борьбу со смертными очарованиями, с темными душевными наслаждениями, стремящие вихрем, с погибельным миром, но таящим «неизъяснимые наслаждения». Хома Брут также общечеловечен и в то же время национален, как Чичиков, Хлестаков, как Манилов, Петух. Самое характерное в нем — именно это соединение полной заурядности, утробности, незадачливости со способностью переживать болезненно-мечтательные обольщения.

Два мира приобрели предельную реальность. Панночка-мертвячка так же жива, как и Хома Брут. Панночка-мертвячка ведет за собой рой томительных очарований, но в то же время и рой всякой нежити. Нежить уже обступила бедного бурсака, готова наброситься на него. Хома еще держится: он чертит вокруг себя волшебный круг, читает святыи молитвы, творит заклинания, старается не глядеть на усопшую, забыть ее пронзительную красоту. Он знает, что панночка есть ведьма, что мертвая красота ее несет ему смерть, здоровая чувственность не покидает его.

После наполненной последними ужасами ночи бурсак подкрепляется целой квартой горилки, справляется с довольно старым поросенком, шляется по селению, и одна молодка дажехватила его по спине лопатой за то, что он вздумал пощупать, из какой материи у нее сорочка. Жизнь, как она есть, простая и неистребимая, старается взять свое среди смерти и страхов. Не сдается бурсак и после второй ночи: он пытается убежать, а когда его ловят вместе с Дорошем, он опорожняет почти полведра сивухи,



требует музыкантов и та долго отплясывает, что дворня, не дождавшись конца, разошлась, плюнув. Жуткий пляс, когда перед глазами мертвец на волшебной черте с расставленными руками, когда опять надо идти в церковь и ожидать, как поднимется ведьма из гроба!

Упряма, упорна по-бурсацки Хома Брут, но упорна и ведьма-панночка. В третью ночь происходит решительное столкновение двух миров.

Хома напуган; он заметил, что читает *совсем не то, что написано в святой книге*. Когда вновь встал из гроба мертвец, по церкви поднялся вихрь и иконы попадали на землю.

«Двери сорвались с петель, и несметная сила чудовищ влетела в божью церковь. Страшный шум открыл и от царапанья когтей наполнил всю церковь. Все летело и носилось, ища повсюду философа». В помощь чудовищам появляется Вий. «Весь он был в черной земле. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанный землею, ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо на нем было железное.

«Поднимите мне веки: — не вижу, — закричал Вий и утавил на него *железный палец*. И все, сколько ни было, кинулось на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух от него *от страха*».

«Раздался петушиный крик. Это был уже второй крик; первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились кто попало в окна и в двери, чтобы поскорее вылететь, но не тут-то было: *так и остались они там, завязнувши в дверях и окнах*. Вошедший священник остановился при виде такого посрамления божьей святыни, и не посмел служить панихиду в таком месте».

Два мира, мир действительности и мир болезненных, ночных видений и нежити, противоборствуя друг другу, все больше и больше делались в произведениях Гоголя живыми и сближались. Но в «Вечерах на хуторе» победу одерживала явь; чудища, свиные рыла, ведьмы, проникая в обычную жизнь, в конце концов осиливались ею. Даже колдун в «Страшном месте» погибает. В «Вии» заумь, мертвое, нежить победили явь, сделались частью ее. Писатель-христианин не пощадил и «святого места», церковь. Нежить *застряла* в ее окнах. Мерзостные хари ворвались в жизнь и целиком воплотились. Они заслонили собою простую, грубоватую, но милую чувственность, наивный и простодушный мир, пахнувший душистой черемухой, потопленный «багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрыты свинцовым налетом», славный мир парубков, дивчин, гопаков, звонких песен, свадеб, ярмарок, веселых

перебранок и проделок. Еще не удастся как следует, в подробностях разглядеть мерзостные рожи, но они уже мелькают в самой житейской обстановке: в усадьбах, в дороге, на Невском проспекте, в департаментах, в министерствах. Повсюду — искривленные хари, их свалывшиеся волосы, отвислые брюха, слышны их зычные голоса, раздается их наглый, раскатистый смех.

Отныне с железной неотвратимостью прикован к ним взор художника, ибо он не вытерпел, взглянул и увидел, ибо мир, родная земля переполнена несметной силой образин и некуда скрыться от них поэту-философу. Подобно священнику, уже не посмеет он отправлять службу, а когда отважится на это, бессильными и безжизненными прозвучат его слова, неубедительными и выдуманскими покажутся его образы и характеры, долженствующие по мысли изображать примирение и святое. Кисть художника будет сильна только тогда, когда она станет рисовать эту несметную силу во всей их живописной и ужасной отвратности. К этому присужден художник.

После «Вия» фантастическое почти исчезает у Гоголя. Правда, оно дает еще о себе знать, в некоторых петербургских повестях: в «Носе», в «Шинели», но оно не имеет там самостоятельного значения, а носит подсобный характер; оно там анекдотично.

После «Вия» фантастическое почти исчезает у Гоголя; но, странное и чудное дело; действительность сама приобретает некую призрачность и порою выглядит фантастичной. Эту фантастичность придают ей жуткие хари, свиные рыла, помесь нежити с человеком, мерзкие отребья.

Что-то произошло с Гоголем в 1833 году, когда он писал «Вия». Недаром он сообщал о страшных переворотах, которые все растерзали внутри его и часто не давали возможности работать. Об этих переворотах иносказательно, тщательно зашифровав, может быть, самое главное, и сообщил нам писатель в своей повести «Вий». «Вий» — автобиографическая повесть; мрачная повесть. Многие остаются в ней и по сию пору еще не раскрытым, обо многом можно строить одни лишь догадки, многое требует дополнительных и тщательных исследований; как бы то ни было, автобиографическая сущность повести заключается, на наш взгляд, в том, что «непринужденная веселость», здоровая чувственность, молодая свежесть были побеждены миром Иван Ивановичей, городничими, Хлестаковыми, Чичиковыми и иными свинными харями. И чудится, что старуха-ведьма — это старая Россия; оседлав бедного философа, она превратила живую явь в страшные и томительные видения, привила ему больные и мертвые обольщения.

Много общего у писателей с судьбой незадачливого бурсака. Настанут дни, когда художнику вплотную приблизится ведьма-мертвец, станет на волшебной черте, будет ловить его синими, цепкими руками, когда не помогут ни искусство — заклинания, ни вера — молитвы, и когда темная, земляная, железная сила «Вия» и человеческой нежити бросится на него и он падет бездыханным.

Панночка-ведьма, тоже, как бурсак Хома, двойственна. Она безобразная старуха и она молодая красавица. Она живая и она мертвая. Она олицетворяет собой плотское, тленное, мертвое, трупное и одновременно таит в себе нечто болезненно-мечтательное и прекрасное.

Но сущность — в трупном, в мертвом, в том, что губит живую человеческую душу.

В «Вии» чувственный мир предстал мертвым. Все материальное мертво. Космос — мертв. Красота — мертва. В мертвой вселенной, населенной образами, живыми на особый лад, как жива смерть, заблудился со своей душой одинокий человек. Если омертвевает его душа, все превратится в один тлен.

Одну особенность еще следует отметить в Хоме Бруте. Бурсак околдован пронзительной красотой мертвячки-панночки и в то же время он ищет натурально-физического удовлетворения своих страстей: он не брезгает вдовой-торговкой, пристаёт к молодкам. Там нездешние, томительные и сладкие очарования, здесь грубое и простое влечение. *У Хома Брута физическая и психическая сторона половой жизни резко разобщены. Чувственное влечение не совпадает с высшими психическими состояниями.* Когда у людей наблюдается подобное разобщение, не только половая, но и вся материальная жизнь представляется измененной, грязной, грешной, а высшая духовная жизнь — отрешенной от всего земного, вещественного.

Не осложнились ли «страшные перевероты» в жизни Гоголя какими-то интимными, половыми происшествиями?!

Это весьма вероятно.

Да, страшные события происходят в окрестностях Киева и Миргорода, где «пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусные...».

Художника-писателя окружили чудища.

...Не сразу, однако, отдает свой талант он изображению пакостных морд и страшилищ. Он попытается от них отвести глаза, он оглянется назад, в прошлое своей ставшей теперь далекой родины, своей прекрасной Украины. В истории своего народа будет стараться он найти забвение от мертвого мира старухи-ведьмы, в отважной и буйной жизни своевольных

запорожцев-казаков захочет найти он утешение и ободрение.

...Вот держат свой путь в разгульную Сечь по девственным степям Тарас и два его сына: Остап и Андрий. Прекрасны, тучны украинские степи днем, но еще обольстительнее они по ночам, когда погружают человека в героическую и кровавую пору тех дней.

«Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу...».

Полковник Тарас толст, любит выпить горилки; он — груб, дик, своеволен, упрям, жесток до свирепости, ограничен и традиционен в своих верованиях и воззрениях. Но в то же время он прямодушен, отважен, непривередлив.

«Многие перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепие прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы, Тарасу это было не по сердцу. Он любил простую жизнь казаков». Он стоял за православие, еще больше за Сечь. У Тараса — поместье, достаток, слуги, но он нисколько не дорожит ими; у себя он только гость, да и то редкий. Жизнь, помыслы Тараса связаны с Сечью. С казацкими походами. В те боевые времена поместьем сегодня изобиловали пшеницей, медом, утварью, награбленным, завтра все это беспощадно выжигалось врагом. Оседлости и стяжательства такая жизнь в казаке не развивала. Сечь, как и Тарас, лишена корыстолюбия и стремления к роскоши. В спокойное время она представляла собой непрерывное пиршество. Здесь гулял великолепный сброд.

«Здесь были те, у которых уже моталась около шеи веревка... которые по благородному обычаю не могли удержать в кармане своем копейки... которые дотоле червонец считали богатством...»

Сечь жила на основах своеобразного первобытного коммунизма.

«Никто ничем не обзаводился и не держал у себя; все было на руках у куренного атамана, который за это обыкновенно носил название батьки. У него были на руках деньги, платья, вся харчь, саламата, каша и даже топливо, ему отдавали деньги под-сохран». «Отправляясь в поход, кошевой приказывал брать с собой по сорочке и по двое шаровар на казака, да по горшку саламаты и толченого проса».

У неприятеля отнимали преимущественно оружие и червонцы. Кровава, дика и свирепа была Запорожская Сечь, но это была легкомысленная, подвижная вольница, не жалевшая ни других, ни себя, лишенная приобретательских навыков. Что думать, что гадать о будущем,

все равно оно покрыто туманом.

«Неизвестно будущее, и стоит оно перед человеком подобно осеннему туману, поднявшемуся из болот. Безумно летают в нем вверх и вниз, черкая крыльями, птицы, не распознавая в очи друг друга, голубка — не видя ястреба, ястреб — не видя голубки, и никто не знает, как далеко летает от своей гибели».

Когда набег удавался, парчу и бархат драли на онучи, пропивали столько, что и счесть тогда было нельзя. Остатки закапывали в землю, да так, что забывал и сам хозяин, где хоронил он свое добро. Главное, что ценилось в Сечи — крепкое, нерушимое товарищество. Золото, хозяйство, имущество не разобщали людей, не воспитывали в них зависти; стяжательства. Тарас учил запорожцев перед битвой:

«Нет уз святее товарищества. Отец любит свое дите, мать любит свое дите, дитя любит отца и мать; но это не то, братцы, — любит и зверь свое дите! *Но породнить родством по душе*, а не по крови, может только один человек... Знаю, подло завелось на земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребях запечатанные меды их... Свой с своим не хочет говорить: *свой своего продает*, как продают бездушную тварь на торговом рынке».

Если не владеет человеком корысть, привязанность к имуществу, если нет уз святее товарищества, то легка бывает и смерть человеку; не томит, не грозит ему костлявым пальцем. Тогда, идучи на смерть, не о жалкой шкуре своей помышляет человек:

«Уже пусто было в ковшах, а все еще стояли казаки поднявши руки; хоть весело глядели очи на всех, просиявшие вином, но сильно загадались они. Не о корысти и военном прибытке теперь думали они, не о том, кому посчастливится набрать червонцев, дорогого оружия, шитых кафтанов и черкесских коней; но загадались они, как орлы, севшие на вершинах каменистых гор, обрывистых, высоких гор, с которых далеко видно расстилающееся беспредельное море, усыпанное, как мелкими птицами, галерами, кораблями и всякими судами...

Как орлы озирали они вокруг себя очами все поле и чернеющую вдали судьбу свою. Будет, будет все поле с облогами и дорогами покрыто торчащими их белыми костями, щедро обмывшись казацкою их кровью и покрывшись разбитыми возами, расколотами саблями и копьями; далече раскинутся чубатые головы с перекрученными и запекшимися в крови чубами и запущенными книзу усами; будут, налетев, орлы выдирать и выдергивать из них казацкие очи. Но добро великое в таком широко и вольно разметавшемся смертном ночлеге! Не погибнет ни одно

великодушное дело и не пропадет, как малая порошинка с ружейного дула, казацкая слава. Будет, будет бандурист, с седою по грудь бородою, а может, еще полный зрелого мужества, но белоголовый старец, вещий духом, и скажет он про них свое густое, могучее слово. И пойдет дыбом по всему свету о них слава, и все, что ни народится потом, заговорит о них; ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной меди, в которую много повергнул мастер, дорогого, чистого серебра, чтобы далече по городам, лачугам, палатам и весям разносился красный звон, сзывая равно всех на святую молитву».

Вот о чем думает человек, когда им не владеет собственность, когда у людей все общее, когда — товарищество и ратная жизнь. Он думает о славных подвигах, он помышляет о добром имени в потомках.

Нет корысти у казаков, нет корысти у упрямого Тараса, но даже и им надо опасаться странной и страшной власти над собой вещей. Казалось бы, малое дело люлька с добрым табаком, а и она подвела Тараса. Не потеряй ее Тарас в пылу битвы, не пожалей он совсем остаться без неразлучной спутницы, может быть, и пробился бы он со своими казаками сквозь вражье войско! Роковая, погибельная сила в вещах, даже в люльке! Вещи создают привычки, привязывают к себе человека.

Повесть испорчена юдофобством, православием; вторая более поздняя редакция ухудшила повесть, но при всем том «Тарас Бульба» является в нашей литературе до сих пор лучшей исторической повестью, уступая разве только «Капитанской дочке». Бесспорно, Гоголь овеял романтикой прошлое, но в основном он с замечательной интуицией проникнул в это прошлое запорожской сечи, в ее быт, походы, с подлинным мастерством воссоздан ряд характеров. До скульптурности выразителен Тарас. Освещенный багровым пламенем, он поражает своей жизненностью. Он национален.

Тарас, как и Хома, двойственен. В Тарасе силен существователь: он, как уже отмечалось, грузен, груб, упрям, прожорлив. Но наряду с этим он самоотвержен, непоседлив, во имя боевого содружества, он презирает смерть, он готов все претерпеть. Жена Тараса, Остап, Андрей, кошевые, казаки, битвы, казнь Остапа, смерть Тараса очерчены властной и точной рукой мастера. Лирические отступления напоминают песни и вся повесть написана как эпическая поэма. «Иллиада» Гомера несомненно повлияла на дух и содержание повести.

«Тарас Бульба» в сущности проповедует потребительский коммунизм в христианской оболочке: для того времени это явилось делом неслыханным. Черты этого коммунизма Гоголь тщательно местами

затемнил, может быть, опасаясь цензурных преследований. Вполне понятно, что нашим «заслуженным» профессорам, ученым жукам и составителям «трудов» даже и такой коммунизм показался не по нутру и они предпочли, разбирая повесть, говорить о чем угодно, только не об этом коммунизме.

«Тарас Бульба» воскрешает слишком древние, давние времена. Не поискать ли однако отрады, или по крайней мере, покоя, скажем, в уединенной жизни старосветских помещиков? Совсем иная жизнь, не похожая на ту, какую вела запорожская вольница. Там — битвы, походы, грабежи, гульба, здесь насиженные места, однообразие, тишина: «ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик». Обитателей не волнуют «беспокойные порождения злого духа», алчность, приобретательство меркантильных людей «мануфактурного века».

И Афанасий Иванович, и Пульхерия Ивановна добродушны, гостеприимны. Их на глазах обкрадывают, кому не лень, они это знают и терпят. Но забыться с ними можно лишь не надолго. И в помине нет в их усадьбах ничего самоотверженного, героического. Когда-то Афанасий Иванович был даже секунд-майор, может быть, принимал участие в походах, теперь он изредка только подзадоривает Пульхерию Ивановну: вот возьмет ружье, саблю, или казацкую пику и пойдет воевать; но уже давно заржавели «пистолы».

Повседневная жизнь завалена хламом и дребезгом. У Тараса была одна верная спутница, которой он дорожил, — люлька. Имущество не прикрепляло его к месту. Не то у старосветских помещиков: у них все уставлено сундуками, ящиками, мешками, узелками, столиками, диванами, безделушками, застлано коврами, настилками. Барские амбары, клетушки, чуланы, не смотря на хищение, завалены мукою, снедью. Жизнь целиком покорена этим дрязгом. Имущество сделало людей домоседами, развило гостеприимство: надо же кому-нибудь поесть соленья и варенья. Отсюда же и снисходительность к воровству, и обжорство Афанасия Ивановича. Он ест утром, перед обедом, после обеда, перед ужином, после ужина, даже по ночам.

Усадьба, мебель, вещи кажутся нерушимыми, данными от века.

Мысль о том, что можно остаться без дома, без кухни кажется сумасбродной. Не люди владеют имуществом, а имущество владеет людьми. Имущество это поместное, крепостное, средней руки, натуральное и еще в упадке. «От нее все качества». Полковник Тарас любит, ненавидит. У бывшего секунд-майора ни любви, ни ненависти, одна только *привычка*, рожденная поместной, захолустной собственностью. Ни цели, ни смысла.

Существователи. Полковник Тарас грудью стоит за боевое, за крепкое товарищество. Секунд-майор в отставке только гостеприимен. Товарищество выродилось в гостеприимство. Полковник Тарас презирает смерть. В уединенных поместьях помирают от худых примет, от того, что сбежала кошка, что позвал какой-то таинственный голос. Умирая, Тарас думает о родине, о вере, о подвигах, о товарищах. Афанасий Иванович жалеет одного:

«Положите меня возле Пульхерии Ивановны», — вот все, что произнес он перед кончиною.

По Тарасу и казакам остаются песни, остается добрая слава. По старосветским помещикам ничего не остается. Появляется «страшный реформатор» и пускает на ветер поместье.

Тарас соединяет грубость, гульбу, упрямство с доблестью, с мужеством. В нем все живет, горит, он одержим страстями. У секунд-майора в отставке «низменная буколическая жизнь». Чувства измельчали, раздробились.

Чем ближе к современности, тем хуже, тем ничтожнее жизнь. Вот и добродушие, вот и гостеприимство старосветских помещиков тоже уже в прошлом. Уже надо писать повести не о товариществе, не о гостеприимстве, а о ссорах, о сутяжничестве.

Чем известен Иван Иванович? «Славная бекеша у Иван Ивановича, отличнейшая! А какие смушки!..» «Какой дом у него в Миргороде! Вокруг него со всех сторон навес на дубовых столбах, под навесом везде скамейки... Какие у него яблони и груши под самыми окнами!» Кроме того он любит дыни... К тому же он богомолен.

А чем известен Иван Никифорович?

«Его двор возле двора Ивана Ивановича». «Иван Никифорович целый день лежит на крыльце, любит в жару купаться, и когда сядет по горло в воду, вели поставить также в воду стол и самовар, и очень любит пить чай в такой прохладе».

Вот что осталось от доброй казацкой славы!

Иван Иванович и Иван Никифорович владельцы поместий, свиней, уток, гусей, рухляди. Во многом жизнь их напоминает «низменную буколическую жизнь» старосветских помещиков, но есть и значительные отличия: у старосветских помещиков, но есть и значительные отличия: у старосветских помещиков имущество, вещи пассивны, тихи, незамысловаты, добродушны, как их владельцы. Эта собственность натуральная, сельская, не развращенная рынком, наивная. собственность миргородских помещиков уже нечто вкусила от «беспокойного порождения



злого духа», она городская, у нее рынок под боком, она знает себе цену, ей ведома корысть. Надо вообще заметить: впервые у Гоголя вещи получают такую яркую жизненность.

«Тощая баба выносила по порядку залежалое платье и развешивала его на протянутой веревке выветривать. Скоро старый мундир, с изношенными обшлагами, протянул на воздух рукава и обнимал парчовую кофту, за ним высунулся дворянский с гербовыми пуговицами с отъеденным воротником, белые казимировые панталоны с пятнами, которые когда-то натягивались на ноги Ивана Никифоровича и которые можно теперь натянуть разве на его пальцы. За ними скоро повисли другие в виде буквы Л. Потом синий казацкий бешмет... Наконец, одно к одному, выставилась шпага, походившая на шприц, торчавший воздухе. Потом завертелись фалды сего-то похожего на кафтан... Из-за фалд выглянул жилет... Жилет скоро закрыла старая юбка покойной бабушки с карманами, в которые можно было положить по арбузу».

Вещь перестала домоседствовать, ожила, стала вздорной, потеряла наивность. Ее можно купить, продать. Она сеет соблазн, она разобщает людей. Первоначальной причиной ссоры двух приятелей было *не слово гусака, а ружье Ивана Никифоровича*. На ружье особый отпечаток: *оно куплено в свое время у турчина, оно стоит денег*. Этим оно отличается от натуральной собственности и не случайно Иван Никифорович напоминает Ивану Ивановичу, что у них никогда не происходило никаких ссор, когда волы Ивана Ивановича паслись на его, Ивана Никифоровича, лугах: волы — естественный приплод в хозяйстве, натура; луга тоже натура. Иное дело ружье. Ружье непременно надо купить. Иван Никифорович прямо говорит своему другу: *он не может ему подарить ружье, потому что оно куплено*. Напрасно Иван Иванович в обмен на ружье предлагает свинью, два мешка с овсом: свинья и овес тоже натура; притом, как узнать, можно ли за них отдать ружье. Другое дело деньги, деньги сразу определяют ценность вещи. В купленном ружье по сравнению с натурой — нечто таинственное, как бы даже мистическое, оно обладает особым свойством, оно — *меновая стоимость*. Иван Иванович и Иван Никифорович выступили не как приятели, а как товаропроизводители; тут и пришел конец их дружбе: известно — товаропроизводители друг другу не друзья, а враги, конкуренты, причем дело, как мы видели, осложнилось тем, что Иван Иванович за вещь купленную предложил продукты природы, которые в то время в Миргородах *еще точно расценены не были*.

Вещь-товар кажется живой, наделенной роковой, злой способностью сорить людей, превращать приятелей в смешных и сумасшедших сутяг.

Вот почему ссора кажется порождением нечистой силы. Узнав о ней, судья восклицает по адресу Ивана Ивановича: «Да не спрятался ли у вас кто-нибудь сзади и говорит вместо вас?» Ивану Никифоровичу недавний приятель тоже представляется сатаной.

А в конце концов: «Скучно на этом свете, господа!» Скучно потому, что давным давно миновались стародавние времена, когда имущество ставилось ни во что, когда все награбленное шло в общий котел; скучно потому, что вместо товарищества, вместо подвигов, героизма, призрения к смерти, сильных страстей господствуют мелкие привычки, дразги, ссоры, ничтожная вражда из-за рухляди, из-за копейки. Произошло же все это благодаря тому, что жизнь завалена имущественными дразгами, что люди собственность-товар делают алчными и корыстными.

В повести о ссоре двух приятелей свиные рыла и образины нашли впервые свое наиболее реальное и житейское воплощение, если не считать отрывка о Шпоньке и его тетушке. Иван Иванович, Иван Никифорович, судья, городничий, Антон Прокофьевич, несмотря на свою обыденность, напоминают рожи, хари, застрявшие в окнах церкви: у Ивана Ивановича голова похожа на редьку хвостом вниз, а у Ивана Никифоровича — на редьку хвостом вверх; и в остальном они не уступают рожам и харям. Свиные рыла вошли в обиход, обзавелись домами, дворами, мебелью, вещами, заседают в судах, управляют и начальствуют. Все, чем раньше Басаврюки, ведьмы, черти, соблазняли людей: клады, червонцы, красные свитки тоже приобрело житейский облик мелко-и средне-поместной собственности, «натурально-крепостной, гибнущей в условиях наглого «мануфактурного века».

Вот почему стала пропадать веселая непринужденность «Вечеров», и смех делается тяжелым и тоскливым.

Критикой справедливо отмечалось влияние на Гоголя разных писателей. На «Тарасе Бульбе» отразился исторический роман Вальтер-Скотта, «Иллиада»; В повести «Вий» заметны следы влияния «Бурсака» Нарезного, в «Повести о том...» — того же Нарезного «Два Ивана, или страсть к тяжбам». Упомянем так же Вельтмана, Загосткина, Лажечникова. Эти влияния, однако, носят внешний характер; по своему внутреннему содержанию повести Гоголя совершенно самобытны, органически раскрывая богатый мир писателя.

Появление «Миргорода» и «Арабесок» Пушкин отметил похвальным отзывом.

«Читатели наши, — писал он в «Современнике», — конечно помнят впечатление, произведенное над нами появлением «Вечеров на хуторе»: все

обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской книге, которая заставила нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина! Мы так были благодарны молодому автору, что охотно простили ему неровность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов, представляя сии недостатки на поживу критики. Автор оправдал такое снисхождение. Он с тех пор непрестанно развивался и совершенствовался. Он издал «Арабески», где находится его «Невский проспект», самое полное из его произведений. Вслед на тем явился «Миргород», где с жадностью все прочли и «Старосветских помещиков», эту шутивную, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления, и «Тараса Бульбу», коего начало достойно Вальтер-Скотта. Г. Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь часто случай говорить о нем в нашем журнале». (1836 год, т. I, стр. 312–313.)

С большой горячей статьей выступил В. Г. Белинский. Белинский прежде всего определяет место Гоголя среди писателей. Отметив его, как настоящего повествователя и как поэта действительной жизни в противовес всему надуманному, романтическому, отвлеченному, что господствовало тогда в литературе. Белинский писал:

«Отличительный характер повестей г. Гоголя составляют — простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти. Причина всех этих качеств заключается в одном источнике: г. Гоголь — поэт, поэт жизни действительной.

...Тут нет эффектов, нет сцен, нет драматических вычур, все просто и обыкновенно, как день мужика, который в будень ест и пашет, спит и пашет, а в праздник ест, пьет и напивается пьян. Но в том-то и состоит задача реальной поэзии, чтобы извлекать поэзию жизни из прозы жизни и потрясать души верным изображением этой жизни».

Белинский называет далее Гоголя истинным чародеем, он считает, что после «Горя от ума» у нас нет ничего, чтобы отличалось такую «чистейшей нравственностью», как повести Гоголя. Отметив, что фантастическое не совсем удается Гоголю, Белинский в заключение говорит, что Гоголь владеет «талантом необыкновенным, сильным и высоким». «По крайней мере, в настоящее время он является главою литературы, главою поэтов; он становится на место оставленное Пушкиным», («О русской повести и повестях Гоголя».)

Отзывы Белинского нуждаются в некоторых поправках;

фантастическое, например, очень удалось Гоголю, но здесь важнее отметить, что Белинский, за исключением Пушкина, первый заметил огромный дар Гоголя, реалистическое направление его творчества во время, когда еще господствовал отвлеченный романтизм. В этой части мысли Белинского не старели и по сию пору.

Касаясь вопроса об отношении прозы Пушкина к повестям Гоголя, напомним справку Чернышевского в его «Очерках». Чернышевский указал, что Гоголь — повествователь явился раньше Пушкина. Правда, «Повести Белкина» были напечатаны в 1831 году, но, по мнению Чернышевского, они не имели большого значения. Затем до 1836 года была напечатана только «Пиковая дама», прекрасная повесть, но тоже и ей нельзя приписать особой важности. Между тем, Гоголь напечатал «Вечера» в 1831-32 гг., «Повесть о том...» в 1833 г., «Миргород», «Портрет», «Невский проспект», «Записки сумасшедшего» в 1835 г. От себя скажем, проза Пушкина событие в русской литературе единственное, но она лишена той *социальной насыщенности*, какой отличаются повести Гоголя, несмотря на фантастическую оболочку некоторых из них.

Любопытные подробности приводит Кулиш о черновых тетрадях Гоголя, куда он вписывал свои первые повести.

Гоголь писал их в переплетенные тетради из простой бумаги.

«Перелистывание их — я уверен, говорит Кулиш, — доставило бы многим такое грустное удовольствие, какое испытывал я, когда они очутились у меня в руках. Содержа в памяти блестящие вымыслы поэта и глядя на эти сероватые листы бумаги, исписанные мелким, нечетким и несвободным почерком, без всякой системы или порядка, без всяких заглавий и нумераций, едва веришь, что между теми и другими есть что-нибудь общего. Кто бы мог предположить, что этот нетвердый почерк, напоминающий почерки женских рук, эти неровные строки, тесно прижатые одна к другой, эти каракульки, написанные часто бледными или рыжими чернилами, часто заплывшие, часто выдвинувшиеся из своей плохо построенной шеренги, выражали душу столь чистовозвышенную, и ум, одаренный благороднейшими способностями...»

«Он вписывал свое сочинение в книгу почти без всяких помарок, и редко можно было найти в его печатных повестях какие-нибудь дополнения или переделки против черновой рукописи. Часто его сочинения прерываются, чтобы дать место другой повести или журнальной статье; потом, без всякого обозначения или пробела продолжается прерванный рассказ или перемешивается с посторонними заметками, или выписками из книг...»

«Чтобы дать понятие, до какой степени сгущал Гоголь строки мелкого почерка в черновых повестях, скажу, что весь «Тарас Бульба» поместился у него на шестнадцати полулистах». («Записки», том I, стр. 162, 163, 170.)

## ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОВЕСТИ

В письме к Максимовичу Гоголь назвал «Арабески» сумбуром, смесью, кашей. Шутка не лишена правды. Статьи о скульптуре, о музыке, о Пушкине, об архитектуре перемеживаются с историческими заметками о средних веках, с конспектами по всеобщей истории, с отдельными лекциями, мыслями о географии, о малороссийских песнях, с лирическими отрывками, наконец, с законченными повестями. Помещение конспекта и лекций производит невыгодное и неприятное впечатление, как будто Гоголь намеренно старается перед сильными людьми показать товар лицом, он-де вполне владеет предметом истории. Ссылки на провидение, на божий промысел должны подчеркнуть полную благонамеренность.

Белинский по поводу этой части «Арабесок» выразил удивление: «как можно, — спрашивал он, — так необдуманно компрометировать свое литературное имя... Если подобные этюды — ученость, то избави нас бог от такой учености». (О русской повести), «Северная пчела», «Библиотека для чтения» тоже дали статьям суровую оценку. Но в «Арабесках» даже и в статьях содержится много интересного. О заметках, посвященных искусству уже говорилось: при разных своих недостатках, они имеют одно крайне важное положительное свойство: они выражают душевные мысли Гоголя. Интересны также его высказывания о Пушкине:

«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в конечном его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой же очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла».

Точно определил далее Гоголь и отличительные достоинства пушкинского творчества:

«Они заключаются в чрезвычайной быстроте описания и в необыкновенном искусстве немногими чертами означать весь предмет. Его эпитет так отчетист и смел, что иногда одни заменяет целое описание; кисть его летает. Его небольшая пьеса всегда стоит целой поэмы». Весьма характерны для Гоголя и следующие за этим строки:

«Сочинения Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понять тот, чья душа носит в себе чисто-русские элементы, кому Россия родина,

чья душа так нежно организована и развилась в чувствах, что способна понять не блестящие с виду русские песни и русский дух; потому что, чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина».

Упоминая о «мелких сочинениях», то-есть о стихах, Гоголь указывает, что для самых лучших из них надо иметь слишком тонкое обоняние и вкус.

«Слов немного, но они так точны, что обозначают все. В каждом слове бездна пространства».

Закljučается статья по-гоголевски, грустным заявлением:

«...Неотразимая истина, что чем более поэт становится поэтом, чем более изображает он чувства, знакомые одним поэтам, тем заметней уменьшается круг обступившей его толпы, и, наконец, так становится тесен, что он может перечесть по пальцам всех своих истинных ценителей».

Вот как чувствовали тогда себя в России гениальные писатели и вот какие признания прорывались у них сквозь верноподданные славословия!

Наиболее ценное в «Арабесках», однако, не статьи, не этюды, а повести «Невский проспект», «Портрет», «Записки сумасшедшего». Они открывают собой серию петербургских повестей. К ним надо отнести также «Нос», «Коляску», «Шинель». Хотя «Шинель» написана значительно позже, — наброски сделаны в 1839 — 40 гг., - но ее удобнее рассматривать в связи с первыми петербургскими повестями, тем более, что, по замечанию Анненкова, мысли об этой повести у Гоголя появились еще в 1834 году.

Петербургские повести составляют как бы особый этап в творчестве Гоголя и историки литературы не без оснований говорят о втором, петербургском, периоде в его литературной деятельности.

Еще сильнее поблекли краски и цвета. Мир сделался серым, вытянулся однообразными линиями, проспектами. Уже и в помине нет ловких парубков и прекрасных дивчин. Не поют бандуристы о славных казацких делах, о страшных стародавних былях; Рудый Панько не заказывает отведать дивного грушевого квасу. Не сыплется величественный гром украинского соловья и Днепр не серебрится по ночам от луны, как волчья шерсть. Да и нежить потеряла свою, как бы лучше сказать захолустность что-ли, и неприятзательность.

Какая груда домов, людей, колясок, магазинов, вещей, бакенбардов, платьев, носов, советников, жуиров, лакеев! Все громоздится, заслоняет, толпится, назойливо и нахально лезет в глаза, манит. И все в сумерках, во

мгле, в туманах; все зыбится, все неверно.

«Все перед ним окинулось каким-то туманом; тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимыми, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового, вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестя, казалось, на самой реснице его глаз» («Невский проспект»).

Здесь истоки — позднейшего импрессионизма, при этом в его классической форме.

Верно и то, что Гоголь выступает первым русским урбанистом, но урбанистом на свой лад и образец.

Необыкновенное изобилие всякой вещественности, но все призрачно. Призрачны предметы, люди, их поступки.

«Все обман, все мечта, все не то, чем кажется. Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? — Ничуть не бывало; он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся перед строящеюся церковью, судят об архитектуре ее? — Совсем нет; они говорят о том, как странно сели две вороны одна против другой... Он лжет во всякое время этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него... и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде».

Мир будто настоящий; дома, как дома, платья, как платья, люди, как люди; фантастические образы будто исчезли, но этот действительный мир выглядит неестественным; пожалуй, он фантастичнее всяких фантазий.

Почему же это случилось?

В Диканьке, в Миргороде имущественно, вещи властвуют над человеком, но они спокойны, основательны, незамысловаты, нужны, просты. В «Невском проспекте» все баловство, роскошь, вещи раздроблены, непоседливы, превратились в мелочь, в шуштуру. То же и с людьми.

«Необыкновенная пестрота лиц привела его (художника Пискарева — А. В.) в совершенное замешательство; ему казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков, и все эти куски, без смысла, без толку смешал вместе.»

Вот почему люди исчерпываются какою-либо внешней подробностью и для того, чтобы изобразить человека, довольно указать на нее, не заглядывая во внутрь.



«Вы здесь встретите бакенбарды, единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук, бакенбарды бархатные, атласные, черные, как уголь... Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакой кистью неизобразимые; усы, которым посвящена лучшая половина жизни. Предмет долгих бдений во время дня и ночи; усы, на которые излились восхитительные духи... усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленевою бумагой. Тысячи сортов шляпок, платьев, платков, пестрых, легких... Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над черными жуками мужского пола... А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на два воздухоплавательных шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина...».

И чорт здесь особый. Миргородский и диканьский бес по сравнению с ним наивен и простодушен: он орудует прямо, соблазняя кладами, червонцами. Столичный чорт-щелкопер, тонок в обращении, он подвижен, вертляв, речист, ловок, одет с иголочки. «Он — точно мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие. Пыль запустит всем, распечет, раскричится». В сущности он даже не чорт, а просто «столичная штучка».

Лживы, хладны, бездушны люди Невского проспекта. Что делать среди них мечтателям, с настоящей искрой художественного таланта? «О, как отвратительна действительность! Что она против мечты?» «Боже, что за жизнь наша! — вечный раздор мечты с существенностью!». Подобно обольстительному сновидению мелькнула перед художником красавица; ее уста были «замкнуты целым роем прелестнейших грез». Но она привела его в отвратительный притон, где женщины продаются мужчинам. Художник переживает крушение, он отравляет себя опиумом, расстраивает силы. Красавица в грезах является пред ним то царицей бала, то в мирной обстановке у окна деревенского дома. Он долго не видел ее, а когда нашел, вот что от нее услышал:

«А я только-что теперь проснулась, меня привезли в семь часов утра. Я была совсем пьяна». Художник стал уговаривать ее покинуть притон. Они будут жить вместе, вместе работать.

«Как можно! — прервала она речь с выражением какого-то презрения. «Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работой».

Спустя несколько дней Пискарева нашли бездыханным, он перерезал себе горло. Никто не провожал его гроба, кроме квартального и лекаря.

Неизменная существенность и отрешенная от жизни упоительная и губительная мечта. Пискарев — мечтатель. Его приятель офицер Пирогов

— представитель существенности. Пирогов тоже увлекся женщиной. Блондинка оказалась женой мастера жестяных дел немца Шиллера. Но у Пирогова не любовь, не преклонение, а волокитство. Кончается оно тоже плачевно: его изрядно побили немцы. Но Пирогов скроен из другого материала, чем художник Пискарев. Он, вообще говоря, очень доволен собой, он отнюдь не мечтатель. У него множество талантов, но мелких. Он любит потолковать о литературе, причем заодно хвалит Булгарина, Пушкина, Греча, декламирует стихи из «Дмитрия Донского» и «Горя от ума». Когда Пирогова поколотили ражие немцы, он от огорчения... забежал в кондитерскую, съел два слоеных пирожка, вечером отличился в мазурке. Спасительная «существенность»!.. «Дивно устроен свет наш... Как странно, как непостижимо играет нами судьба наша... Все происходит наоборот». А впрочем, Пироговым в отличие от Пискаревых живется недурно.

В «Невском проспекте» есть моменты, напоминающие «Вий»: Красавица-брюнетка напоминает ведьму-панночку; обольщения красавицы также мертвенны, опийны, губительны, как и обольщения ведьмы. Так же, как и в «Вии», художника находят бездыханным. Но Хома Брут раздвоен на Пискарева и Пирогова.

Мечтатели и люди реальной существенности... Мечтателем является и мелкий канцелярист Поприщин. Мечтает Поприщин о человеке. «*Мне подавайте человека*», — кричит он. «*Я требую духовной пищи, той, которая бы питала и услаждала мою душу*». Но кругом мусор, бестолочь, мелочи. Людей встречают и провожают только по чинам, по табели о рангах, по модному фраку, по достатку. Права собачка Меджи, утверждавшая, что любой камер-юнкер хуже Трезора. А между тем все существует только для камер-юнкера и ничего для Поприщиных:

«Все, что есть на свете лучшего, все достается или камер-юнкерам, или генералам. Найдешь себе бедное богатство, думаешь достать его рукой, — срывает у тебя камер-юнкер или генерал. Чорт побери! Желал бы я сам сделаться генералом, не для того, чтобы получить руку и прочее, — нет, хотел бы быть генералом для того только, чтобы увидеть, как они будут увиваться и делать все эти разные придворные штучки и экивоки, и потом сказать им, что я плюю на вас».

В чиновном, николаевском Петербурге все для генералов, а бедняки Поприщины, трудясь десятки лет в пыльных и заплеванных канцеляриях, не могут приобрести галстука и вынуждены бегать на унижительных побегушках у своих начальников. «Существенность», оказывается отнята; Поприщины созерцают ее только, когда их пускают очинять перья в

кабинеты их превосходительств.

Поприщин ищет человека. Его нет. Поприщин требует человеческого с собой обращения; им помыкают. Поприщин жаждет духовной пищи. Ее тоже нет. Поприщин в сорок два года, очиня перья, мечтает о дочери директора. Но у него нет ни положения, ни грошей. А человека и столичные женщины тоже ценят только за положение и за гроши. Поприщин заболевает манией величия, вообразив себя испанским королем. Его болезнь носит на себе социальный отпечаток. В сумасшедшем доме ему кажется, что земля, тяжелое, грузное вещество скоро сядет на луну, вещество легкое. В моменты просветлений Поприщин взывает:

«Нет, я больше не имею сил терпеть! Боже! Что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду!.. Спасите меня»... Дайте мне тройку быстрых, как вихрь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик. Взвейтесь кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится предо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой — Италия; вон и русские избы виднеются. Дом ли то мой синее вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына!»

В этих надрывных криках, в призывах к матери слышится уже не один только Поприщин, но и сам автор.

В «Записках сумасшедшего», как и в «Невском проспекте», основное — разлад мечты с действительностью. Жизнь обернулась своей низменной «существенностью», «существенность» загребли в свои руки генералы и камер-юнкеры, спесивые, глупые образины. Вопрос об отношениях мечты и действительности беспокоил Гоголя и раньше; но раньше мечта, будучи враждебна действительности, хотя и терпела сплошь и рядом крушение, но все же в целом продолжала существовать, даже находила себе в действительности какое-то место, вносила в нее нечто облагораживающее, поэтически высокое.

Так было в «Вечерах», отчасти в «Миргороде».

В Петербургских повестях мечта гибнет совсем, обнаруживая свою иллюзорность и лживость. Правда жизни раскрывается департаментами, надутыми чиновниками, социальным неравенством, властью наглых вещей над человеком, прислужничеством, духовным вырождением...

...Действительность продолжает раскрываться с неумолимой яркостью.

По поводу повести «Нос» сделано не мало всяких предположений,

изысканий, разъяснений, догадок. Доказано, что в те времена тема о носах, в особых и не совсем печатных вариантах, была очень ходкой. Многие, в том числе и Пушкин, смотрели на «Нос», как на веселую шутку. В наши дни фрейдисты доискивались в ней сугубо эротического смысла (Ермаков). Находили, далее, будто Гоголь желал показать, насколько равнодушен чиновный Петербург к таким существенным несчастьям, как потеря носа. На наш взгляд фантастическая повесть о сбежавшем носе вполне укладывается в основную тематику Гоголя и органически связана с его остальными петербургскими повестями. Майор Ковалев лишился носа. Происшествие неприятное, но для Ковалева оно превращается в катастрофу. Почему же? О майоре Ковалеве можно рассказать немного: воротничок его манишки чист и туго накрахмален, бакенбарды у него уездные, идут по самой середине щеки до самого носа. Он носит множество печаток. Майор Ковалев не прочь жениться, но если за невестой двести тысяч капитала. Обладай майор Ковалев другими качествами, например, умом, прекрасной, возвышенной душой, сердцем, неприятное происшествие не разрослось бы в окончательную победу. Но что делать майору Ковалеву без носа, если у него кроме этого носа, да бакенбардов, да печаток, да готовности выгодно жениться, ничего больше нету и окончательно не предвидится?

Майор Ковалев примечателен только тем, что у него нос с прыщиком. Когда он лишается носа, он лишается себя. Но если нос в майоре самое существенное, то почему же носу не приобрести самостоятельности, не разъезжать в мундире, шитом золотом, со шпагой и в замшевых панталонах? пожалуй, нос даже выше Ковалева: у него есть нечто свое, индивидуальное: прыщик. Майор должен преклоняться перед носом: достаточно носу надеть мундир, шитый золотом, и майор потеряет смелость. Да, в столице великое множество майоров Ковалевых и существенное у них носы, и без носов они — ничто. Нос же в мундире почтеннее, важнее любого майора.

В шуточной неправдоподобной повести Гоголя есть большое общественное содержание.

В «Носе» Гоголь достигает редкой сжатости и краткости. Ничего лишнего. Повествование-анекдот развивается динамично. Во всем соблюдена мера. С помощью носа майор Ковалев обрисован с замечательной выразительностью; а это дело очень трудное, потому что майоры Ковалевы «ни то, ни се», «чорт знает что».

Еще больше всеми этими свойствами отличается «Шинель». Имущество, деньги, стяжательство, делают одних черствыми, жадными,

безддушными начальниками, других же превращают в жалкие ничтожества. Об Акакии Акакиевиче Башмачникове можно только сказать: он был одним чиновником в одном департаменте. Жизнь свелась для него к переписыванию бумаг. Вне этого переписывания, казалось, для него ничего не существовало.

Человек превращен в *автомат*. Это — результат бесчеловечности. Акакий Акакиевич окружен равнодушием, холодными насмешками; он вполне одинок; ни к кому не ходит, у него тоже никто не бывает. Кроме канцелярской бумаги его ничто не занимает. «Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице». Акакий Акакиевич никого не способен обидеть, он тих, безответен, но он тоже страшен: для него существует не человек, а бумага. Если обратиться к Акакию Акакиевичу по делу, требующему внимательной человечности, он останется либо глухим и непроницательным, либо окажется беспомощным. Ему нельзя поручить работы, где требуется хотя бы только намек на самостоятельность. Однажды предложили ему написать отношение с небольшой переменной слов, — он весь вспотел и, наконец, попросил дать ему переписать что-нибудь другое.

По своему каждый человек мечтатель. Мечта хоть и живет в постоянном разладе с действительностью, но она неистребима. И Акакий Акакиевич познал всю обольстительность мечты; это случилось, когда расползлась его старая шинель и ему пришлось шить себе новую. Нельзя лучше обрисовать Башмачкина, всю бедность и ничтожность, его внутреннего мира, всю жалкость его, что сделал это Гоголь. Шинель в повести занимает не менее важное место, чем и Акакий Акакиевич. За судьбой ее читатель следит с напряжением. Решив обзавестись шинелью, Акакий Акакиевич делается аскетом, мучеником: изгоняет из обихода употребление чая, сидит по вечерам в темноте, даже ходит повсюду на цыпочках, чтобы сохранить подольше подметки.

Шинель заслоняет собой человека, он уже кажется к ней придатком. Шинель занимает целиком все помыслы Акакия Акакиевича; она уже нечто космическое; благодаря шинели он стал привлекать внимание сослуживцев. Мало того: когда с Акакия Акакиевича громилы сдернули шинель, чиновники, недавно изводившие его насмешками, пожалели его, то-есть, пожалели шинель, предполагали даже сделать складчину, но собрали безделицу, потому что еще раньше потратились на портрет директору и на книгу по предложению начальства. Такова власть вещи над человеком. Немудрено, что Акакий Акакиевич, ограбленный, лишенный мечты, смысла жизни, помирает, причем в предсмертном бреду ему мерещится

шинель. «Исчезло существо, ничем *незащищенное*, никому не дорогое, ни для кого не интересное... но для которого светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое так же потом нес — терпимо обрушилось несчастье».

«...Узнали в департаменте о смерти Акакия Акакиевича, и на другой день уже на его месте сидел новый чиновник, гораздо выше ростом, и выставлявший буквы уже не таким прямым почерком, а гораздо наклоннее и косее.

История с шинелью, однако, имеет продолжение. По Петербургу вдруг пошли слухи, будто у Калинкина моста мертвец-чиновник ищет украденную шинель. «Одно значительное лицо», выгнавшее из кабинета Акакия Акакиевича, принесшего ему жалобу на ограбление, возвращаясь ночью домой на рысаке, было схвачено за шиворот мертвецом. В мертвце «одно значительное лицо» узнало Акакия Акакиевича: «Такой-то шинели мне и нужно!» — крикнул мертвец. «Одно значительное лицо» лишилось шинели; появление мертвеца прекратилось: «Видно генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам».

Странный конец! Но мы уже знаем, что к кладам, к червонцам, к имуществу пристрастны даже и обитатели «того света»: настолько могущественно власть всего вещественного. Помимо того: для «одного значительного лица» мертвец — олицетворение совести, сама же шинель благодаря такому концу превращается в символ.

Башмачкин изображен не человеком, а именно «существом»; и возбуждает он к себе чувство снисходительной жалости. Розанов утверждал, что, создавая Акакиевича, Гоголь подобрал определенные черты, лишив его живого, жизненного начала. То же самое Гоголь сделал будто-бы и с окружающими его чиновниками. Розанов хочет сказать, что Гоголь возвел напраслину на жизнь и на людей, которых он изображал. Гоголь, действительно, подбирал нарочито определенные черты для характеристики и Акакия Акакиевича и других петербургских чиновников, но в соответствии с тогдашней Россией. Хотя повести о бедных и жалких чиновниках и были очень распространены в тридцатых годах, но «Шинели» Гоголя удалось занять исключительное место: от нее ведут свою родословную повести и романы о Мармеладовых, о бедных, искалеченных, забитых голодом и присутственными местами существах. Едва ли это могло случиться, если бы Акакий Акакиевич был только искусно-сделанной, но мертвой схематической фигурой.

К петербургским повестям условно можно отнести и «Коляску»: действие происходит в уездном городке, но Чертокуцкий и его

превосходительство легко могут быть перемещены в галерею столичных типов. Только скука и тоска в городе. Пожалуй, чисто захолустные. Скука и тоска такие, что только и остается развлекаться разговорами о необыкновенных колясках. Они и подобные им вещи занимают внимание, делаются источником разных анекдотических провинциальных происшествий. Об одном таком смешном происшествии с непринужденной живостью и рассказано в краткой повести, скорее в юмореске. Чертокуцкий — сочетание Пирогова с будущим Хлестаковым. Генерал напоминает «одно значительное лицо», а когда Чертокуцкого видишь в коляске, спрятавшимся и согнувшимся, то коляска как бы совсем заслоняет собою человека, и вся сцена приобретает даже символическое значение господства вещи над человеком.

«Мне подавайте человека! Я хочу видеть человека, и требую духовной пищи». Но вместо человека — беззащитное существо, почти животное, несчастное и тупое; вместо человека «одно значительное лицо», существователь Пирогов, немец Шиллер, майор Ковалев, Чертокуцкий, генералы и камер-юнкеры, завладевшие всем, нужным человеку, людские подобию, плененные низменной действительностью, оскорбляющие высокий нравственный и эстетический мир, духовные кастраты, либо беспочвенные мечтатели Пискаревы, сумасшедшие Поприцины. Неужели художник отныне прикован только к ним, осужден изображать только их? А где же люди-герои, самоотверженные носители правды и истины, где подвижничество, напряженная духовная жизнь? Где идеал? Эти вопросы поставлены Гоголем в «Портрете». Кстати: какие все «вещественные» заглавия: «Невский проспект», «Шинель», «Коляска», «Нос», «Портрет».

Художник Чертков обладает настоящим талантом; но его уже притягивает к себе свет, мелочи: щегольский платок, шляпа с лоском. В первоначальной редакции Чертков представлен более чистым, непосредственным и преданным своему таланту. Как бы то ни было, но ему попадает в руки портрет старика в азиатском халате с необыкновенно выразительными глазами: «Это было уже не искусство; это даже разрушало гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза». Портрет вызывал не высокое наслаждение, а болезненное, томительное чувство; в нем не было чего-то *озаряющего*; а одна действительность.

В раме портрета Чертков находит тысячу червонцев. Они соблазняют его легкой жизнью. Чертков одевается во все модное, нанимает дорогую квартиру, покупает хорошие о себе отзывы в ходкой газете, получает выгодные заказы, приобретает известность; он богат, славен. Он рисует

теперь, подчиняясь пошлым вкусам заказчиков и заказчиц. Богатство, стяжательство делается его страстью; мало-помалу он начинает походить на людей, которые движутся «каменными гробами с мертвецами внутри на место сердца». Деньги губят Черткова. Когда он, смущенный успехами своего товарища, попытался вдунуть душу в свои вещи, обнаружилось, что рутинные приемы настолько въелись в него, что он уже не в состоянии от них освободиться. Из зависти он стал скупать все лучшее, талантливое и разрывать на куски. Припадки бешенства перешли в безумие, в горячку. Умирая, Чертков повсюду видит страшные портреты старика.

Старик подробнее раскрывается во второй части повести: некогда в Коломенском районе Петербурга поселился не то грек, не то индеец, не то персиянин в широком азиатском халате. Прибавим, он напоминал цыгана из «Сорочинской ярмарки», отчасти Басаврюка, отчасти колдуна из «Страшной мести». В нем не было ничего человеческого. Он охотно ссужал нуждающихся деньгами. Они приносили только несчастье. Перед смертью ростовщик обратился к одному художнику с просьбой нарисовать его портрет, уверенный, что в портрете от него что-то останется. Художник приступил к работе, но с самого начала его стали тревожить тягостные чувства, которые усиливались по мере его приближения к изображению глаз. Глаза проникали в душу. Вместе с тем в художнике произошла перемена: он вдруг почувствовал зависть к одному из своих одаренных учеников. Стали замечать, что в произведениях художника не хватает святости, а есть демонизм. Не дорисовав портрета, художник отдал его приятелю, который тоже, испугавшись, сбыл его племяннику, а тот скупщику. С тех пор он и переходит из рук в руки. Художник уходит в монастырь и там после девяти лет поста и молитв создал картину «Рождения Иисуса», поразившую всех чистотой и святостью фигур. Умирая, художник завещал сыну: «Надо исследовать и изучать все, что видит человек. Нет низкого предмета в природе. В ничтожном художник — создатель, так же велик, как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит сквозь него прекрасная душа создавшего, и презрение уже получило высокое выражение... Но есть минуты, темные минуты...» Далее художник вспомнил историю с портретом: «Я с отвращением писал его, я не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Насильно хотел покорить себя и, бездушно заглушив все, *быть верным природе*. Это не было создание искусства и потому чувства, которые объемлют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства...»

Итак, ценою всей работы своей работы, ценою жизни художник познал истину, что нельзя быть только верным природе. В первоначальной



редакции эта мысль выражена еще более резко и даже мистично:

«Какая странная, какая непостижимая задача! Или для человека есть такая черта, до которой доводит высшее познание искусства, и через которую шагнув, *он уже похищает не создаваемое трудом человека, он вызывает что-то живое из жизни, одушевляющее оригинал.* Отчего же этот переход за черту, положенную границей для воображения, так ужасен? Или за изображением, за порывом следует, наконец, действительность, — та ужасная действительность, на которую *соскакивает* воображение с своей оси каким-то посторонним толчком, — та ужасная действительность, которая представляется жаждущему ее тогда, когда он, желая постигнуть прекрасного человека, вооружается анатомическим ножом, раскрывает внутренность и видит отвратительного человека? Или чересчур близкое подражание природе также приторно, как блюдо, имеющее чересчур сладкий вкус».

Здесь некоторые выражения звучат магически и возвращают к древнейшим истокам человеческой культуры, когда полагали, что, изображая что-нибудь, или кого-нибудь, берут часть жизни. В этом был уверен также и ростовщик, когда он заказывал свой портрет. В позднейшей редакции, Гоголь смягчая и ограничивая значение фантастических элементов повести, перенес ударение на необходимость озарения действительности идеалом, прекрасной душой художника.

«Портрет» бесспорно связан с душевным надломом и потрясением, какое Гоголь пережил в 1833 году и отразил в «Вии». Хома Брут не утерпел и поглядел, образины ворвались в церковь, схватили бурсака, завязли в окнах. Подобно Хоме, Гоголь тоже увидел не людей, а «существа», нечто «вещественное» и низменное, стал все чаще и ярче изображать образины. Они были верны природе, но в них и намек не было на что-нибудь духовное. И тут перед Гоголем впервые встал вопрос об озарении изображаемого высшим светом, о положительном идеале. Нельзя рисовать только одну меркантильную действительность, существователей, погрязших в стяжательстве, в плену у вещей, у мелочи. Как жить с одним этим, когда в душе заложены возвышенные потребности, жажда красоты, когда есть дар гения. В среде большого художника должен гореть священный, очистительный пламень. Он должен уметь находить и изображать чистые и идеальные «фигуры». Художник и ушел в монастырь. Другого места в действительности он не нашел. Не находил его и Гоголь. «Портрет» показывает, что уже в первой половине тридцатых годов у Гоголя были сильны мистические и аскетические настроения; уже тогда он испугался быть только верным природе, утратил уверенность в возможности нежить и,

не находя реального выхода от действительного к идеальному, обращался к религии.

Кулиш в своих «Записках» верно замечает, что в жизни настоящего литературного таланта всегда наступает момент, когда он от естественного, как бы стихийного творчества переходит к работе, основанной на внутренней, более осмысленной силе, когда одно только природное вдохновение перестает питать художника, Гоголь почувствовал необходимость этого перехода очень рано, еще в первой половине тридцатых годов, но окружавшие его условия побуждали разрешать этот основной для художника вопрос аскетическим и мистическим образом.

Белинский считал «Портрет» неудачным созданием. С этим едва ли можно согласиться. Белинский и сам отмечает, что первую часть повести нельзя читать без увлечения, что в таинственном портрете есть «какая-то непобедимая прелесть». Белинский, однако, прав в более значительном, — когда он утверждает, что совсем не нужно обращаться к таинственному ростовщику; к его сверхъестественной силе, чтобы показать, как Чертков загубил свой талант. Во второй редакции «Портрета» Гоголь и сам убедившись в этом, отодвинул назад и затушевал роль ростовщика; виновным делается сам Чертков, его пороки и страсти. Эти изменения более соответствовали позднейшим взглядам Гоголя. Следы первой редакции все же сохранились в повести.

Нужно также и то отметить, что Чертков, по справедливому замечанию Анненского, гибнет не от того, что слишком верно и точно подражает природе, а от того, что копирует ее по готовым шаблонам. Основная мысль Гоголя не совсем отчетлива и не нашла поэтому в повести вполне ясного выражения.

«Портрет», как и «Вий», произведения пророческое. В нем уже приоткрывается трагическая судьба Гоголя, его будущая борьба за «высшее озарение», за аскетизм. К счастью, аскетические мысли еще пока не овладели Гоголем, хотя уже и наложили на него свой тяжелый отпечаток.

Петербургские повести знаменуют обращение писателя от мелко-и средне-поместной усадьбе к чиновному Петербургу. Мастерство Гоголя сделалось еще более зрелым и социально направленным, но в то же время и еще более мрачным. Усилились острота пера, сжатость, выразительность, общая экономность в средствах. Замысловатый и фантастический сюжет уступил место анекдоту, манера письма стала более прозаической.

Потерпели крушение мечтания о полезной государственной службе, о педагогической деятельности. Однако, многое, было и достигнуто. Гоголь выбился из безвестности, из «мертвого безмолвия», из миргородского и

нежинского захоlustья. Он на короткую ногу знаком с Пушкиным, с Жуковским, принят сановным Петербургом. У него восторженные почитатели. Не только известен, он прославлен. С. Т. Аскаков рассказывает: московские студенты приходили от Гоголя в восхищение и распространяли громкую молву о новом великом таланте.

«В один вечер сидели мы в ложе Большого театра, вдруг растворилась дверь, вошел Гоголь и с веселым дружеским видом, какого мы никогда не видели, протянул мне руку со словами: «Здравствуйте!» Нечего говорить, как мы были изумлены и обрадованы. Константин, едва ли не более всех понимавший значение Гоголя, забыл, где он, и громко закричал, что обратило внимание соседних лож. Это было во время антракта. Вслед за Гоголем, вошел к нам в ложу Ефремов, и Константин шепнул ему на ухо: «Знаешь ли, кто это у нас? Это Гоголь». Ефремов, выпуча глаза, также от изумления и радости, побежал в кресла и сообщил эту новость покойному Станкевичу и еще кому-то из наших знакомых. В одну минуту несколько трубок и биноклей — обратились на нашу ложу и слова: «Гоголь! Гоголь!» — разнеслись по креслам. Не знаю, заметил ли он это движение, только сказав несколько слов, что он опять в Москве на короткое время, Гоголь уехал»<sup>[19]</sup>.

Такова в те годы была слава Гоголя. Слава была огромная; сбылись юношеские мечтания; но отрады он не испытывал!

Попрежнему приходилось испытывать материальные стеснения и всякие житейские неурядицы.

Не давала покоя цензура. В письме Погодину Гоголь пишет:

«Если в случае глупая цензура привяжется к тому, что «Нос» не может быть в Казанской церкви, то пожалуй можно его перевести в католическую. Впрочем я не думаю, чтобы она до такой степени уж выжила из ума». (1835 год, 18 марта.)

Самочувствие Гоголя часто «заунывное». Он признается Максимовичу:

«Ей-богу, мы все страшно отделились от наших первоначальных элементов. Мы никак не привыкнем глядеть на жизнь, как на трин-траву, как всегда глядел казак... Послушай, брат: у нас на душе столько грустного и заунывного, что если позволить всему этому выходить наружу, то это чорт знает что такое будет. Чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая веселость. Есть чудная вещь на свете: это бутылка доброго вина». (1835 год, 22 марта.)

К бутылке «доброго вина» Гоголь прибегал, однако, осмотрительно и очень умеренно.

Он страдает от того, что в России мало людей, понимающих искусство. В письме к матери он утверждает:

«Во всем Петербурге, может быть, только человек пять и есть», чувствующих глубоко и истинно искусство.

Жалуется он также на свою тупую голову, на столбняк, который находит на него по временам.

Обнаруживая на ряду со всем этим большую жизненную приспособляемость и практичность, Гоголь советует погодинскому «Московскому Наблюдателю» напечатать объявление огромными буквами, разослать их при «Московский Ведомостях» и смело говорить, что «Наблюдатель» числом листов не уступит «Библиотеке для чтения».

Гоголь очень хорошо понял значение одного из самых меркантильных завоеваний «мануфактурного века — рекламы». Шевырева он просит дать отзыв об «Арабесках», а Погодина — напечатать объявление о том, что книга возбудила всеобщее любопытство. Обращает внимание: Гоголь хлопочет не о «Миргороде», а об «Арабесках», где были помещены его лекции и конспекты по истории; все еще надеясь сохранить за собой место преподавателя, он дает понять Жуковскому: хорошо бы повлиять на императрицу, чтобы она не соглашалась отдать его место другому лицу.

Он продолжает входить в хозяйственные дела матери, советует, как надо сажать семена и т. д.

В разговорах Гоголь, если того хотел, отличался остроумием и умел занимать людей. Впрочем, некоторые его шутки казались неуместными. В. А. Сологуб рассказывает:

Гоголь часто навещал его тетку княгиню Васильчикову. Однажды он застал ее в глубоком трауре по случаю кончины матери и начал ей рассказывать об одном помещике, у которого помирал единственный сын. Старик не отходил от больного, но, случилось, измученный он заснул, предварительно приказав немедленно его разбудить, если сыну сделается хуже. «Не успел он заснуть, как человек бежит: «Пожалуйста!» — «Что, неужели хуже?» — «Какой хуже! Скончался совсем!..» Раздались вздохи, общий возглас и вопрос». «Ах, боже мой, ну, что же, бедный отец?». «Да что ж ему делать, — продолжал хладнокровно Гоголь, — растопырил руки, пожал плечами, покачал головой, да и свистнул: фю, фю». «Громкий хохот детей заключил анекдот, а тетушка с полным на то правом рассердилась на эту шутку»<sup>[20]</sup>.

Усиленно Гоголь продолжает работать над своими литературными произведениями. В одном из писем к Пушкину он сообщает:

«Начал писать «Мертвые души». Сюжет растянулся на предлинный

роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей главе. Ищу хорошего ябедника, с которым бы можно коротко сойтись. Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь». (1835 год, 7 октября.)

Работая над комедиями, он просит Пушкина поделиться замечаниями по поводу «Женитьбы». Вообще 1834 и 1835 годы принадлежали в жизни Гоголя к самым плодотворным.

## КОМЕДИИ

Первое представление «Ревизора» было дано в Петербурге 19 апреля 1836 года.

Предварительно Гоголь читал «Ревизора» у Жуковского. По отзывам П. Вяземского и других лиц мастерское чтение вызвало взрывы смеха.

В том же году были готовы «Женитьба», отрывки из неоконченной комедии «Владимир третьей степени» и, возможно, велась работа над «Игроками».

Как известно, сюжет «Ревизора» сообщил Гоголю Пушкин, но в комедии есть общее и с пьесой Квитки «Приезжий из столицы». У Квитки в уездный город тоже является мальчишка, которого городничий и чиновники принимают за ревизора. Среди действующих лиц есть судья, почтовый экспедитор, смотритель училища, частный пристав. Развязка тоже напоминает конец «Ревизора». Но разработка характеров глубоко своеобразно и говорить можно только о внешнем заимствовании Гоголем и Квитки сюжета.

В комедиях и прежде всего в «Ревизоре» «низменная вещественность» выступает в наиболее обнаженном виде. В повестях она смягчается порой лирическими отступлениями, размышлениями; здесь все устремлено к одному. Сцены кратки, динамичны, хлестки. При всей своей простоте диалог отличается меткостью, нет вялых, «средних» мест, автор держит зрителя в постоянном напряжении. Смех тоже ничем не смягчен. Он горек, безотраден, он калечит и убивает. Уже опустился занавес, разошлись посетители, уже потушены огни, а он, этот тяжелый, пронзительный смех, все еще раздается в ушах. Нет в нем ни незримых слез, ни иронии, ни юмора; он странный, безысходный, страшный. Да и смех ли это? Не так ли смеялся всадник на Карпатах, когда схватил колдуна, чтобы кинуть его в бездонную пропасть на поживу мертвецам: «увидел несшегося к нему колдуна и засмеялся. Как гром рассыпался дикий смех по горам и зазвучал в сердце колдуна, потрясши все, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри его и бил молотами по сердцу, по жилам».

В комедиях все обыденно: отсутствует сложная интрига, нет трюков, заманчивой завязки, неожиданной развязки; драматизм достигается с помощью самых простых приемов, мастерским диалогом и выразительностью лиц и положений.

Никакой фантастики нет и в помине. Нет и прикрас. И однако, по временам действительность встает дичайшей фантазмагорией. На сцене будто и люди, но как будто и не люди, а некие человекоподобные существа. «Ничего не вижу» — кричит городничий. «Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего». Живые ли они существа? Скорее манекены. В них что-то автоматическое, их движения, их слова, словно у заводных игрушек, у марионеток.

Взятка — главное действующее лицо. Говорят о взятках, берут взятки, живут взяткой. От взятки — сюжет, интрига, завязка, развязка. По поводу городничего Гоголь сообщает:

«Человек этот более всего озабочен тем, чтобы не пропускать того, что плывет в руки. Из-за этой заботы некогда было взглянуть поостороже на жизнь или осмотреться получше на себя. Из-за этой заботы он стал притеснителем и очерствел почти неприметно для самого себя, потому что злобного желания притеснять в нем нет; есть только желание прибрать все, что ни видят глаза». («Предупреждение».)

Городничий всегда куда-то спешит, распоряжается, разносит, не знает ни отдыха, ни срока, но все это имеет одну единственную цель: стяжательство, взятку. По своим задаткам он даже не плохой человек; больше других своих сослуживцев он возбуждает к себе сочувствие, он не чужд человеческих движений, но сквалыжничество сделало его грубым хапуном.

Он не глуп от природы, у него есть сметка, есть чутье действительности. Он хитер, опытен:

«Тридцать лет живу на службе; ни один купец, ни подрядчик не мог провести, мошенников над мошенниками обманывал; пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уд; трех губернаторов обманул». Но взятка сделала его слепым: он не разглядел Хлестакова.

Взяточники — судья, полицейские.

Все в плену у «вещественности». Бобчинский и Добчинский сплетники, но и сплетня бывает сплетне рознь. Бобчинский и Добчинский распространяют сплетню мелкую, житейскую, так сказать, материальную: «Другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить». Не забывают помянуть, что у них «желудочное трясение». Про жену городничего Анну Андреевну известно: «половину жизни провела в кладовой, остальную половину за романами». В продолжение пьесы почтенная уездная матрона четыре раза переодевается в разные платья.

Необыкновенно вещественный город и необыкновенно вещественные

люди. Несет жирными щами, капустой, треской, селедкой. Даже в присутственных местах сторожа завели гусей. Что-то тяжелое, осевшее, захолустное, дореформенное, но уже вкусившее и от прелестей «мануфактурного века». Берут деньгами, борзыми щенками, любой натурой. Натуру тоже уже можно сбыть с рук. Городничий берет всякую дрянь; даже черносливом, который залежался в бочках, и тем он не брезгует.

Городничий и его подчиненные сослуживцы — спевшаяся шайка. У них круговая порука. Вот во что выродилось казацкое товарищество времен Тараса.

...В противовес тяжелому, осевшему уездному городу, его чиновникам и обитателям Хлестаков отличается легкостью. Он — легкомысленное порождение Невского проспекта, где все обман, все мечта, все не то, что кажется. Городничий опростоволосился и принял Хлестакова за ревизора, потому, что Хлестаков «столичная штучка» нового покроя. Будь он провинциальный обитатель, городничий разглядел бы его сразу; в делах провинциального порядка городничего не проведешь. Но «столичные штучки» ему незнакомы. На Невском проспекте тысячи непостижимых характеров и явлений. Тут все призрачно, едва покажется и исчезнет, все освещается странным светом, живет не своей, а отраженной жизнью, все мутно, неопределенно.

Фигура Хлестакова: воздушна; во всякий момент она готова расплыться туманным пятном. Он весь в неверном полете. Недаром появляется он внезапно и так же внезапно исчезает. Куда исчезает, почему? Не человек, а тень, мираж, мыльный пузырь. Он лишен всякого ядра; он тот, кого из него хотят сделать. Трусость городничего и боязнь возмездия превращают Хлестакова в ревизора. Хотят, чтобы он беспросветно лгал, он лжет беспросветно и вдохновенно. Анна Андреевна и ее дочь делают его ловеласом, женихом. Осип увозит его из города. Он во всем подчиняется.

Во всякий момент он готов облачиться в чужую личину, перевоплотиться, он должен, он непременно всегда это будет делать, потому, что у него нет ничего своего. Он — пустышка, дыра, ничто. Отсюда и вранье его. Он лжет, потому что должен придумывать себя, чтобы кем-нибудь быть. Как только Хлестаков перестанет играть, лгать, он, действительно, сделается «сосулькой», «вертопрахом», «елистратишкой». Его ложь — некое самоутверждение себя: иначе он «везде, везде». Самое страшное, когда Хлестаков остается наедине с собой. Он всегда должен быть на людях.

Городничий — «тело, материя». Хлестаков — «душа». Городничий —



«действительность». Хлестаков — «мечта». Городничий — действительность и материя, грузные, грязные, сквалыжные. Хлестаков — душа и мечта, неверные, обманные. Но у него есть нечто от «вещественности». Например, любит покушать. «Ужасно, как хочется есть... Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия». Первое появление Хлестакова — он ищет, как бы пообедать. После обеда, как только городничий предлагает ему услуги, он опять плотно наедается и изрядно подпивает. Когда лжет, много внимания уделяет съестному. «На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа, откроют крышку — пар, которому подобного нельзя отыскать в природе». Он очень доволен приемом: «Завтрак у вас, господа... Я доволен, я доволен. Отличный лабардан, отличный лабардан!» При всей своей легкости и воздушности Хлестакова вполне хватает, чтобы набрать взяток, приношений. Тут он вполне «материален».

Есть и еще у него земная страстишка: любит одеться. «Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Штаны, что ли продать. Нет, уж лучше поголодать, да приехать домой в Петербургском костюме. Жаль, что Иохим не дал на прокат кареты, а хорошо бы, чорт побери, приехать домой в карете, подкатить эдаким чортом к какому-нибудь соседу-помещику под крыльцо, с фонарями, а Осипа сзади одеть в ливрею».

Вот тоже любит Иван Александрович срывать «цветы удовольствия» с «прелестным полом» и в этом очень непривередлив: сойдут и мать и дочка.

«Воплощается» очень легко. Вообразив себя высоким сановным лицом, уже готов угрожать, распекать, распорядиться, управлять. Легко входит в житейскую роль. Благодаря городничим, Землянике, Добчинским и Бобчинским, Аннам Андреевнам Хлестаковы занимают «посты» и, уж будьте уверены, в самое короткое время умеют столько натворить, наорудовать, что иному и в век не распутать. Обидно, но надо признать: не перевелись Иваны Александровичи и в наше время. Он «езде, везде». Живуч, подвижен.

И городничий и Хлестаков кровно связаны с вещами, с имуществом. Городничий окружен вещами старомодными, но прочными и кряжистыми. Хлестаков жил среди безделушек и всякой мелочи, каким набиты магазины Невского проспекта: галстучки, пуговицы, цепочки, клетчатые костюмы. И от них и от Хлестакова рябит и пестрит в глазах. Городничего окружают простые вещи и сам о прост. На первом представлении «Ревизора» Гоголь распорядился вынести роскошную мебель из дома городничего и потребовал, чтобы ее заменили обычной провинциальной мебелью,

прибавив клетки с канарейками и бутылъ в окне. Хлестаков, наоборот, любит вещи блестящие, столичные.

Городничий по своему целен. Хлестаков лишен всякой цельности. Он мелкотравчат, мозаичен. «Несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове. Один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно».

Душевные движения, поступки Хлестакова не связаны друг с другом, лишены стержня; они — механическое нагромождение, хлам, мишура, что-то нагловатое, надувательское, рекламное. Это — Невский проспект с его магазинами, вывесками, привлекательными безделицами, бакенбардами, усами, со всем пестрым грохочущим, куда-то несущимся, но лишенным общей жизни. У городничего и его сослуживцев все же есть своя общая жизнь, основанная на плутнях, на круговой поруче. У Хлестакова нет даже и такой жизни. Он сам по себе. Городничий это — старая крепостная Русь, взяточная, мордобойная, но со всеми своими «устоями», Хлестаков это — «мануфактурный век», но в особой российской оболочке; и не случайно мануфактурный Хлестаков обморочивает крепостника-городничего. Хлестаков живучее, современное: городничего ожидает расправа, возмездие, Иван Александрович «укатил», продолжает странствовать и завтра непременно обнаружит себя блистательными и вдохновенными деяниями на новом поприще, хотя у него и нет такого солидного фундамента, какой был у городничего.

Иван Александрович из молодых, да ранний. Несмотря на прыть, на живучесть, в нем уже чувствуется вырождение, полная социальная никудаышность. Он — символ чиновного, бюрократического Петербурга, вкусившего от прелестей «мануфактурного века», — Петербурга, живущего в болотах, в туманах призрачной жизнью, чуждой трудовой, крестьянской стране.

Еще поживет, однако, Иван Александрович. Еще долго будем встречать его повсюду: в литературе, в науке, в политике, в хозяйственной жизни. Будут строить жизнь, погибать на каторгах, в тюрьмах, на виселицах, изнывать в непосильном труде, а Иван Александрович будет легче пушинки носиться по России, витийствовать, распекать, сочинять стишки, романы, преподавать, соблазнять Анну Андреевну и ее дочку, исчезать и появляться в другом месте со свежими силами. Он даже проникнет и в ту среду, где казалось бы, ему совсем не место, «в стан погибающих за великое дело»; и здесь скажет он свое легковейное словцо, а уж если попадется в руки

какому-нибудь озверевшему в конец Сквозник-Дмухоповскому, то, чтобы уцелеть, не пожалеет ни брата, ни отца; очень уж легок на язык и пристрастен к цветам удовольствия.

Страшен в своем сквалыжничестве и очерствелости городничий, но еще более страшен в душевной своей пустоте, дробности и ничтожности — Хлестаков. Оба носят в себе мертвеца, оба лишены души и человечности, высоких помыслов и движений. Бездушны, черствы и остальные герои комедии. Они имеют своих прототипов в более ранних произведениях Гоголя: городничий и его сослуживцы напоминают миргородских чиновников из «Повести о том...», Хлестаков — Пирогова, Ковалева, и т. д., но людская очерствелость и опустошенность выступают теперь значительно ярче.

Необыкновенно символична заключительная сцена окаменения: так именно и нужно окончить комедию, где действующие лица потеряли, за исключением самых низменных потребностей, все живое, духовное. Они и без охватившего их страха уже оцепенели, уже охвачены нравственным столбняком. Немой сценой Гоголь показал образец, как надо действительность в произведении искусства поднимать до *обобщающего символа*. Подлинное творчество и заключается именно в таком обобщении. Только тогда преодолевается бытовая и натуралистическая ограниченность и на произведении ложится отпечаток вечности, не лишая его в то же время плоти и крови, мускулов и соков современности. Немая сцена знаменательна и в другом отношении. Она как бы показывает, как далеко ушел Гоголь от своих «Вечеров на хуторе».

Андрей Белый в замечательной, но социологически слабой, во многом спорной и односторонней работе «Мастерство Гоголя» верно подметил эволюцию жеста, если сравнить «Вечера» с «Ревизором» и «Мертвыми душами». Действительно, жест в «Вечерах на Хуторе» Гоголя является «плавным росчерком движения». Движение непрерывно, цельно, синтетично. Не то в «Ревизоре». Жест раздроблен, атомистичен и механичен. «Ревизор», — пишет Андрей Белый, — дерги жестов: Бобчинский и Добчинский — влетают взапых, вперебив дергаются словами, бегут «петушком», протыкают щель двери коками, с дергом их пряча; дверь обрывается... Бобчинский летит вместе с нею; надергавшись, окаменевают какими-то растарашами «с разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами»; и жест городничего — дерг; вздергивает палец, дергается гримасой, хватается за голову, нахлобучивает на себя бумажный футляр; выпучив глаза и руки по швам замирает надолго, чтоб дернуться дрожью; внезапно чихает; судорожно грозит себе кулаком,

бьет каблуком; и, пораженный молнией, стоит в веках, в поколениях читателей — с разброшенными руками, с закинутой головой; Хлестаков же в момент развертывания павлиньего хвоста — «езде, езде» — чуть не шлепается; какие-то дергоноги и дергоруки; на всех падает молния...

Гоголем был осознан прием умерщвления движения с переходом жеста в застывшую мину... всюду тенденция посадить своих героев на «электрический стул»... «А результат — смерть»<sup>[21]</sup>.

Немая сцена заключает это омертвление. Произошло все это потому, что живые люди «Вечеров», веселые парубки, дивчины, Чубы, Макогоненки, уступили место манекенам и марионеткам, «живым трупам». Трусами же их сделала корысть, взятка, приобретательство, «вещественность». «Вещественность» вынула из людей душу. Прекрасный мир, где все *органически* связано друг с другом распался и рассыпался на куски, превратился в больничные палаты, где люди дергаются без сознания в предсмертных судоргах. Тяжек путь Гоголя.

В «Ревизоре» отсутствует обычная для комедий любовная интрига, если не считать случайных ухаживаний Хлестакова и неожиданного для него самого намерения жениться на дочери городничего. Зато в другой комедии в «Женитьбе» эта интрига по виду является главной, однако, лишь для того, чтобы опорочить один из самых священных устоев старого общества, брак. Властное и великое чувство любви в «Женитьбе» уступило место пошлейшему стяжательству и вещественности. Собираясь жениться, Подколесин прежде всего хлопочет о черном фраке, о сапогах, даже о ваксе: «Кажется, пустая вещь сапоги, а ведь, однако же, если дурно сшиты, да рыжая вакса, уж в хорошем обществе и не будет такого уважения». Вновь и вновь он заставляет рассказывать сваху Феклу о приданном.

«А приданое, каменный дом в Московской части, о двух елтажах, уж такой прибыточный, что истинное удовольствие. Один лабазник платит семьсот за лавочку. Пивной погреб тоже большое общество привлекает. Два деревянных хлигеря». Кочкарев, уговаривая Подколесина жениться, изображает «семейное счастье» в таких выражениях: «диван будет, собачонка, клетка, рукоделье, бабеночка подсядет». Яичницу тоже занимает только движимое и недвижимое: дом, флигель, дрожки, сани, серебряные ложки, пуховики, платья, салфетки. Жевакин аттестует себя «аглицким суконцем».

Невеста Агафья Тихоновна интересуется женихами прежде всего со стороны их плотности, дворянства, чинов. О человеке, об его душевных свойствах никто и не заикается. Яичница прямо говорит: хороша и дура, «были бы только статьи прибавочные в хорошем порядке». Если иссякает

разговор об этих прибавочных статьях, беседовать больше решительно не о чем. Кочкарев твердит, что отказаться Подколесину от женитьбы никак нельзя; официанту уже и ужин заказан. Других соображений ему в голову не приходит.

О своих жениховских чувствах Подколесин рассказывает: «Теперь я вот вижу, что все это движется, живет, чувствует, эдак как-то испаряется, как-то эдак, не знаешь даже сам, что делается». Подколесинская нерешительность, байбачество, трусость — от того, что он привык лежать на диване, привык к комнате холостяка, к слуге, к вещам: «Все был неженатый, а теперь вдруг женатый». Дети пойдут, все будут разбрасывать, портить. Кочкарев, наоборот, жаждет новизны, но полагает тоже, что она — в диване, в собачонке, в бабеночке; Подколесина же новые вещи пугают: «Там уж и карета и все стоит в готовности». Понятно, он не прочь приобрести каменный дом, пивной погреб, серебряные ложки, но все еще это не обжито им; ему дорого привычное, старое, нагретое.

Подколесин — порождение крепостной, чиновной среды с ее незатейливой рухлядью, геранью, канарейками, лоханкой для умывания, кучами табаку, департаментами, куда надо ходить в положенные часы; но так же, как и Хлестаков, он *общечеловечен*. Его тоже нередко можно встретить в науке, в искусстве, в политике, повсюду. В моменты социальных потрясений Подколесинных бывает особенно много, как впрочем, и Кочкаревых. Если Кочкаревы больше всех шумят, куда-то все устремляются, жаждут «новизны» только «новизны», не признают никакой преемственности, настаивают на самых решительных действиях, что, однако, нисколько не мешает им первыми прятаться в кусты, — то Подколесины стараются отсидеться, обнаруживают нерешительность, оглядываются то и дело назад, будто к чему-то склоняются, но когда нужно действовать, прыгают в окно. Так прыгнули в окно многие из нашей интеллигенции во время Октябрьской революции. Прыгнули в окно и из настоящих революционеров. Подколесин — тип, недостаточно оцененный нашей литературой и критикой.

«Женитьба» общечеловечна, но, повторяем, прежде всего она является сатирой на дворянски-купеческий брак, когда обедневшее «первенствующее сословие» стало торговать своим «благородным» происхождением и продавать его за каменные дома и лабазы, а купеческие дочери покупать себе «звания». В Подколесине, между прочим, нетрудно узнать Ивана Федоровича Шпоньку, а в Агафье Тихоновне девицу Марию Гавриловну.

«Женитьба» была переделана Гоголем из драматического отрывка

«Женихи», уже готового в 1833 году. В отличие от «Женихов» действие в «Женитьбе» перенесено из украинской помещичьей среды в Петербург.

Драматические отрывки и отдельные сцены являются остатками уничтоженной Гоголем комедии «Владимир третьей степени». Над этой комедией Гоголь начал работать еще в 1833 году. Действующими лицами являлись не низшие петербургские чиновники, и не уездные городничие и судьи, а должностные воротилы. Гоголь хотел раскрыть их своекорыстные махинации, мелочность, преступность. По замыслу главный герой добивается редкого отличительного ордена, Владимира третьей степени, но в конце пьесы сходит с ума, вообразив, что он и есть этот орден. Артист Щепкин слышал от Гоголя замечательную сцену, где герой пьесы перед зеркалом мечтает об ордене и уже видит его на себе. Гоголь читал отрывки и Погодину. «Что за веселость, что за смешное!» — восхищался Погодин. «Какая истина, остроумие! Какие чиновника на сцене, какие канцелярские служители, помещики, барыни!». Утверждали, что по своим художественным достоинствам «Владимир третьей степени» был нисколько не ниже «Ревизора», а по своему социальному содержанию гораздо острее.

Об остроте пьесы знал Пушкин; в письме к Одоевскому он писал: «Кланяюсь Гоголю. Что его комедия? В ней же есть закорючка». Этой закорючки Гоголь и испугался. Его напугала, как уже отмечалось цензура. Лучшая комедия была уничтожена. Тщательно переделав ее из-за цензурных соображений, Гоголь напечатал только четыре небольших отрывка. Сопоставляя их, Шенрок пришел к такому заключению относительно всей комедии:

«В комедии предполагалась следующая последовательность. Интрига начинается завистью, возбужденной, как мы узнаем из «Утра делового человека», Иваном Петровичем в его собеседнике Александре Ивановиче; потом эти, сначала бессильные злоба и зависть находят себе богатую пищу в неожиданно представившемся случае раскрыть мошенничество Ивана Петровича. Здесь начинается драматическое действие, интрига. Далее Закатищев является к своему начальнику с известием о «сюрпризе» и уже составляет план требовать себе награды, но не застаёт его дома, потому что тот уехал к своей сестре Марии Петровне (впоследствии — Марье Александровне), героине четвертого отрывка... Между прочим, в сцене «Лакейская» автор пользуется случаем для того, чтобы познакомить зрителей с другими неприглядными сторонами жизни и обстановки таких в известной среде влиятельных чиновников, как Иван Петрович или Фома Фомич»<sup>[22]</sup>.

«Игроки» напечатаны значительно позже «Ревизора». У картежного плута Ихарева одна страсть — обчистить: «Господи, боже, как бы хотелось! Как подумаешь, право, сердце бьется». Однако, Ихарев сам делается жертвой более ловких плутов.

«Хитри, после этого! Употребляй тонкость ума! Изощрай, изыскивай средства!.. Чорт побери, не стоит просто ни благородного рвенья, ни трудов! Тут же, под боком, отыщется плут, который тебя переплутует! Мошенник, который за один раз подорвет строение, над которым ты работал несколько лет. Чорт возьми! Такая уж надувательная земля! Только и лезет тому счастье, кто глуп, как бревно, ни о чем не думает, ничего не делает».

Особняком стоит «Театральный разъезд»; о нем речь впереди. Безотрадная действительность! И какие герои! У одного вся нижняя часть баранья и поросла шерсть, другой похож на медведя, третий — яичница, четвертый — «сосулька», пятый свинья, шестой — протобестия. В помышлениях — дома, диваны, взятки, лабарданы, вина, платья, тяжбы, ордена, карты, плутовство, мелкое подсиживание, пакостничество, байбачество, низкое прислужничество. Где же выход? Ответа нет. Прав Гоголь: «Ревизор» — без конца: зритель не знает, куда же зовет его автор. Зритель почувствовал безысходность, низость и пошлость изображенной действительности, он хочет что-то делать. Но что делать? В заключительной сцене появляется жандарм, требует взяточников и бездельников явиться к чиновнику, приехавшему по именному повелению. Ответ ли это? И не вывернется ли городничий со своими Ляпкиными-Тяпкиными? Ведь провел же он мошенников из мошенников, трех губернаторов обманул. «А судьи кто?» Чьи интересы соблюдают эти чиновники «по именному повелению», каковы они сами? Писатель довольно поводит читателя по Петербургу: там читатель увидел «одно значительное лицо», генералов и юнкеров, завладевших жизненными благами, майора Ковалева, Акакия Акакиевича, Пирогова. И от «Ревизора», и от «Женитьбы», и от отрывков остается томительное и тягостное впечатление.

«Ревизор», «Женитьба», отрывки как бы замыкают собой круг произведений Гоголя, навеянных Петербургом. Правда, в «Ревизоре» местом действия является захолустье, но Петербург все время чувствуется и здесь, благодаря Хлестакову, ожиданиям и страхам городничего и его сослуживцев. Да и по другим признакам, и по творческим приемам «Ревизор» должен быть отнесен к петербургским повестям. Так же как и в повестях, в основу комедии положен в сущности анекдот; так же, как и в

них, есть ряд сцен и нет развертывания сюжета, нет настоящего действия; увеличивается обилие вещей; вещь конкретизируется, принимает вид имущественных отношений; люди превращаются в марионеток.

Искажение человеческого образа, его омертвление происходит от того, что человек поработан имуществом, стяжательством, взяткой, лихоимством. Но этот вывод из произведений Гоголя делаем мы, читатели, и делаем совершенно справедливо. Подозревал ли Гоголь, что именно этот вывод напрашивается из его повестей и комедий 1833–1835 годов? Судя по многим отзывам об окружающей его обстановке и людях, по содержанию произведений, по некоторым поступкам, Гоголь это понимал. Но понимая, он страшился этого вывода, как крепостник-помещик. И потому он старался вольно или невольно (скорее невольно) затемнить подлинный смысл своих произведений, направить внимание читателя в иную сторону.

В «Вечерах на Хуторе», даже в «Миргороде» соблазн вещественности приходит извне; сам человек неповинен, он — жертва обольщения. Даже колдун в «Страшной мести» несет кару не за свои грехи, а за грехи предков. Теперь Гоголь старается обвинить самих людей, найти их собственную порочность. Так, городничий оказался в дураках якобы по своим личным дурным качествам. Итак, человек порочен в самом своем существе. Может быть, эта самая важная перемена, какая произошла за последние годы с Гоголем — писателем, и, пожалуй, самая опасная. О ней подробнее речь впереди, сейчас же следует еще отметить, что благодаря такому взгляду в произведениях Гоголя наметилось резкое расхождение между художественным содержанием и его истолкованием.

«Ревизор» дорого обошелся Гоголю. Цензура запретила сначала пьесу. Пришлось обращаться к Жуковскому, к Вяземскому, к графу Виельгорскому с просьбой о содействии. Николай I сам читал комедию в рукописи. После разных мытарств разрешение было получено. В театре «Ревизора» приняли с недоумением. Комедию находили написанной «низким языком» и слишком натуральной. На первом представлении присутствовал царь с министрами. Рассказывают, что он много смеялся, в заключение сказал: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне — более всех».

Если бы царь предвидел, какое общественное значение суждено было сыграть в поколениях «пьеске», едва ли бы он посмеялся.

О первом представлении П. В. Анненков вспоминает: «Гоголь протрадал весь этот вечер... Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах, словно никто не знал, как должно думать о картине, только что представленной. Недоумение это возрастало потом с каждым актом. Как будто находя успокоение в одном предположении, что



дается фарс, большинство зрителей, выбитое из всех театральных ожиданий и привычек, остановилось на этом предположении с непоколебимой решимостью. Однако же, в этом фарсе были черты и явления, исполненные такой жизненной истины, что раза два, особенно в местах, наименее противоречащих тому понятию о комедии вообще, которое сложилось в большинстве зрителей, раздавался общий смех. Совсем другое произошло в четвертом акте: смех, по временам, еще пролетал из конца залы в другой, но это был какой-то робкий смех, тотчас же и пропадавший; аплодисментов почти совсем не было... По окончании акта прежнее недоумение уже переродилось во всеобщее негодование, которое довершено было пятым актом...

По окончании спектакля Гоголь явился к Н. Я. Прокоповичу в раздраженном состоянии духа. Хозяин вздумал поднести уму экземпляр «Ревизора», только что вышедший из печати, со словами: «Полубуйтесь на сынку». Гоголь швырнул экземпляр на пол, подошел к столу и, опираясь на него, проговорил задумчиво: «Господи, боже! Ну, если бы один, два ругали, ну, и бог с ними, а то все, все»<sup>[23]</sup>.

Из чиновного и сановного мира многие считали, что правительство ошиблось, допустив постановку «Ревизора», в котором оно осмеивается, что автору место в Сибири и т. д.

Сам Гоголь писал о постановке:

«Ревизор сыгран — и у меня на душе так смутно, так странно... Я ожидал, я знал наперед, как пойдет дело, и при всем том чувство грустное и досадно тягостное облекло меня. *Мое же создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не мое.* Главная роль пропала; так я думал... С самого начала представления пьесы я уже сидел в театре скучный. О восторге и приеме публики я не заботился. Одного только судьи из всех бывших в театре я боялся, — и этот судья я был сам... Еще раз повторяю: тоска, тоска! Не знаю сам, отчего одолевает меня тоска... Я устал и душою и телом»...

Шесть лет усиленных литературных занятий заметно отразились на самочувствии Гоголя, равно как и возмущение, вызванное «Ревизором» в кругах столичной бюрократии, мнением которой Гоголь дорожил. Многие не нравились Гоголю и в самой постановке. Однако он преувеличивал, когда говорил и писал, будто все против него. По свидетельству многих современников — Вяземского, Панаева и других — комедия при последующих представлениях имела огромный успех. Молодежь приветствовала ее с восторгом. Комедию играли через день. Сам Гоголь признавал, что действие комедии большое и шумное и билеты берут

нарасхват. И если он все же жаловался на тоску и на охлаждение к пьесе, то объяснения этому надо искать не только в отрицательном отношении к комедии «пожилых и почтенных чиновников», а и в том, что в ней содержалась истина, направленная против крепостной, николаевской России... Щепкину Гоголь писал:

«Малейший призрак истины — против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия. *Воображаю, что же было бы, если б я взял что-нибудь из петербургской жизни*, которая мне больше и лучше теперь знакома, нежели провинциальная». (1836 год, 29 апреля.)

Гоголь стремился обезвредить «истину», изображенную им в «Ревизоре»:

«Еду за границу, — писал он Погодину, — так размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники... Частное принимать за общее, случай за правило! Что сказано серно и живо, то уже кажется пасквилем. Выведи на сцену двух-трех плутов — тысяча честных сердится, говорит: «Мы не плуты»... Пора уже мне творить с большим размышлением». (1836 год, 10 мая.)

На редкость фальшивые слова... Гоголь не был политически и общественно-просвещенным человеком, он придерживался охранительных взглядов, искал ответы на мучительные вопросы не в будущем, а в прошлом; но в то же время не мог он искренно думать, что «истина», изображенная в «Ревизоре», обнаруживает частное, а не общее, двух-трех плутов, а не целую систему плутовства. Гоголь, гениальный мастер-художник, превосходно знал, что частное только тогда является предметом высокого искусства, когда в этом частном находит свое выражение *общее*, иначе оно не поднимается над уровнем самого плоского быта. Лучше других своих современников Гоголь знал тайну творческого искусства, для которого два-три плута важны только в том случае, если они *типичны*, то есть, если в них обобщены и индивидуализированы черты, свойственные сонму плутов.

«Ревизор» прежде всего — свистящий бич над крепостной Русью. Так именно и поняли комедию лучшая молодежь того времени, сторонники Белинского, а также и опытные царские бюрократы. Так же и утвердился «Ревизор» и в поколениях. Гоголь не мог этого не почувствовать, но он испугался революционного смысла своей комедии; и он начал стараться примирить непримиримое. Отсюда тоска. Любопытно, что с постановкой «Ревизора» в Гоголе усиливается религиозность. Он признавался Погодину:

«Грустно, когда видишь, в каком еще жалком состоянии находится у нас писатель. Все против него... «Он зажигатель! Он бунтовщик!..»

Прискорбна мне эта невежественная раздражительность, признак глубокого, упорного невежества, разлитого на наши классы. Столица щекотливо оскорбляется тем, что выведены нравы шести чиновников провинциальных; что же бы сказала столица, если бы выведены были хотя слегка ее собственные нравы: невежество всеобщее. Сказать о плуте, что он плут, считается у них подрывом государственной машины... Еду разгулять свою тоску, глубоко обдумать все свои обязанности авторские, свои будущие творения... Все оскорбления, все неприятности *посылались мне высоким провидением* на мое воспитание, и ныне я чувствую, что не земная воля направляет путь мой...» (1836 год, 15 мая.)

Гоголь совершенно прав, сетуя на жалкое состояние русского писателя и на всеобщее невежество, но здесь обращают на себя внимание также и ссылка на высокое провидение. Мистика Гоголя зависела от его раздвоенности. Гоголь — существователь-помещик ощущал свою творческую силу, как постороннюю, внешнюю. Эта сила иногда казалась ему ниспосланной богом, иногда — дьяволом. Подобные состояния часто переживаются людьми «двойной психологии» и «двойного бытия». Когда раздвоенность под влиянием каких-нибудь обстоятельств обострялась в Гоголе, как это, например, случилось при постановке «Ревизора», усиливались и религиозно-мистические настроения; вновь и вновь Гоголь пытался осмыслить и понять свое авторское призвание, причем художественные произведения, над которыми он недавно работал с огромным творческим напряжением, уже начинали казаться ему чужими.

Гоголь решил уехать за границу: надо было избавиться от мучительных противоречий, или, по крайней мере, ослабить их. Не давали также покоя свиные рыла всех рангов и степеней. Будучи на рубежом, Гоголь признавался Погодину:

«На Руси есть такая изрядная коллекция гадких рож, что невтерпез мне пришлось глядеть на них. Даже теперь плевать хочется, когда об них вспоминаю». (Женева, 22 сентября.)

Жуковскому он писал:

«Да хранит вас бог от почечуев и от встреч с теми физиономиями, на который нужно плевать». (1836 год, 12 ноября.)

«Изрядная коллекция гадких рож» мешала сосредоточиться над «Мертвыми душами», а помыслы Гоголя были отданы любимой поэме. Он был уверен, что издалека ему легче обозреть Россию и запечатлеть ее в своем произведении.

Накануне отъезда А. С. Пушкин просидел у Гоголя почти всю ночь, читая его сочинения и подавая советы.

Это было их последнее свидание.

Почему, однако, царская бюрократия разрешила «Ревизор» к постановке, несмотря на то, что в комедии всем доставалось? В этом нет ничего удивительного: Сквозник-Духановские своим плутовством и лихоимством наносили огромный вред не только трудовому населению, но и господствующему классу: их плутни порочили «первенствующее сословие». Надо было допустить в известных пределах «самокритику»; правда, эта «самокритика» была гораздо далее цели, но это тогда еще не было очевидно.

Из критических откликов отметим блестящую статью кн. П. Вяземского. Защищая Гоголя от упреков в неправдоподобности, Вяземский остроумно заметил:

«Он помнил, что у страха глаза велики».

Утверждали, будто комедия безнравственная. Вяземский писал: «Не должно забывать, что есть литература взрослых людей и литература малолетних. Конечно, между людьми взрослыми бывают и такие, которые любят до старости быть под указкою учителя; говорите им внятно: вот это делайте! а того не делайте, за это скажут вам: «пай, дитя», погладят по головке и дадут сахарцу! За другое: «фи, дитя», выдерут за ухо и поставят в угол. Но как же требовать, чтобы каждый художник посвятил себя на должность школьного учителя или дядьки? На что вам честные люди в комедии, если они не входили в план комического писателя? Живописец представил вам сцену разбойников; вам этого не довольно: но для нравственной симметрии вы требуете, чтобы на первом плане был изображен человек, который отдает полный кошелек свой нищему, иначе зрелище слишком прискорбно и тяжело действует на нервы ваши... Одним словом, «барыня требует весь туалет!» Да помилуйте! в жизни и в свете не два часа просидишь иногда без благородного, утешительного сочувствия. *Кто из зрителей «Ревизора» пожелал бы быть Хлестаковым, Земляникою, или даже невинными Петрами Ивановичами Добчинскими Бобчинским? Верно, никто!* Следовательно, в действии, произведенном комедиею, нет ничего безнравственного...» («Современник» 1836 год, т. II).

Белинский разобрал «Ревизора» значительно позже, в 1840 году, в статье, посвященной «Горю от ума».

«В основании «Ревизора», — очень верно утверждал Белинский, — лежит та же идея, что и в «Соре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем»; в том и в другом произведении поэт выразил идею отрицания жизни, *идею призрачности*». Излагая далее с критическими замечаниями содержание комедии и разбирая характеры действующих лиц,

Белинский утверждал:

«Многие почитают Хлестакова героем комедии, главным ее лицом. Это несправедливо. Хлестаков является в комедии не сам собою, а совершенно случайно, мимоходом, и притом не сам собою, а ревизором. Но кто его сделал ревизором? Страх городничего, следовательно, он — создание испуганного воображения городничего, призрак, тень его совести. Поэтому он является во втором действии и исчезает в четвертом, — и никому нет нужды знать, куда он поехал и что с ним стало: интерес зрителя сосредоточен на тех, страх которых сделал этот фантом, и комедия была бы не кончена, если бы окончилась четвертым актом. Герой комедии — городничий, как представитель этого мира призраков.

В «Ревизоре» нет сцен лучших, потому что нет худших, но все превосходны, как необходимые части, художественно образующие собой едино целое, округленное внутренним содержанием, а не внешней формой и потому представляющие собой особенный и замкнутый в самом себе мир».

6 июня 1836 года Гоголь выехал за границу, поручив Щепкину и Аксакову постановку «Ревизора» в Москве, где он прошел с превеликим успехом. Уезжая Гоголь не преминул дать матери хозяйственные советы: поговаривали о неурожайном годе; Гоголь предусмотрительно спрашивает: может быть лучше заняться не курением водки, а сбережением запасов....

## ЗА ГРАНИЦЕЙ

Гоголь не сразу поселился в Риме. Сначала он побывал в Гамбурге, в Ахене, во Франкфурте на Майне, в Женеве, в Лозанне, в Париже. В Риме Гоголь обосновался с марта 1837 года; отсюда на лето выезжал в Баден-Баден и посетил Испанию. Видел Гоголь немало, но впечатления его от Европы, за исключением Рима, тусклы. Так о Гамбурге он сообщил: продается много вещей, собранных со всей Европы, все дешево и прекрасно, вони на улицах меньше, чем в Петербурге. В Ахене лавок и магазинов «страшное множество». Женева в Швейцарии тоже не произвела на Гоголя большого впечатления; только Альпы поразили его, да старые готические церкви. Прокоповичу он жалуется:

«Мне кажется, здесь нет ничего такого, что бы удивило вас. Может быть, если бы это путешествие мое предпринял я годами шестью ранее, может быть, я бы тогда более нашел для меня нового. Мои чувства тогда были *живее* и мое описание, может быть, было бы тогда интереснее для вас. Но теперь только *ледяные* богатыри Альп да старые готические церкви меня поразили... Увы! Мы приближаемся к тем летам, когда наши мысли и чувства поворачивают к старому, к прежнему, а не к будущему...»

Гоголь почувствовал старость... в двадцать восемь лет!..

Он признавался:

«Изо всех воспоминаний моих остались только воспоминания о бесконечных обедах, которыми преследует меня обжорливая Европа...» (1836 год, 27 сентября.)

Умственная жизнь западной Европы тоже не привлекла его внимания. Вместо ознакомления с нею Гоголь принялся перечитывать Вальтер-Скотта. Тут была и умственная лень и неспособность приобщиться к общечеловеческой культуре.

И Париж не понравился Гоголю.

«Жизнь политическая, жизнь вовсе противоположная смиренной художественной, не может понравиться таким счастливым праздным, как мы с тобой. Здесь все политика, в каждом переулке и переулочке библиотека с журналами. О делах Испании больше всякий хлопочет, нежели о своих собственных. Только в одну жизнь театральную я иногда вступаю...»

Но и театральная жизнь далеко не всегда увлекала его.

«Балеты становятся с такою *роскошью*, как в сказках... Сколько

прежде французы глядели мало на дух века, столько теперь приглядываются *на мелочи*: само собою, что при этом ускользает много крупного...». (Прокоповичу, 1837 год, 25 января.)

Гоголь, как и многие его соотечественники, был мало восприимчив ко всему европейскому. Попрежнему оставался он погруженным в свой мир художника, в свои образы. Тщетно он старался иногда убежать от этого мира: он был прикован к нему железной цепью, он всюду его возил с собой. Но дело не в одном этом. Вчитываясь в зарубежную переписку Гоголя, приходишь к заключению, что отвращал его от Европы окрепнувший там капитализм, изобилие товаров и нищета духа. В письме к Одоевскому, написанном несколько позже, Гоголь восклицал:

«Все рынок да рынок, презренный холод торговли да ничтожество. Доселе все жила надежда, что снидет Иисус, гневный и неумолимый, и беспощадным бичом изгонит и очистит святой храм от торга и продажи». (Рим, 1838 года, 15 марта.)

Гоголь смотрел в прошлое. Там видел он степи, поросшие ковылем, Тараса, Остапа и Андрия, дикое, свирепое, но вольное и крепкое товарищество казаков, подвиги, славу, общее достояние. Здесь был «презренный холод торговли». Время чудес тоже миновало. Иисус не сходил с бичом. Правда, гневных людей готовых изгонять торгующих, уже и тогда было немало в Европе, но в них не было ничего похожего ни на Иисуса, ни на казацкое «лыцарство». Они ютились в подвалах, на окраинах. Они работали в грохоте и свисте машин. «В машине нет бога». Они росли безбожниками, по всему своему образу жизни являлись чужаками Гоголю.

Гоголь уважал бедность, но не бедность рабочих, не бедность производителей, он уважал бедность праздную, веселую, беспечную. От поместий крепостной усадьбы, от мансарды художника, привыкшего к покровительству сиятельных особ, дорога в кварталы синемлузников была длинна и трудна. И советников товарищей тоже не было. Поневоле приходилось искать утешения от свиных рыл среди *ледяных* богатырей Альп, старинных готических церквях и в развалинах вечного города. Дух Гоголя был тревожен и неуравновешен. Религиозно-мистические порывы не покидали писателя. В первом же письме к Жуковскому он писал:

«Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек. Львиную силу чувствую в душе своей и заметно слышу переход свой из детства, проведенного в школьных занятиях, в юношеский возраст... и нынешнее мое удаление из отечества, оно послано свыше, тем же великим провидением, ниспославшим все на воспитание мое. Это великий перелом,

великая эпоха моей жизни». (1836 год, 28/16 июля.)

При таких чувствах трудно было внимательно относиться к Западу. Ощущения лавиной силы связывались с замыслами «Мертвых душ» и с работой над поэмой. О них Гоголь сообщал:

«Я принялся за «Мертвых душ», которых было начал в Петербурге. Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись... Какой огромный, оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем. Это будет первая моя порядочная вещь, — вещь, которая вынесет мое имя... Священная дрожь пробирает меня заранее... Огромно, велико мое творение, и нескоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ; но что ж мне делать! Уже ли судьба моя враждовать с моими земляками. Терпение! Какой-то незримый пишет предо мною могущественным жезлом. Знаю, что мое имя после меня будет счастливее меня, и потомки тех же земляков моих, может быть, с глазами, влажными от слез, произнесут примирение моей тени...». (Жуковскому, 12/XI — 1836.)

Письмо, как и многое иное, написанное Гоголем, пророческое и относительно потомков и относительно имени. Но и в этом письме, проникнутом торжественным духом, даже экстазом, содержатся жалобы на ипохондрию и на «геммороиды», а частные передвижения с места на место похожи на бегство от тоски, скуки и болезней.

Гоголь стремится поселиться в Италии, но там холера, — приходится ожидать. На хандру он жалуется Прокоповичу и другим близким знакомым. Ему сообщают, что его «Ревизор» идет с большим успехом. Гоголь отвечает:

«Мне страшно вспомнить обо всех моих мараниях. *Они вроде грозных обвинителей являются глазам моим.* Забвения, долгого забвения просит душа. И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры «Ревизора», а с ними «Арабески», «Вечера» и всю прочую чепуху, и обо мне, в течение долгого времени, ни печатно, ни изустно не произносил никто ни слова — я бы благодарил судьбу. Одна только слава по смерти (для которой, увы! не сделал я до сих пор ничего/ знакома душе неподдельного поэта. А современная слава не стоит ни копейки. Но ты должен узнать ее. Ты должен начать с нее непременно, вкусить горькие и сладкие плоды, покамест безотчетные лирические чувства объедают душу, и не потребовал тебя на суд твой внутренний, грозный судья». (Прокоповичу, 1837 год, 25 января.)

Гоголь испытывает чувство вины, будто «Ревизором» и другими своими произведениями он совершил дурной, безнравственный проступок.



Он совершил его; против «значительных лиц», против миргородских Иван Ивановичей, Догочунов, против своего класса и против николаевских порядков. Его буквы наливались *красной*, мятежной кровью; ни молитвы, ни схимники не помогали...

Наконец, Гоголю удастся поселиться в Риме. Здесь его настигает известие об убийстве Пушкина. Смерть Пушкина произвела на Гоголя огромное впечатление.

Он писал Погодину:

«Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его перед собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое — вот что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу... Боже, нынешний труд мой («Мертвые души» — А. В.) внушенный им, его создание... я не в силах продолжать его... Невыразимая тоска... Я был очень болен, теперь начинаю немного оправляться». (1837 год, 16 марта.)

То же самое, приблизительно, повторяет Гоголь и в письме к Погодину:

«Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка его (?) не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим».

Гоголя возмущает «наше аристократство»:

«О, когда я вспоминаю наших судей, меценатов, ученых умников, благородное наше аристократство, сердце мое содрогается при одной мысли...». Он негодует на «безмозглый класс».

«Ни одной строки не мог я посвятить чужому. Непреодолимою цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я небесам лучшим, приветливее глядевшим на меня. И я ли после этого могу не любить своей отчизны? Но ехать, выносить надменную гордость безмозглого класса людей, которые будут передо мною дуться и даже мне пакостить, — нет, слуга покорный!» (1837 год, 30 марта.)

Отнюдь не смиренно-христианскими были общественные настроения Гоголя, вызванные смертью Пушкина. Гоголь понимал зловещее значение «нашего аристократства» в кончине поэта. Гневные слова, вырвавшиеся у него при получении мрачного известия, вновь и вновь подтверждают мысль, что Гоголь знал тогда цену николаевским порядкам и отнюдь не являлся прямодушным поборником «безмозглого класса».

Кончина Пушкина произвела на Гоголя удручающее впечатление;

вместе с тем литературной критикой верно отмечалось, что Гоголь, изображая отношения между собой и Пушкиным, допускал преувеличения. Несмотря на различие их художественного дара, а скорее именно благодаря этому различию, Гоголь необыкновенно высоко ценил Пушкина; больше, он любил и преклонялся пред ним. Пушкин со своей стороны относился к Гоголю дружественно, но едва ли они были так близки, как об этом можно заключить из гоголевских писем. Анненков в своих воспоминаниях заявил:

«Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль «Ревизора» и «Мертвых душ», но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое достояние. Однако же, в кругу своих домашних, Пушкин говорил, смеясь: «С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя». (Стр. 54, изд. «Академия».)

Кричать нельзя было, видимо, потому, что Гоголь «обирал» Пушкина в соответствии с направлением и с характером своего творчества. И «Ревизор» и «Мертвые души» по праву являлись чисто гоголевскими темами. Заимствование было внешнее и в этом «оправдание» Гоголя, если он нуждается в каком-нибудь оправдании. Все же Пушкин, помогая дружески Гоголю, очевидно, держался с ним несколько настороженно: может быть, он чувствовал практичность Гоголя, его умение извлекать для себя пользу из знакомств и связей.

Верно одно: с Пушкиным у Гоголя были связаны самые отрадные моменты. Недаром Гоголю принадлежат лучшие высказывания о Пушкине. Гоголь видел в Пушкине выражение русского национального гения, ценил в нем мудрую и глубокую простоту, всеобъемлемость и отзывчивость, его привлекал дар Пушкина преодолевать в искусстве внешние и внутренние свои противоречия. От Пушкина на Гоголя нисходило нечто светлое, успокоительное, укрепляющее, здоровое. Не менее, а возможно и более, чем Гоголь, Пушкин знал, что кругом дерзостные хари, бесы.

Но у Пушкина были свои Татьяны, была женская любовь, преклонение перед живой жизнью, перед человеческой личностью, перед Русью, сказкой, перед няней.

Он знал много страшных истин: о неизъяснимых наслаждениях, которые таят в себе гибель; знал и о том, что «всюду страсти роковые и от судеб защиты нет», но он также знал и цену вольности, был близок к декабристам, умел находить мудрое равновесие, был просвещеннейшим человеком своего века, хотя ему ни разу не удалось побывать за границей. Для Гоголя Пушкин был выходом, спасением. У него не было Татьяны, его одолевали «чудища», он не знал декабристов, в нем было много от захоластного «паныча», семинариста, уездного учителя, «окно в Европу»

для него было наглухо захлопнуто, несмотря на продолжительное там пребывание. И Гоголь всеми помыслами тянулся к Пушкину, искал его дружбы, поддержки, советов. И не обмолвкой являются слова Гоголя о Пушкине, что это «русский человек в его развитии, в каком он, может быть явится через двести лет». Пушкин олицетворял для Гоголя в себе гармонию. Смерть Пушкина была для него действительно очень тяжелой утратой. Он терял в нем гения равновесия, свой идеал человека в живом воплощении, чего ему так не доставало.

После смерти Пушкина «чудища» еще грознее и плотнее обступили Гоголя. Усиливаются жалобы его на болезни, тоску. Жизнь отравлена, все умерло на Руси. Россия — могила. Болезни. Денег нет. Надо дорожить каждой минутой, жить осталось недолго.

Благотворно действовал только один Рим. Рим напомнил старинные, родные усадьбы; дряхлые дома, позеленевшие от времени подсвечники, развалины, повитые плющом, картины гениальных мастеров, с морщинами старости, уводили от злой русской и европейской современности. «Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу и уж на всю жизнь... Никаких (безделок) и ничего того, что Париже вкус голодный изобретает для забав. В магазинах только Оссия и антики». (А. С. Данилевскому, 1837 год, апрель.)

Гоголь вспоминает замечание Вяземского: Рим похож на прекрасный роман, в котором повсюду встречаешь новые красоты. Рим — настоящая родина.

«Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департаменты, кафедра, театр, — все это мне снилось». (Жуковскому, 1837 год, апрель.)

Прельщало небо чистое, воздушно-серебряное, его атласное сверкание, солнечное тепло, когда всю зиму не приходилось топить в комнате; прельщали кипарисы, ночами черными, как уголь, верхушки куполовидных сосен, как бы плывущих в воздухе, арки Колизея, тишина соборов, переулков, площадей. Гоголь упивался воздухом.

«Часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше — ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного большущего носа, у которого бы ноздри в хорошие ведра...». (К М. П. Балабиной).

По особому прелестна весна в Риме. «В других местах весна действует на природу: вы видите, оживает трава, дерево, ручей. Здесь же она действует на все: оживает развалина, оживает плис на куртке бирбачена, оживает высеребренная солнцем стена простого дома, оживают лохмотья нищего». (К Жуковскому, 1839 год, февраля.)

Эти дива иногда, впрочем, портятся наездами русских. От них несет казармой: кажется только из осторожности Гоголь не прибавляет николаевской казармой.

Что сказать об итальянцах?

«Это первый народ в мире, который одарен до такой степени эстетическим чувством, невольным чувством понимать то, что понимается только пылкою природою, *на которую холодный, расчетливый, меркантильный европейский ум не набросил своей узды*». (Балабиной, 1838 год.)

Гоголь не забывает помянуть о лацарони, об этих беспечных и ленивых бедняках: целыми днями греются они на солнце и едят макароны, длины непомерной, их бедность весела и живописна.

Еще в Париже Гоголь знакомится с А. О. Смирновой-Россет, фрейлиной-красавицей, дружившей с Пушкиным и Жуковским. Жена богача-дипломата, А. О. Смирнова отличалась острым, пронизательным умом и художественным вкусом. Знакомство с ней Гоголя закрепилось позже в начале сороковых годов, когда Смирнова стала пожилой и сделалась религиозной. Бывал Гоголь также у княжны Репниной, у княгини Волконской, блиставшей одно время на петербургских балах и принявшей затем католичество. Гоголь искал высоких связей. Нетрудно догадаться, что влияли эти знакомства на него отрицательно. К следующему 1838 году относится и начало продолжительной его дружбы с художником-живописцем Ивановым. Подобно Гоголю Иванов был склонен к аскетизму и точно так же, как «Мертвые души» для Гоголя стали делом его жизни, так Иванов целиком отдался картине «Явление Христа народу».

Докучали денежные неурядицы. Уже в апреле 1837 года Гоголю пришлось обратиться к Жуковскому с просьбой замолвить за него слово перед Николаем:

«Думал, думал и ничего не мог придумать лучше, как прибегнуть к государю... Я написал письмо, которое прилагаю, если вы найдете его написанным, как следует, будьте моим представителем, вручайте! Если же оно написано не так, как следует, то он милостив, он извинит бедному своему подданному. Скажите, что я невежа, не знающий, как писать к его высокой особе... Если бы мне такой пансион, какой дается воспитанникам Академии художеств, живущим в Италии, или хоть такой, какой дается дьячкам, находящимся здесь при нашей церкви, то я бы протянулся, тем более, что в Италии жить дешевле. Найдите случай и средство указать как-нибудь государю на мои повести: «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба». Это те две счастливые повести, которые нравились совершенно

всем вкусам и всем различным темпераментам» (1837 год, 18/6 апреля.)

Просьба производит самое тягостное впечатление: гениальный писатель говорит о себе, как о невеже, унижается перед человеком, от которого в истории остался один лишь казарменный смрад.

Прокоповичу Гоголь поручает узнать у Плетнева, не получал ли он, «что следовало от государыни» за поднесение комедии. Николай раскошелся и «пожаловал» Гоголю пять тысяч рублей. Это давало возможность прожить года полтора. Нельзя сказать, чтобы царь «поощрял таланты». «Пожалование» было нищенское. Гоголь, однако, отписал Жуковскому про Николая, что он «Как некий бог сыплет полною рукою благодеяния».

«Благодеяния» не избавили писателя от мрачных состояний. Жалобы Гоголя на нездоровье не прекращаются. Правда, порою он чувствует себя сносно, но гораздо чаще его беспокоит болезнь желудка, печальные мысли. Прокоповичу он сообщает:

«...Я боюсь ипохондрии, которая гонится за мной по пятам. Смерть Пушкина, кажется, как будто отняла от всего, на что погляжу, половину того, что могло бы меня развлекать. Желудок мой гадок до невозможной степени и отказывается решительно варить, хотя я ем теперь очень умеренно. Гемморoidalные мои запоры по выезде из Рима (Гоголь выезжал в Женеву. — А. В.) начались опять и, поверишь ли, что если не схожу на двор, то в продолжении всего дня чувствую что *на мой мозг, как бы надвинулся какой-то колпак, который препятствует мне думать и туманит мысли*» (1837 год, 19 сентября.)

Иногда Гоголю приходят совсем странные мысли; он готов на чудачества:

«Хочу сбрить волосы, — пишет он Данилевскому, — на этот раз не для того, чтобы росли, но собственно для головы, не поможет ли это испарениям, а вместе с ним и вдохновению испаряться сильнее. Тупеет мое вдохновение: голова часто покрыта тяжелым облаком». (I том, 1838 год, 16 мая.)

Болезненное состояние как бы раздваивает мир:

«Жизнь моя была бы самая поэтическая в мире, если бы не вмешалась в нее горсть негодной прозы: эта проза — мое гадкое здоровье». (Прокоповичу, 1838 год, 15 апреля.)

Но дело, очевидно, не в одних физических недомоганиях. Серебряное небо Италии, живописные руины, солнечное тепло не могут все же заслонить российской действительности. Не забываются петербургские «свинки», огромные, жирные, чавкающие. Гоголь пишет, что при мысли о

Петербурге мороз проходит по коже и она проникается страшной сыростью. Как уничтожить раздвоенность?

«Трудно, трудно удержать середину, трудно изгнать воображение и любимую прекрасную мечту, когда они существуют в голове нашей, трудно вдруг и совершенно обратиться к настоящей прозе; но труднее всего согласить эти два разнородные предмета вместе — жить вдруг и в том и в другом мире». (Балабиной, 1838 год, 7 ноября.)

Смиренно, верноподданно и униженно благодарит Гоголь царя за «милости», которые тот «сыплет, как некий бог», но художник знает также и то, что этот бог «сыплет» милости и совсем другого рода порядка. По дружески он предупреждает Данилевского, проживающего тогда в Париже:

«Я слышал между прочим, что у вас в Париже завелись шпионы. Это, признаюсь, должно было ожидать, принявши в соображение это большое количество русских, влекущихся в Париж мимо запрещений... Будь осторожен! Я уверен, что имена почти всех русских вписаны в черной книге нашей тайной полиции... Я советую тебе перенести резиденцию из Мореля к другому ресторану...». (1839 год, 14 апреля.)

Говоря словами Гоголя, но только в ином смысле:

«Исполненный любви взор бодрствует надо мной».

Отнюдь не был простачком-патриотом Николай Васильевич!..

Болезненное и угнетенное состояние Гоголя отмечали и его знакомые, но они находили в нем также мнительность, преувеличения. Золотарев, живший с Гоголем в Риме почти в течение двух лет, сообщает: хотя Гоголь и был весел и разговорчив, но уже и тогда отличался крайней религиозностью, часто посещал церкви. Иногда на него нападал род столбняка, совершенно неожиданного. Являлась застенчивость. При незнакомых Гоголь умолкал, прятался в себя. Жалуясь на болезни, он отличался, однако, необыкновенным аппетитом.

«Бывало, зайдем мы в какую-нибудь трактирию пообедать, и Гоголь покушает плотно, обед уже кончен. Вдруг входит новый посетитель и заказывает себе кушанье. Аппетит Гоголя вновь разгорается, и он, несмотря на то, что только пообедал, заказывает себе или то же кушанье, или что-нибудь другое». (В. Вересаев, «Гоголь в жизни», 183 стр.)

Неумеренность в еде Гоголя отмечали и другие его знакомые. По рассказам Репниной, у него было большее пристрастие к десерту и к лакомства; она собственноручно готовила Николаю Васильевичу компот, который он называл «главнокомандующим всех компотов». Обед для Гоголя являлся священнодействием и, говоря о нем, он употреблял выражения: храм, жертвоприношение.

В Гоголе было нечто петуховское.

Неумеренность в пище, всем известная, не мешала жаловаться Гоголю на желудок; к нему нет решительно никакого аппетита, он вынужден соблюдать голодную диету. Погодин, приехавший в марте 1839 года в Рим, рассказывает: Гоголь обычно уверял его и Шевырева, будто он до шести часов вечера ничего не в состоянии есть. Общий знакомый их, Бруни, услышав об этом, расхохотался, заявив, что все это неправда: Гоголь ест за четверых и на него даже ходят смотреть с целью возбудить аппетит. Для подтверждения своих слов Бруни повел приятелей в ресторан, где обычно обедал Гоголь. Приятели заняли удобные для наблюдения места в отдельной комнате. Явившись к обеду, Гоголь заказывает макарон, сыру, масла, уксусу, горчицы.

«Гоголь с сияющим лицом... раскладывает пред собой все припаса, — груды перед ним возвышаются всякой зелени, куча склянок со светлыми жидкостями, все в цветах, лаврах и миртах. Вот приносятся макароны в чашке, открывается крышка, пар повалил оттуда клубом. Гоголь бросает масло... Когда ватага наблюдателей с шумом окружила Гоголя и стала над ним смеяться, Гоголь сначала сконфузился, а потом заявил, что это он делает, чтобы искусственно возбудить аппетит и в заключение он пригласил приятелей с ним пообедать»<sup>[24]</sup>.

Наряду со всем этим Гоголь продолжает заниматься семейными делами и хозяйством в Васильевке. Сестра Мария решила вновь выйти замуж; Гоголь спрашивает мать, велико ли состояние жениха, если оно с сестрино, то это «небольшая вещь». Сестре надо быть крайне осмотрительной: девушке восемнадцати лет извинительно предпочитать наружность, но вдове двадцати четырех лет этим ограничиться нельзя, ей приличествует «величайшее благоразумие».

Гоголь старается получить сведения о доходах украинских помещиков; беспокоится, как по выходе из института сестрам-пансионеркам, Анне и Елизавете, найти «хорошую партию»; по его мнению мать, Мария Ивановна, не права, полагая, что дочерям лучше всего жить в Васильевке: в Васильевке ничего путного для девиц на выданье не найдешь, выезжать же с ними в Полтаву, или в Миргород, толку мало, да и дорого. Сестер следует оставить в столице.

Гоголь не скупится на душеспасательные наставления: Анна и Елизавета должны непременно каждый день читать «Деяния апостолов» и припоминать прочитанное перед обедом, после обеда и когда захочется кому-нибудь перечитать.

Переписка Гоголя этих лет поражает частым употреблением грубых и

непечатных выражений Все это вполне в духе самого заурядного помещика-крепостника, или николаевского чиновника средней руки.

Иногда захолустный помещик, любитель поестъ причудливо сочетается с поэтом. Балабиной Гоголь пишет из Баден-Бадена:

«Если бы я видел долины Шамуни, Юнгфрау, я уверен, что мои впечатления были бы другие. Душа бы почувствовала сладкий трепет и священный ужас, глаза с наслаждением окунулись в страшно прекрасных пропастях... А пронос — в Турине, очень хорошие сухари к чаю». (1837 год, 16 июля.)

Николаевского «благоденствия» хватило не надолго и в августе 1838 года Гоголь просит у Погодина займы две тысячи рублей. Аксаков рассказывал в своих воспоминаниях, что по Москве распространился слух, будто Гоголь бедствует, очень болен и за долги посажен в тюрьму. Погодин, Павлов, Баратынский, Великопольский и он Аксаков, послали Гоголю две тысячи рублей, скрыв имена.

В декабре 1838 года в Рим приехал Жуковский, сопровождавший наследника (Александра II). Гоголь был чрезвычайно образован приездом поэта, показывал ему Рим; рисовал с ним виды. Жуковский уехал в начале следующего года, но прибыл Погодин с Шевыревым. На одиночество Гоголь жаловаться не мог, тем более, что друзья его держались с ним очень предупредительно.

В одном отношении Гоголь тоже был предупредителен к своим друзьям, родным и знакомым. Он не ленился на подробные к ним письма, входил в обиход их жизни, давал совета, беспокоился, если долго не получал известий. Правда, круг друзей Гоголя был узок, Гоголь с трудом расширял свои знакомства, и чаще всего в направлении знатных и влиятельных лиц, причем некоторые связи, очевидно, ставшие ему бесполезными, например, с историками, с Максимовичем, он прекращал без очевидных поводов, но в целом Николай Васильевич внимательно относился к переписке. Переписка позволяла ему жить жизнью родины, хотя и в отраженном виде# петербургские «свиньи» тоже тем сильнее побуждал искать содружества, чем неотвязнее преследовали его. Переписка отвлекала также и от тоски; недаром Гоголь советует писать сестрам ему, когда им делается грустно, или он рассердятся на кого-нибудь.

Может быть, Гоголь принадлежал к натурам, которые легче входят в общение с другими «из прекрасного далека».

Если подвести итог чрезвычайно сложным и остро противоречивым состояниям Гоголя, можно сказать: он переживал в этот период частые смены относительного здоровья и болезненных приступов; повышенная



впечатлительность и мнительность уступали место равнодушию, безжизненности, тупости, доходящим до столбняка. Болезненные приступы все учащались. Гоголь вел с ними упорную борьбу, продолжая напряженно работать над «Мертвыми душами».

Русская литературная действительность тоже, видимо, не радовала Гоголя. Он жаловался Погодину:

«Литературные разные пакости, и особенно теперь, когда нет тех, на коих почитает надежда, в состоянии навести большую грусть... Ничего не могу сказать тебе в утешение. Битву, как ты сам знаешь, нельзя вести тому, кто благородно вооружен одною только шпагой, защитницей чести, против тех, которые вооружены дубинами и дрекольем. Поле должно остаться в руках буйанов. Но мы можем, как первые христиане в катакомбах и затворах, совершить наши творения. Поверь, оне будут чище, прекрасней, выше». (1838 год, 1 декабря.)

Действительно, Пушкина замучили, убили, Лермонтова отправили в ссылку, Гоголь был вынужден бежать за границу, Белинского окружала черная свора царских приспешников, Булгариных и Грачей. Цензура и Третье Отделение держали искусство под арестом. «Народ безмолвствовал».

В 1839 году Гоголь пережил смерть близкого к нему юноши графа Вильегорского, сына богатого вельможи. Вильегорский умер в Риме двадцати трех лет на руках поэта. Отец его хлопотал перед царем о разрешении «Ревизора», а впоследствии и о разрешении «Мертвых душ».

Незадолго до смерти друга Гоголь писал Погодину:

«Иосиф, кажется, умирает решительно. Бедный, кроткий, благородный Иосиф!.. Не житье на Руси людям прекрасным; одни только свиньи там живучи!» (1839 год, 5 мая.)

И Балабиной:

«Клянусь, непостижимо странна судьба всего хорошего у нас в России! Едва только оно успеет показаться, — тотчас же смерть! Безжалостная, неумолимая смерть! Я ни во что теперь не велю, *и если встречаю, что прекрасное, то жмурю глаза и стараюсь не глядеть на него. От него мне несет запахом могилы*». (1839 год, 30 мая.)

Смерти Вильегорского посвящены «Ночи на вилле». В этих кратких отрывках много необычайного. «Они были сладки и томительны, эти бессонные ночи». Что же сладкого в том, чтобы видеть и переживать мучительную смерть дорого юноши?.. Обращаясь к неведомому другу, Гоголь взывает:

«Ты поймешь, как гадка вся груда сокровищ и почестей, эта звенящая

приманка деревянных кукол, названных людьми. О, как бы тогда весело, с какою б злостью растоптал и подавил все, что сыплется от могучего скипетра полночного царя, если б только знал, что за это куплю усмешку, знаменующее тихое облегчение на лице его».

Кажется, из всего написанного художником и дошедшего до нас это единственное и очень выразительное место, где Гоголь проговорился, как он действительно думал о «благоденствиях» «полночного царя», за которые он униженно благодарил в открытых заявлениях. «С какою б злостью растоптал и подавил все...». Много этой злости было у неудачного помещика, преподавателя, чиновника, у писателя, зажатого в цензурные тиски по адресу высоких и высочайших лиц, не исключая и «полночного царя».

Обращает в этих словах также внимание, что Гоголь даже у постели умирающего друга не забыл вспомнить о гадости сокровищ и почестей.

Он поясняет далее, почему ночи на вилле были сладки и томительны:

«Как странно-нова была тогда моя жизнь и как вместе с тем я читал в ней повторение чего-то отдаленного, когда-то давно бывшего!.. Ко мне возвратился летучий, свежий отрывок моего юношеского времени, когда молодая душа ищет дружбы и братства решительно юношеской... Я глядел на тебя, милый мой молодой цвет. Затем ли пахнуло на меня вдруг это свежее дуновение молодости, чтобы потом вдруг и разом я погрузился еще в большую мертвящую остылость чувств, чтобы я вдруг стал старше целым десятком, чтобы отчаяннее и безнадежнее я увидел исчезающую мою жизнь? Так угаснувший еще посылает на воздух последнее пламя, озарившее трепетно мрачные стены, чтобы потом скрыться навеки».

Тот же самый мотив повторяется в письмах к Данилевскому и Погодину: «Сладки и грустны мои минуты нынешние...» «Я недавно еще чувствовал... грусть живую, грусть прекрасных лет юношества». Незадолго перед этим Гоголь жаловался «на ослабевающие, древенеющие сны». Странные и темные признания! Вспоминать свою юношескую свежесть около хладеющего тела молодого друга! Или это по закону контраста? Странный тон, странная нежность!

когда Гоголь сообщил матери о смерти сына, Виельгорская накрыла лицо шалью, села на пол и неподвижно просидела двое суток...

Продолжая работать над «Мертвыми душами» Гоголь отвлекается и для других более мелких творческих занятий: делает наброски «Рима», обрабатывает и придает цензурный вид «лоскуткам» истребленной комедии «Владимир третьей степени». Позднее он упоминает о драме из украинской жизни «Выбритый ус».

К неоконченному отрывку «Рим» Гоголь неоднократно возвращался и, хотя он напечатан был только в 1842 году, на нем следует остановиться теперь же: в «Риме» подведены итоги заграничным впечатлениям и наблюдениям писателя в годы 1836-1839-й.

Молодой князь, главное действующее лицо, очерчен без обычной для Гоголя резкости и скульптурности. Внешне изображена и альбанка красавица Анунциата. Сила отрывка не в них, а в зарисовках парижской и римской жизни. Они даны глазами князя, но на них почил отпечаток самого Гоголя, что делается бесспорным, если сравнить отрывок с письмами художника.

Старый князь отправляет из Рима своего сына учиться в Париж. Молодой князь посещает великолепные кафе, рестораны, театры, знакомится с политической и общественной жизнью Парижа. Он вспоминает невинные политические известия и анекдоты в чахоточных итальянских журналах.

«Тут, напротив, везде было кипевшее перо. Вопросы на вопросы, возражения на возражения, казалось, всякий изо всех сил топорщился: тот грозил близкой переменой и предвещал разрушение государству. Всякое чуть заметное движение и действие камер (парламента — А. В.) и министерства разрасталось в движение огромного размаха между упорными партиями, и почти отчаянным криком слышалось в журналах. *Даже страх чувствовал итальянец, читая их и думая, что завтра же вспыхнет революция...*

В один миг он переселился весь на улицу и сделался, подобно всем зевакам, во всех отношениях»...

Сначала князя привлекало обилие вещей, книг, лавок, новостей, но потом он во всем этом разочаровался. «Он видел, как вся эта многосторонность и деятельность его жизни исчезли без выводов и *плодоносных душевных осадков*. В движении вечного его (Парижа — А. В.) кипения и деятельности виделась теперь ему странная недеятельность. Страшное царство слов вместо дел... Француз воспитывался этим странным вихрем книжной, типографски-движущейся политики... и слово политика опротивело, наконец, сильно иностранцу».

«В движении торговли, ума, везде во всем видел он только напряженное усилие и стремление к новости. Один силится перед другим, во что бы-то ни стало, взять верх хотя бы на одну минуту... *Везде блестящие эпизоды, и нет торжественного, величавого течения всего целого*. Везде усилия поднять доселе незамеченные факты и дать им огромное влияние, иногда *в ущерб гармонии целого...*»

«Дружба завязывалась быстро, но уже в один день француз показывал себя всего до последней черты...

И нашел он какую-то странную пустоту даже в сердцах тех, которым не мог отказать в уважении...

...Не почил на ней (на нации — А. В.) величественно-степенная идея. Везде намеки на мысль, и нет самых мыслей, везде полустрасти, и нет страстей, все не окончено, все наметано, набросано с быстрой руки».

Груды богатств, роскоши, вещей, не связанных друг с другом, с общей жизнью, стремление «к новости», то-есть, по-нашему конкуренцию, «эпизоды», то есть, обособленность людей, индивидуализм их и эгоизм — вот что в конце концов увидел молодой князь в Париже. Но ведь то же самое было и в Лондоне, и в Вене, и в Берлине, и даже отчасти на Невском проспекте. Сквозь парижскую оболочку просвечивают черты «мануфактурного века», меркантильности, общие разным народам и странам. И — чудное дело! уже перед нами мелькнул легкий образ Хлестакова; у него тоже намеки на мысль и нет мыслей, полустрасти и нет страстей, — тоже все не закончено, «ни то ни се», пустота; какая-то виньетка, а не человек, вертопрах, лишенный души, он тоже высказывает себя сразу, до последней черты. Вполне возможно, что Хлестаков бывал и в Париже и свой лоск, легкость он вывез отсюда. Припоминается и Павел Иванович Чичиков. Значит, хлестаковщина и чичиковщина — явления не только русские, они связаны со всем укладом, разменявшимся на «эпизоды», на «новости», на мишуру, на внешнее.

Князь почувствовал одиночество; всюду мерещился ему призрак пустоты и «как убитый» стоял он подолгу над Сенной.

Смерть отца возвращает его в Рим. Вечный город, Рим Тацита, Деллапорта, Буонаротти обвеял князя чистым и прекрасным дыханием.

«И пред этой величественной, прекрасной роскошью показалось ему теперь низкою роскошь 19 столетия, мелкая, ничтожная роскошь, годная только для украшения магазинов, выведшая на поле деятельности золотильщиков, мебельщиков, обойщиков, столяров и кучи мастеровых, и лишившая мир Рафаэлей, Тицианов, Микель-Анджелов, низведшая к ремеслу искусство»... «Как низки казались ему пред этой незыблемой плодотворной роскошью, окружавшею человека предметами *движущими и воспитывающими* душу, нынешние *мелочные* убранство, ломаемые и выбрасываемые ежегодно беспокойною модою, странным, непостижимым порождением 19 века, пред которым безмолвно преклонились мудрецы, губительницей и разрушительницей всего, что колоссально, величественно, свято. При таких рассуждениях невольно приходило ему на мысль: не

оттого ли сей равнодушный хлад, обнимающий нынешний век, торговый, низкий расчет, ранняя притупленность еще не успевших развиться и возникнуть чувств. Иконы вынесли из храма, и храм уже не храм: летучие мыши и злые духи обитают в нем...»

НЕ напоминают ли последние строки то место из «Вия», где говорится о чудовищах, осквернивших церковь и завладевших ею!

Вместо целого — части, эпизоды, вместо величия — мелочи, вместо общей жизни — раздробленность, конкуренция, «всякие страстишки», вместо души — очерствелость, живые трупы, вместо высокого своеобразного искусства — низкое, шаблонное ремесло.

В этих мыслях ключ к основным мотивам творчества Гоголя. Они подводят итог его прошлой литературной деятельности. Без них не все понятно и в «Мертвых душах». Гоголь осуждал «вещественность» не только дворянски-поместную? крепостную, но и капиталистическую. Его критика капитализма — односторонняя критика; Гоголь посмотрел на него под углом зрения патриархального прошлого; и однако, она остра и глубока, а по тому времени для украинского «паныча» и исключительна. Критика Гоголя касается не внешних сторон; он заглянул в *душу* буржуа, мещанина и нашел в них мертвеца.

Проглядел Гоголь на Западе новое, четвертое сословие. Он, искавший крепко спаянного товарищества, дружбы, подвигов, ненавидевший мелкую расчетливость, не заметил в своих странствиях людей, уже поднявшихся на борьбу с ростовщиками, с банкирами, с собственниками, с мертвыми душами. Он увидел в них ремесленников, лишивших мир Рафаэля; ему показалось: производя по готовому шаблону вещи, они сами сделались мелкими и ничтожными. Гоголь был несправедлив: производя всякий «дрягг», «столяры» и «кучи мастеровых» делали это не по своему почину, а по воле собственников средств производства; этих собственников «кучи мастеровых» ненавидели и против них восставали. Но подобно итальянцу-князю Гоголь чувствовал страх, что завтра же вспыхнет революция. Здесь в нем говорил помещик-крепостник, делец и практик. Уже в те годы Гоголь видел не только распад крепостной России, но и социальные потрясения, угрожавшие основам капиталистического Запада со стороны рабочих.

Гоголь любил и уважал нищету, но беззаботную, праздную, не трудовую. В «Риме» самой живописной фигурой является Пеппе, веселый забулдыга и проходимец, расторопный исполнитель любых поручений, непринужденный балагур, который попадался на улице то в круглой шляпе и широком сюртуке, то в таком костюме, что и разобрать трудно. Пеппе перепалили деньги, он проигрывал их с беспечностью обладателя

несметных сокровищ. Пеппе был по очаровательному вздорен. Однажды он поссорился с виноградарем, толстым Томачели. Томачели уже запустил руку за голенище, чтобы вытащить нож и крикнул «Погоди, ты, вот я тебя, телячья голова! Как вдруг Пеппе ударил себя рукою по лбу и убежал с места битвы. Он вспомнил, что на телячью голову он ни разу не взял билета: отыскал номер телячьей головы и побежал в лотерейную контору». Такими людьми Гоголь любовался, как художник.

Осуждая меркантильный век, Николай Васильевич не посмотрел на капитализм с точки зрения производственных процессов; он не заметил поэтому положительных, творческих сил его и не увидел, что «кипевшее перо» Парижа при всей торгашеской суеде все не неизмеримо жизненнее невинных анекдотов в чахоточных итальянских журналах, а тем более в русских.

...В июне 1839 года Гоголь из Рима через Геную, Мариенбад и Вену выехал в Россию: у сестер, Елизаветы и Анны, приходило к концу воспитание в Патриотическом институте и Гоголь был озабочен их дальнейшей судьбой. Нужно было также упорядочить литературные и денежные дела.

Свою поездку Гоголь обставил странной таинственностью. Уже находясь в Москве, он продолжал писать матери в течение месяца письма, помечая их Веной, Триестом и сообщает, что он только еще собирается в Россию, но никак не раньше ноября, да и то в том случае, если его не разорит поездка. К мистификациям самых близких людей Гоголь прибегал нередко. Может быть, помечая письма за границей он не желал, чтобы мать в это время выехала к нему на свидание: Мария Ивановна хотела взять дочерей в Васильевку, Гоголь в этом с ней не соглашался: он рассчитывал устроить сестер в столице и боялся помех со стороны матери.

Поездка была отчасти вызвана и потребностью побывать в дороге. Из Вены Гоголь писал Шевыреву:

«Странное дело, я не могу и не в состоянии работать, когда я предан уединению, когда не с кем поговорить, когда нет у меня между тем других занятий и когда я владею всем пространством времени, неразграниченным и неразумным. Меня всегда дивил Пушкин, которому для того, чтобы писать, нужно было забраться в деревню, одному, и запереться. Я, наоборот, в деревне никогда ничего не мог делать, и вообще я не могу ничего делать, где я один и где я чувствовал скуку. Все свои ныне печатные грехи я писал в Петербурге, и именно тогда, когда я был занят должностью, когда мне было некогда, среди этой живости и перемены занятий, и чем я веселее провел канун, тем вдохновенней возвращался домой, тем свежее у

меня было утро... Труд моя (драма «Выбритый ус» — А. В.) который начал, не идет; а чувствую, вещь может быть славная... Подожду, посмотри. Я надеюсь много на дорогу. Дорогой у меня обыкновенно развивается и приходит на ум содержание; все сюжеты почти я обдelyвал в дороге» (Вена, 1839 год, 10 августа.)

## СКИТАНИЯ, МЫТАРСТВА

В сентябре 1839 года Гоголь приехал в Москву. Приезд свой он упрасивал приятелей и знакомых держать в секрете. Скрывал он также и то, над чем он работал, отделяваясь от расспросов неопределенными ответами. По воспоминаниям С. Т. Аксакова Гоголь уже не походил на обстриженного франтика в модном фраке; белокурые волосы почти до плеч, эспаньолка, длинный сюртук, веселость придавали ему совсем иной вид. В конце октября вместе с Аксаковым и его дочерью он отправился в Петербург. Дорогой Гоголь всех смешил. У него был мешочек, с которым он не расставался; в нем хранились ножницы, щипчики, щеточки, книги, какое-то масло для волос. Кстати, от Чичикова шел тоже «ток сладкого дыхания». Отличаясь необыкновенной зябкостью, Гоголь старательно кутался. Обедом и завтракам уделял много внимания.

В Петербурге Гоголь вскоре переселился к Жуковскому в Зимний дворец. Столица встретила художника неприветливо.

«Во всем круге моих старых товарищей и друзей, — рассказывает С. Т. Аксаков, — во всем круге моих знакомых я не встретил ни одного человека, кому бы нравился Гоголь и ценил его вполне. Даже никого, кто бы всего его прочел». (История знакомства, стр. 373.)

Одолеваемый материальными неурядицами, Гоголь просит Жуковского похлопотать перед государыней; может быть, она «что-нибудь стряхнет от благодетельной руки своей» для сестер-пансионерок; слова и выражения настоящего приживальщика. Жуковский обещает содействие, но царица больна, ее не решаются беспокоить.

Сестер приходилось брать из института, содержать было не на что. Выручил Аксаков, ссудивший Гоголю две тысячи рублей: Аксаков получил их в свою очередь от капиталиста Бернадаки, который преклонялся пред талантом Гоголя.

Сестры, как и следовало ожидать, оказались Патриотическим институтом изуродованными, не знали жизни, всего пугались. Гоголь, сильно привязанный к ним, все это видел и страдал. Первоначально он предполагал устроить их у княгини Репниной, но княгиня в этом ему отказала.

Не радовали Гоголя и театральные дела: «Ревизора» актеры играли, шаржируя, ломаясь. Гоголь даже отказался посмотреть свою пьесу.

Жуковский, по словам Аксакова, не вполне ценил талант Гоголя. Вере



сказать, он ценил Гоголя как талант, но не как гения. Социальная направленность Гоголя вообще была чужда Жуковскому. Их сближала любовь к прошлому, к средневековью, романтизм, преклонение перед древними образцами искусства, перед «Одиссеей» и «Илиадой».

Между прочим, С. Т. Аксаков вспоминает такой случай: однажды, повидавшись и побеседовав с Жуковским, он спросил, не возвратился ли домой Гоголь. «Гоголь никуда не уходил», — сказал Жуковский. «Он дома и пишет. Но теперь пора уже ему гулять. Пойдемте». «И он провел меня через внутренние комнаты к кабинету Гоголя, тихо отпер и отворил дверь. Я едва не закричал от удивления. Передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме: вместо сапог длинные шерстяные русские чулки, выше колен; вместо сюртука, сверх фланелевого камзола, бархатный спенсер; шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордвовок. Гоголь писал и был углублен в свое дело и мы, очевидно, ему помешали. Он долго, не зря смотрел на нас, по выражению Жуковского, но костюмом своим нисколько не стеснялся». (383–384 стр.)

В середине декабря Гоголь с сестрами выехал в Москву тоже вместе с Аксаковым. Сестры доставили Николаю Васильевичу в дороге немало забот. Они кричали, плакали, капризничали, ссорились друг с другом.

«Все это приводило Гоголя в отчаяние и за настоящее и за будущее их положение... Жалко и смешно было смотреть на Гоголя; он ничего разумел в этом деле, и все его приемы и наставления были некстати, не у места, не во-время и совершенно бесполезны, и гениальный поэт был в этом случае нелепее всякого пошлого человека». (Стр. 387.)

Действительно, при всей своей практичности и дальновидности Гоголь отличался и беспомощностью. Ухаживать за избалованными сестрами-институтками ему было тяжело, но, как умел, он однако ухаживал.

В Москве Гоголя ожидали новые дела и хлопоты. Имение Васильевка оказалось настолько расстроенным, что можно было опасаться, не пойдет ли оно с молотка и не придется ли семье Гоголя остаться без пристанища.

Смирдин сделал предложение переиздать сочинения, но на условиях крайне невыгодных. От предложения Гоголь отказался и попросил Жуковского сложиться с другими близкими людьми и дать ему взаимобразно четыре тысячи рублей. Жуковский помог Гоголю.

Самочувствие у Гоголя часто бывало мрачное: угнетала николаевская, крепостная Россия.

«Какое странное мое существование в России!» — жаловался он Жуковскому. «Какой тяжелый сон! О, когда б скорее проснуться! Ничего,

ни люди, встреча, с которыми принесла бы радость, ничего не в состоянии возбудить меня. Несколько раз брался за перо писать к вам и как деревянный стоял перед столом; казалось, как будто застыли все нервы, находящиеся в соприкосновении с моим мозгом и голова моя окаменела». (1840 год, январь том II.)

«Мертвящий гнет лежит теперь на романах моих, — пишет он Погодину, — О, выгони меня, ради бога и всего святого, вон в Рим, да отдохнет душа моя! Скорее! Скорее! Я погибну». (1840 год, 25 января.)

В Москве появился архимандрит Макарий. Гоголь приглашает его давать уроки сестрам; сестры считали их скучными и утомительными, но Гоголь находил в них глубину и мудрость.

Он ближе сходится с семейством Аксаковых и кружком московских славянофилов, не теряя, однако же известной отчужденности от них. В одном из своих писем, написанном Аксакову уже из-за границы, Гоголь признавался:

«Да, чувство любви к России, слышу, во мне сильно. Много, что казалось мне прежде неприятно и невыносимо, теперь мне кажется опустившимся в свою ничтожность и незначительность, и я дивлюсь ровный и спокойный, как я мог их когда-либо принимать близко к сердцу». (Рим, 1840 год, 28 декабря.)

В свою очередь С. Т. Аксаков по этому поводу сообщает:

«В словах Гоголя, что он слышит в себе *сильное чувство к России*, заключается очевидное указание, подтверждаемое последующими словами, что этого чувства у него прежде не было или было слишком мало. Без сомнения, пребывание в Москве, в ее русской атмосфере, дружба с ними и особенно влияние Константина, который постоянно объяснял Гоголю, со всею пылкостью своих глубоких, святых убеждений, все значение, весь смысл русского народа, были единственные тому причины. Я сам замечал много раз, какое впечатление производил он на Гоголя, хотя последний старательно скрывал свое внутреннее движение». («История моего знакомства», стр. 403.)

В утверждениях Аксакова, особенно относительно влияния на Гоголя Константина, содержатся преувеличения; Гоголь был всегда себе на уме, видел и знал много такого, что Константину Аксакову и не грезилось. Как художнику у него Гоголю учиться было нечего, да и как гражданин Гоголь был содержательнее и глубже его. Надо также принять поправку на всегдашнее уменье Гоголя пользоваться друзьями для своих самых разнообразных житейских целях. Однако, славянофилы, на самом деле, ускорили духовный кризис Гоголя, хотя сознательно они едва ли к этому

стремились, как видно из их отношения к «переписке с друзьями».

Влияние славянофилов на Гоголя выразилось в том, что они укрепляли в нем «сильное чувство России»: России-де свыше начертаны особые, отличительные от Западной Европы пути, в национальном самосознании русского народа таится вполне самобытный дух и т. д. Обращение к прошлому, религиозность, которые и без того был в наличии у Гоголя, получали поддержку со стороны славянофилов, чрезвычайно ценивших талант Гоголя и старательно за ним ухаживавших.

Несмотря, однако, на эти ухаживания, на «сильное чувство России» Гоголь тяготился пребыванием в ней и спешил выбраться в Рим. Он делает попытки занять в Риме какую-нибудь правительственную должность, в частности имеет в виду устроиться при Кривцове, получившем там место директора русской Академии художеств. Николай Васильевич готов обойтись жалованием в тысячу рублей.хлопоты его, однако, ничего осязательного, пока не дали.

Неурядицы и заботы, хотя и мешали Гоголю работать над поэмой, но не прекращали его писательских занятий. Выступал Гоголь и с чтением «Мертвых душ». Еще в Петербурге на квартире у Прокоповича с большим успехом он прочитал первые четыре главы. 6 марта Гоголь читал в Москве у Аксакова четвертую главу и 17 апреля — шестую главу; выступал он также с чтением и у Киреевских. Поэма была принята восторженно, но явились также ей и непримиримые враги: Толстой-американец<sup>[25]</sup> твердил, что Гоголь — враг России, его надо заковать в кандалы, отправить в Сибирь: находили, что Гоголь клеветает на помещичье сословие и т. д.

9 мая в день своих именин Гоголь угощал приятелей и знакомых обедом в саду у Погодиных. Кроме обычных друзей на обеде присутствовали И. С. Тургенев, Вяземский, Лермонтов, Загоскин, Дмитриев. Лермонтов прекрасно прочитал наизусть Гоголю отрывки из «Мцыри», после чего именинник собственноручно варил жженку.

С особым рвением Гоголь готовил макароны:

«Стоя на ногах перед миской, — рассказывает Аксаков, — он засучил обшлага и с торопливостью, и в то же время с аккуратностью, положил сначала множество масла и двумя соусными ложками принялся мешать макароны, потом положил соли, перцу и, наконец, сыр, и продолжал долго мешать. Нельзя было без смеха и удивления смотреть на Гоголя». (Стр. 389.)

В подобном поведении Николая Васильевича на обедах и вечеринках чувствуется что-то уже от художника — разночинца.

На Пасху приезжала повидаться с сыном Мария Ивановна. Она

выглядела очень молодожавой. В. В. Вересаев в предисловии к своей книге о Гоголе называет Марию Ивановну наивной и глуповатой помещицей. Это несправедливо. Глуповатой мать Гоголя не была, а ее письма часто написаны превосходным русским языком.

Одну из сестер, Лизу, Гоголь устроил у Раевской, другую, Анну, Мария Ивановна, взяла в Васильевку. Удалось пристроить часть сочинений... Тем не менее Гоголь перед отъездом за границу упрашивает Жуковского «расположить» к нему наследника и написать Кривцову:

18 мая 1840 года с Пановым Гоголь вновь выехал из России. Первое время он чувствовал себя сносно. «Тяжесть, которая жала мое сердце во все пребывание в России, наконец, как будто свалилась, хотя не вся, но частичка», — пишет он матери из Вены. Он жалуется Аксакову только на «несносных русских». В Вене он занимается переработкой «Гараса Бульбы», отделяет «Шинель», «Отрывок», работает над трагедией «Выбритый ус». Удивительна эта способность Гоголя возвращаться к своим уже напечатанным вещам и снова их перерабатывать. Немногие писатели способны на это. В Вене с Гоголем случился сильный болезненный припадок. Из слов самого Гоголя трудно понять с точностью, чем именно заболел он. По его утверждениям он заболел опасной болезнью, от излечения которой отказались доктора и только «чудная воля бога» воскресила его. Другьям, в частности Погодину, уже из Рима он жаловался на «нервическое расстройство и раздражение» и неопишемую тоску, от которой не мог и двух минут остаться спокойным.

Плетневу сообщал:

«Гемморид мне бросился на грудь, и нервическое раздражение, которого я в жизнь никогда не знал произошло во мне такое, что я не мог ни лежать, ни сидеть, ни стоять. Уже медики было махнули рукой, но одно лекарство спасло меня неожиданно: я велел себя положить Ветурина в дорожную коляску, — дорога спасла меня». (1840 год, 30 октября.)

Панов, сопровождавший Гоголя, подтверждал, что Гоголь, действительно, был серьезно болен, но страдал также еще и от мнительности; по приезде же в Рим был занят только своим желудком, что не мешало ему иногда объедаться; никто не мог поестъ столько макарон, сколько съедал их он. С. Т. Аксаков слышал, будто Гоголю во время болезни были видения; о них он рассказывал врачу Боткину. Все эти сообщения довольно неясны, а ссылка на «геммориды, бросившиеся на грудь», звучит странно, если не смехотворно.

Однако, серьезное заболевание Гоголя в Вене не подлежит сомнениям. Около двух месяцев он продолжал болеть и в Риме. О болезненном

припадке, может быть, лучшее представление дает отрывок из письма Николая Васильевича к Балабиной, написанного позже в связи с цензурными неурядицами, сопровождавшими напечатание «Мертвых душ». Жалуясь на свое мрачное состояние в Москве, Гоголь писал ей:

«Но страшнее всего мне показалось то состояние, которое напоминало мне ужасную болезнь мою в Вене, особливо, когда я почувствовал то подступившее к сердцу волнение, которое всякий образ, пролетающий в мыслях, обращало в исполина, всякое незначительно приятное чувство превращало в такую страшную радость, какую не в силах вынести природа человека, и всякое сумрачное чувство претворяло в печаль, тяжкую мучительную печаль, и потом следовали обмороки, наконец, совершенно сомнамбулическое состояние» (1842 год, февраль.)

Это свое свойство Гоголь отметил позже и в другом месте:

«У меня все расстроено внутри. Я, например, увижу, что кто-нибудь споткнулся, тотчас же воображение мое за это ухватиться, начнет развивать и все в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают мне спать и совершенно истощают мои силы».

Болезненный припадок Гоголя сопровождался видениями исполинских призраков. Эти призраки развивались из образов, «пролетающих в мыслях». Такими образами были чаще всего «петербургские свинки, огромные, жирные, подлецы, департамент, Иваны Ивановичи и Иваны Никифоровичи». Они-то, превращаясь в исполинов, надо полагать, мучили Гоголя. Возможно, что один из таких ранних припадков, «страшных переворотов» иносказательно изображен был и в «Вии». Из сказанного следует, что *болезнь Гоголя определялась социально-бытовыми условиями тогдашней России.*

Исполинские призраки, переполняя Гоголя, приводили его в состояние, которое было трудно вынести. Это состояние впоследствии было изображено Достоевским (припадки князя Мышкина). Страшная радость сменялась не менее страшной печалью. И то и другое разрешалось мистическими «озарениями» и глубокими обмороками.

Сопоставляя припадок в Вене с дальнейшим поведением Гоголя, с его завещанием, можно уверенно сказать, что он осложнялся и сопровождался страхом смерти. Гоголь в Вене пережил нечто схожее с арзамасским ужасом Л. Н. Толстого.

На венском припадке приходится задержать внимание потому, что он как и «страшные перевороты» в 1833 году, имел огромное влияние на судьбу писателя. Заметно изменяется после него тон переписки. Гоголя уже не увлекает Рим. Ему хочется дороги, дороги, дороги. Он не может глядеть

на Колизей, на бессмертный купол собора святого Петра; его мысли с Россией. «Много чудного совершилось в моих мыслях и жизни», признается он Аксакову. Все чаще и чаще встречаются теперь в его письмах торжественные уверения, что работой его руководит бог, тяжкие испытания даются на пользу, слово его обладает неземной, чудесной силой.

«Создание чудное творится и совершается в душе моей, и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои. Здесь явно видна мне святая воля бога: подобное внушение не происходит от человека; никогда не выдумать ему такого сюжета». (С. Аксакову, 1840 год, 5 марта.) «О, верь словам моим! Властью высшего облечено отныне мое слово». (Данилевскому, 1841 год, 7 августа.)

«Я более, нежели здоров. Я слышу часто чудные минуты, чудной жизнью живу, внутренней, огромной, заключенной во мне самом, и никакого блага и здоровья не взял бы. Вся моя жизнь отныне — один благородный гимн». (Жуковскому.)

Эти признания перемежаются наставлениями религиозно-нравственного и житейского характера: надо сидеть у себя, заниматься хозяйством, следить за мужиками и приказчиками, покоряться божьей воле. Многие из этих наставлений пропадали даром и даже возмущали его друзей. Своему школьному товарищу, Данилевскому, Гоголь выговаривал за праздную жизнь, «протекавшую в пресмыканиях по великолепным парижским кафе», но в этих кафе Данилевский сживал ни с кем иным, как с Гоголем. Аксаков Николай Васильевич упрекал за сокрушение по умершем сыне: мы должны быть благодарны за то, что нам остается и т. д. и т. п.

Анненков, живший в то время бок-о-бок с Гоголем, писал, что он стоял тогда на рубеже нового направления. В нем преобладал еще прежний Гоголь, но уже доживал «сочтенные дни». Во имя нового направления приходилось смирять «милую чувственность», «похоть желудка»: они казались греховными. А «милая чувственность» еще часто давала о себе знать. По отзывам Анненкова Гоголь любил все естественное, самородное, что захватывало обилием жизни. «Уважение Гоголя к проблескам *цельной* и свежей природы не ограничивалось одними людскими характерами: он и создания искусства ценил тогда по признакам силы, *обнимающей сразу* предмет, и чем менее заметно было в произведении искания, пробования и щупанья, тем более оно ему нравилось»<sup>[26]</sup>.

Раздвоенный, разорванный внутри себя на части, Гоголь по закону контраста обращался ко всему, что носило на себе отпечаток естественной гармонии.

Отмечает опять Анненков также и необыкновенную практичность Гоголя, умение приноровиться, использовать для себя не только влиятельных лиц, но и окружающих его, хитрость его и дальновидность.

«Вообще при сердце, способном на глубокое сочувствие, Гоголь лишен был дара и умения прикасаться собственными руками к рукам ближнего... Он мог отдать страждущему свою мысль, свою молитву, пламенное желание своего сердца, но самого себя ни в коем случае не отдавал»<sup>[27]</sup>.

Гоголь поражал странностями. У него была страсть к рукоделию; с величайшей старательностью кроил он платки себе, поправлял жилеты. По ночам иногда почему-то спал, сидя на соломенном диванчике, явно избегая лечь на кровать; на утро, скрывая это от служанки, производил на постели нарочитый беспорядок.

Жизнь Гоголя, по утверждению Анненкова, вел целомудренную, близкую к суровости, допуская только «маленькие гастрономические прихоти».

Он занимал просторную и светлую комнату, но лишенную всяких украшений. В комнате стояли книжный шкаф, соломенный диван, кровать, по середине большой круглый стол, высокое письменное бюро: Гоголь писал всегда стоя. На стульях в полном беспорядке были раскиданы книги, белье.

Усиленно работая над «Мертвым душами». Аксакову он сообщал: «Я теперь приготавливаю к совершенной очистке первый том «Мертвых душ». Перепеняю, перечищаю, многое перерабатываю вовсе». (1840 год, 28 декабря.)

В каком направлении шла переработка догадаться нетрудно: дальше Гоголь пишет о сильном чувстве России, которое усилилось в нем за последний приезд в Москву. Очевидно, этим чувством он и старался смягчить тяжелое впечатление, какое должно было произвести сонмище рож и уродов в поэме. Аксаков верно замечает: многие места были вставлены в поэму поспешно и они не совсем соответствовали прежнему тексту.

Работа над «Мертвыми душами» благотельно отразилась на самочувствии Гоголя. Об этом свидетельствуют и письма и отзывы современников. Помыслы были сосредоточены на одном, все существо напряжено, даже на свои «геммороиды» и омертвелость Гоголь почти перестает жаловаться. Он чувствует прилив сил.

«Чудно милостив и велик бог: я здоров. Чувствую даже свежесть, занимаюсь переправками, выправками и даже продолжением «Мертвых душ». Вижу, что предмет становится глубже и глубже... Многое совершилось во мне в немногое время... О, ты должен знать, что тот, кто

создан сколько-нибудь творить в глубине души, жить и дышать своими творениями, тот должен быть странен во многом». (М. П. Погодину, 1840 год, 28 декабря, Рим.)

Он советует Аксакову:

«О, как есть много у нас того, что нужно глубоко оценить и на что взглянуть озаренными глазами... Нет нужды, что еще не вызрела, развилась и освежилась мысль; кладите ее смело на бумагу, подержите только в портфеле и не выдавайте до времени в свет. Ибо великое дело, если есть рукопись в портфеле». (1841 г.) («Литературные воспоминания», стр. 80–82.)

В работе помогал Анненков, которого Гоголь приспособил переписывать под диктовку поэму. Об этой совместной работе Анненков повествует:

...«Гоголь крепче притворял внутренние ставни окон от неотразимого южного солнца, я садился за круглый стол, а Николай Васильевич, разложив перед собою тетрадку на том же столе подальше, весь уходил в нее и начинал диктовать *мерно, торжественно*, с таким чувством и полнотой выражения, что главы первого тома «Мертвых душ» приобрели в моей памяти особенный колорит. Это было похоже на *спокойное, правильно разлитое вдохновение*, какое порождается обыкновенно глубоким созерцанием предмета. Николай Васильевич *ждал терпеливо* моего последнего слова и продолжал новый период тем же голосом, проникнутым сосредоточенным чувством и мыслию. Превосходный тон этой поэтической диктовки был так *истинен в самом себе*, что не мог быть ничем ослаблен или изменен.

Часто рев итальянского осла пронзительно раздавался в комнате, затем слышался удар палки по бокам его и сердитый вскрик женщины: *Ессо, landrone* (вот тебе, разбойник!). Гоголь останавливался, приговаривал, улыбаясь: «Как разнежился, негодяй!» — и снова начинал вторую половину фразы с тою же силой и крепостью, с какой вылилась у него первая половина». Вспоминая главу, где описывался сад Плюшкина, Анненков продолжает:

«Никогда еще пафос диктовки, помню, не достигал такой высоты в Гоголе, сохраняя всю художественническую *естественность*, как в этом месте. Гоголь даже встал с кресел и сопровождал диктовку *гордым, каким-то повелительным жестом*»

Наблюдения Анненкова подтверждают мнение о спасительном действии на Гоголя творческой работы: «Нервическое раздражение», «Хладность» уступали место спокойному, ровно разлитому вдохновению и



поэтической торжественности. Это было вдохновение, отличное и от житейской прозы и от восторга, о котором Пушкин писал: «Критик смешивает вдохновение с восторгом. Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображение понятий, следственно и объяснению оных. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии. Восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающего частями в отношении к целому. Восторг непродолжителен, непостоянен, следовательно, не в силах произвести истинное, великое совершенство. Гомер неизмеримо выше Пиндара».

Панов рассказывает, что приблизительно в это же время Гоголь читал ему отрывки из нового драматического произведения; видимо, речь идет о «Бритом усе». Действие происходит в Малороссии. Одно комическое лицо Панов назвал совершенством. Гоголь уничтожил эту свою вещь. Жуковский сообщил, что Николай Васильевич однажды заставил его выслушать трагедию. Жуковский заскучал и заснул. Когда Гоголь окончил чтение и спросил, что он думает о произведении, Жуковский ответил: «сильно спать захотелось». «А когда спать захотелось, то можно и сжечь ее», сказал Гоголь и бросил рукопись в камин. Жуковский заметил: «И хорошо брат, сделал». Совет был один из самых неудачных.

В те же дни художник Моллер писал с Гоголя известный впоследствии портрет. Показывая его Анненкову, Гоголь заметил: «писать с меня весьма трудно: у меня по дням бывают различные лица, да иногда и на одном дне несколько совершенно различных выражений». Действительно, дошедшие до нас портреты Гоголя очень разнятся друг от друга. Одинаковым остается лишь нос.

Все ближе сходится Гоголь с художником Ивановым. Их всегда видят вместе. Иванов благоговел перед Гоголем, видел в нем пророка, считал, что при высоком уме у него верный взгляд на искусство; к тому же он обладал добрым сердцем. Иванов во всем слушался друга и мистические настроения Николая Васильевича сильно на него влияли.

Не перестает Гоголь мечтать о дальней дороге. Дальней дороги, однако, пока не выходит, но в августе 1841 года Гоголь выезжает в Германию, а 18 октября появляется в Москве с готовым первым томом «Мертвых душ».

Начинаются цензурные мытарства. Гоголь прибегает к помощи Белинского. Отношения Гоголя к знаменитому разночинцу вообще являются образцом его практичности и умения приспособлять людей для своих целей. Гоголь, особенно на первых порах, не был понят даже

лучшими своими современниками. Даже Пушкин и Жуковский ценили в нем только талант, но не видели гения. Первым, кто указал на Гоголя, как на великого писателя с необыкновенным значением для русской литературы, был Белинский. Гоголь знал это.

Он познакомился с Белинским через Прокоповича еще в петербургский период своей жизни, но держался от критика в стороне. Многие боялись тогда открыто сближаться с «неистовым Виссарионом», предпочитая втайне питаться его замечательными статьями и обзорами. В числе таких благоразумных и осторожных людей находился и Гоголь. Он избегал говорить о нем: московские друзья славянофилы к Белинскому относились отрицательно и Гоголь это учитывал. Отдаляли Гоголя от Белинского и все более резко намечавшиеся различия в их общественных взглядах. Однако, в нужную минуту все это не помешало Гоголю обратиться к Белинскому за содействием. Скрывая от друзей, сторонкой Гоголь несколько раз видится с Белинским.

Поэму в Москве запрещает цензура. Гоголь в отчаянии. Он пишет Плетневу: «Удар для меня никак неожиданный: запрещают мою рукопись. Я отдаю сначала ее цензору Снегиреву... Снегирев через два дня объявляет мне торжественно, что рукопись он находит совершенно благонамеренной... Это самое он объявил и другим. Вдруг Снегирева сбил кто-то с толку, и я узнаю, что он представляет мою рукопись в комитет. Комитет принимает ее таким образом, как будто уже был приготовлен заранее и был настроен разыграть комедию: ибо обвинения, все без исключения, были комедия в высшей степени. Как только, занимавший место президента, Голохвастов услышал название «Мертвые души», — закричал голосом древнего римлянина: «Нет, этого я никогда не позволю: душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть; автор вооружается против бессмертия»... Как только взял он в толк и взяли в толк вместе с ним другие цензоры, что мертвые значит ревизские души, произошла еще большая кутерьма: — Нет! — закричал председатель и за ним половина цензоров: — этого и подавно нельзя позволить, хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: ревизская душа; уж этого нельзя позволить, это значит против крепостного права. — Наконец сам Снегирев увидел, что дело зашло уже очень далеко... Но ничего не помогло.

— Предприятие Чичикова, — стали кричать все, — есть уже уголовное преступление! — «Да, впрочем, и автор не оправдывает его», — заметил мой цензор. «Да, не оправдывает, а вот он выставляет его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мертвые души». — Вот какие толки! Это толки цензоров-азиатцев, то есть людей старых, выслужившихся и сидящих

дома. Теперь следуют толки цензоров — европейцев; возвратившихся из-за границы, людей молодых. «Что вы ни говорите, а цена, которую дает Чичиков (сказал один из таких цензоров, именно Крылов), цена два с полтиною, которою он дает за душу, возмущает душу. Человеческое чувство вопиет против этого; хотя, конечно, эта цена дается только за одно имя, написанное на бумаге, но все же это имя душа, душа человеческая; она жила, существовала. Этого ни во Франции, ни в Англии и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не приедет»...

«Я не рассказываю вам о других мелких замечаниях, так-то, в одном месте сказано, что один помещик разорился, убирая себе дом в Москве в модном вкусе... «Да, ведь и государь строит в Москве дворец!» — сказал цензор Каченовский...

Вот вам вся история. Она почти невероятна, а для меня вдобавку подозрительна. Подобной глупости нельзя предположить в человеке... У меня, вы сами знаете, все мои средства и все мое существование заключены в моей поэме. Дело клонится к тому, чтобы вырвать у меня последний кусок хлеба, выработанный семью годами самоотвержения, отчуждения от мира и всех его выгод». (К П. А. Плетневу, 1842 год, 7 января, Москва.)

Чувствуется прежний Гоголь с его злыми и колючими нападками на «Наше аристократство», на глупых цензоров, на петербургских свиней и шпионов, Гоголь, который в письме Погодину утверждал: «Чем знатнее, чем выше класс, тем он г. ее. А, доказательство — наше время». Нет ханжества, елейности, нудных и высокопарных поучений; заботы и «сильные чувства России» и проповеди об особом высоком, водительском ее назначении. Гоголь возвращен к действительности. Надо признать также: «их превосходительства», хлыщ, щелкоперы, маменькины и папенькины сынки, искатели смачных мест, ожиревшие и обрюзгшие владельцы поместий нашли самое уязвимое место, куда надо было поразить писателя: пусть не высмеивает «столпов» и хранителей устоев.

Началась борьба Гоголя с цензурой за кровное детище, за дело всей жизни. Самочувствие Гоголя резко ухудшается; он одеревенел, ошеломлен, он ждет не дождется весны, когда можно будет уехать опять в Рим и там помереть. Балабиной он пишет:

«Вы уже знаете, какую глупую роль играет моя странная фигура в нашем родном омуте, куда не знаю, за что попал. С того времени, как только ступила моя нога на родную землю, мне кажется, как будто я очутился на чужбине. Вижу знакомые родные лица, но они, мне кажется, не здесь родились, а где-то их в другом месте, кажется, видел; и много

глупостей, непонятных мне самому, чудится в моей ошеломленной голове. Но что ужасно — что в этой голове нет ни одной мысли, и если вам нужен теперь болван для того, чтобы надевать на него вашу шляпку, или чепчик, то я весь к вашим услугам». (1842 г.)

Николай Васильевич жалуется на припадки, напоминающие ему худшие времена. И все же он ведет себя необыкновенно искусно и практично. Рукопись он пересылает с Белинским в Петербург; Одоевского просит употребить все усилия, чтобы она попала в руки Николая I: он надеется на «монаршую милость». Мобилизует друзей, дает им советы, указания; Плетнева уговаривает направить рукопись для подписания Очкину, Прокоповичу поручает «наведываться»; добивается, чтобы попечитель московского учебного округа Строганов в Москве принимает его сторону. Министру просвещения С. С. Уварову и кн. Дондукову-Корсакову посылаются красноречивые прошения.

Превосходно зная чиновную бюрократию, Гоголь в своих письмах и ходатайствах ничего не говорит о своем мастерстве, о художественных достоинствах произведения: начальство этим не тронешь; он указывает, он обращает внимание на то, что у него отнимается последний кусок хлеба; без средств существования, больной иногда лежит по две, по три недели неподвижно в своей комнате, — так уверяет он сиятельных и превосходительных особ. «Я знаю, — пишет он Дондукову-Корсакову, — душа у вас благородная... дело мое право, и вы никогда не захотите обидеть человека, который в чистом порыве души сидел несколько лет за своим трудом, для него, пожертвовал всем, терпел и перенес много нужды и горя и который ни в коем случае не позволил бы себе написать ничего противного правительству, уже и так меня глубоко облагодетельствовавшему».

Иногда он пугает заматерелых бюрократов судов потомства, взывает к чувствам заступника и мецената, к великодушию русского вельможи: не стесняется пускать в ход самую грубую лесть, не скупится на самые жалостливые слова, унижается; но за всем этим нет-нет да блеснет презрение к спесивой знати, ненависть, сознание правоты гения, которому какую угодно ценой надо пробить дорогу самому дорогому своему детищу. Нельзя без чувства глубокого волнения читать переписку Гоголя тех дней, эти мольбы не томить его с ответами, что с рукописью, как подвигается дело, — уверения, будто он уже раздумал печатать поэму и вместо нее готов послать статью в семь листов, какой у него не было. Гоголю уже кажется, что о нем забыли, приятели о нем нисколько не заботятся; Белинский — неверный человек, остальные не лучше.

В Петербурге и в Москве бродят слухи, что Гоголь — при смерти. Строганов обращается с просьбой к шефу жандармов Бенкендорфу: «Гоголь, один из самых известных писателей, находится в очень тяжелом положении, умирает с голоду и впал в отчаяние в виду запрещения московской цензурой его поэмы «Мертвые души». Бенкендорф в свою очередь уведомляет Николая: Гоголь не имеет даже дневного пропитания, нельзя ли ему выдать пособие пятьсот рублей серебром; царь соглашается выдать пособие.

Январь и февраль проходят в хлопотах, в нетерпеливых ожиданиях, в сменах надежды и отчаянья. Наконец, 9 марта 1842 года цензор Никитенко разрешает печатать поэму. Но этим, однако, мытарства Гоголя не прекращаются: рукопись застревает где-то в недрах почтамта: не то ее читает любитель российской словесности вроде почтмейстера из «Ревизора», не то ее обнюхивают крысы в черных кабинетах Третьего отделения. Гоголь получает извещение, рукопись ему выслана, идут дни, недели, Гоголь не знает, что и подумать, мучается; рукописи все нет. Только пятого апреля, то есть почти через месяц после разрешения «Мертвые души» приходят в Москву.

Новые огорчения: целиком выброшена повесть о капитане Копейкине. В поэме — дыра, запрещена одна из самых лучших глав, имеющих определяющее значение для всего построения и содержания поэмы. Наспех Гоголь перерабатывает главу, удаляет «генералитет», делает капитана Копейкина самого ответственного за невзгоды, переносимые им; «генералитет» теперь обращается с ним с отменной предупредительностью, между тем, как раньше было «все наоборот». Изуродованная, исковерканная, с изрядной долей фальши повесть о Копейкине посылается обратно в цензуру. Гоголь торопится с напечатанием поэмы, вполне дальновидно полагая, что приближается лето, а с ним и литературное затишье. В типографии «Мертвые души» уже набираются, а разрешения на повесть все еще нету. Оно приходит, когда уже почти все набрано.

Настроение у Гоголя несколько улучшается, но как и после венского припадка он впадает в религиозно-нравоучительный и пророческий тон. Пусть приятели только вспоминают о нем: этого достаточно, чтобы от него отделилась в их душу возвышающая сила. Прокоповичу предрекается молодость, разумное мужество и мудрая старость.

Николай Васильевич собирается за границу. Плетневу еще в марте он признается:

«Уже в самой природе моей заключена способность только тогда

представлять себе живо мир, когда я удалился от него. Вот почему о России я могу писать только в Риме. Только там она предстает мне вся, во всей своей громаде. А здесь я погиб и смешался в ряду с другими. *Открытого горизонта нет предо мною*». (Москва, 1842 год, 17 марта.)

Он страдает также от холодов, но и от жары также страдает: ему надо ровное, естественное тепло.

21 мая 1942 года вышли первые экземпляры «Мертвых душ». Они были напечатаны в количестве 2500 экземпляров. По тогдашним временам этот тираж считался значительным. За время печатания с Гоголем случился глубокий обморок, он долго лежал без чувств и без всякой помощи. В это же время ему впервые приходит мысль совершить путешествие в Иерусалим для поклонения гробу Христа. Незадолго перед выходом поэмы просил Прокоповича обратиться к Белинскому, — и теперь он избегает писать сам ему, — чтобы тот «сказал что-нибудь» о выходящей книге в «немногих словах». После выхода Гоголь неожиданно для многих приятелей и знакомых объявил о своем намерении уехать обратно в Рим. С. Т. Аксаков повествует:

«Все расспросы об отъезде за границу были Гоголю неприятны. Один раз спросили его: — С каким намерением он приезжал в Россию: с тем ли, чтоб остаться в ней навсегда, или с тем, чтобы скоро уехать? — Гоголь с досадой ответил: — С тем, чтоб проститься».

В первых числах мая Гоголь виделся в Москве с матерью. 23 мая он выехал в Петербург.

5 июня 1942 год он выехал за границу в Гастейн.

«Мертвые души» брались в магазинах нарасхват.

## «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

Павел Иванович Чичиков одарен был многими качествами, но прежде всего избытком здоровья. «Кровь Чичикова играла сильно, и нужно было много разумной воли, чтоб набросить узду на все то, что хотело бы выпрыгнуть и погулять на свободе». Он был ни слишком толст, ни слишком тонок, а только в меру для его среднего возраста. Обладал розовыми щеками, круглым подбородком, недаром называл себя мордашкой и каплунчиком. Крепостью отличались и толстые его ляжки. Чрезвычайно громко высмаркивался, причем нос его звучал, как труба; видно легкие работали не хуже кузнечных мехов. И спал Павел Иванович всегда крепко, причем храпел «во всю носовую завертку».

Кровь требовала сильных движений: позабыв свою степенность и приличные средние лета, произвел по комнате два прыжка, пришлепнув себя весьма ловко пяткой ноги, причем вздрагивал комод и падала склянка с одеколоном. Избыток сил побуждал Павла Ивановича наигрывать какой-то марш, приставив кулак ко рту. Из брички выпрыгивал с легкостью резинового мяча, точно военный.

Любил тоже покушать и даже очень плотно, так, что живот делался тугим, как барабан, но это шло на здоровье. Часто не давала покоя молодая, свежая бабенка, белая с лица. Был до женщин охоч, терял даже выдержку. Когда однажды имущество Павла Ивановича перевалило за пятьсот тысяч, он с приятелем чиновником, с которым обделывал делишки, повздорил из-за бабенки, крепкой, точно ядреная репа и потерял имущество.

Павел Иванович — существователь. В этом — основное его свойство. Его мысль целиком подчинена его физическим потребностям. Паскаль утверждал: «Мысль, отличает существо человека, без нее нельзя его себе представить. Человек создан для мышления». Павел Иванович наглядно опровергает собою Паскаля. Он не создан для мышления, его надо представлять без мысли, он не знает самостоятельного наслаждения человеческим умом, не имеет ни умственных, ни вообще духовных потребностей. Павел Иванович возит с собой роман «Графиню Лаварьер», но даже и эту книгу не в силах он преодолеть.

Он озабочен продолжением потомства: ему мерещится детская, резвунчик-мальчишка и красавица дочка, даже два мальчугана, даже две-три девочки, но ему это нужно, «чтобы было всем известно, что он действительно, жил, и существовал, а не то, что прошел какой-нибудь

тенью или призраком на земле». Иные стремятся запечатлеть себя в памяти потомства общественными, политическими делами, научной работой, произведениями искусства, другим добром, нравственным поведением — для Павла Ивановича все это — тень и призраки; он ценит осязаемое, вещественное; память о себе он желает оставить существенную.

Когда генерал-губернатор подвергает его аресту за мошенничество, Павел Иванович, как собака, ползает у его ног; во фраке наваринского пламени с дымом, в бархатном жилете бьется он о губернаторский сапог раздушенной одеколоном головой и не выпускает этот сапог, хотя его бьют носком в нос, в губы, в округленный и чисто-на-чисто выбритый подбородок. Так любит он жизнь — существование.

Чтобы дать волю и простор себе, как существователю с сильно играющей кровью и в носом, звучащим трубой, Павлу Ивановичу пришлось многое претерпеть. С детства ему внушали истину, что товарищи выдадут, а копейка никогда не выдаст и уже тогда понятливый Павлуша увидел, что действительно, без копейки кровь только скиснет.

И Павлуша все сильнее и крепче стал ее зажимать в кулаках. Дорваться до нее было, однако, нелегко: на первых порах надо было обнаружить благонравие и готовность угождать начальству. Новое ломилось в двери.

Этим новым были: «копейка», промышленная Европа, сукна, мебель, безделушки, «тряпки», «галантерея какая-нибудь», белье голландское, «дилижанс эдакий», батистовые воротнички, словом «канальство». Старое же было: крепостные души, барщина, охранительные пошлины на заграничное «канальство», недостаток свободных рабочих рук, и в то же время нищета, аракчеевские порядки, расправы, взятки, чинодральство, попы, свечи. Новое не мирилось со старым. Но старое все еще господствовало в жизни, к нему надо было хотя бы по внешности приспособляться. Отсюда — ханжество, лицемерие, прислужничество, благонадежное поведение по наружности с внутренним стремлением к канальству.

Надо было подлизываться, прикидываться и надувать. Павел Иванович подлизывался, жил и надувал. Надувал воспитателя, ценившего только поведение, надувал на службе начальника, в котором не было ни доброго, ни злодейского, но было нечто, еще более страшное, полная безжизненность. И позже Павел Иванович умел всем угодить. «Губернатор о нем изъяснялся, что он благонамеренный человек; прокурор, что он — ученый человек; председатель палаты, что... почтенный человек...».

Творец Павла Ивановича тоже умел, когда нужно и где нужно, быть то



любезным, ученым, благонамеренным, дельным, то «преприятным» шутником, то мечтателем, то практиком. Лицемерие являлось одной из самых основных черт александровского и николаевского времени. Лицемерию и прислужничеству отдавали сплошь и рядом должную дань даже люди высокого уровня. Что же спрашивать со среднего человека, с Павла Ивановича.

Павлуша сделался приобретателем. Гоголь называет его также и хозяином, но хозяином Павел Иванович не был. Костанжогло, по его словам, веселила работа, не только деньги, прибыль, но и то, что он всему причина и творец. Павла Ивановича работа, творчество нисколько не радуют, хотя он терпелив и вынослив. «Копейка» нужна ему не ради ее самой, как Плюшкину, не для того, чтобы отсидеться в усадьбе, как Собакевичу, или чтобы превратить Россию в аграрно-промышленную страну, как Костанжогло, она нужна ему, чтобы дать волю сильно играющей крови. Павел Иванович превыше всего ценит удобства, довольства, благополучия. Есть рыцари наживы, мученики и страстотерпцы; сплошь и рядом они превращаются в орудие поместья, предприятия. Павел Иванович к ним не принадлежит, он не производитель, а *потребитель* и терпит он невзгоды и лишения только из-за своих вожделений потребителя.

Павел Иванович существователь-приобретатель — аферист, по нынешнему — рвач. Но он аферист не по призванию; наоборот, сам по себе он любит солидность, законность, порядочность, что не мешает ему быть порядочным подлецом.

Павел Иванович отнюдь не скряга. «В нем не было привязности собственно к деньгам для денег; им не владели скряжничество и скупость. Нет, не они двигали им, ему мерещилось впереди *жизнь во всех довольствиях*, со всякими достоинствами, экипажи, дом, отлично устроенный, вкусные обеды, вот что беспрерывно носилось в голове его...»

Он очень податлив на житейские «заманки», преимущественно на заманки «мануфактурного века». «Он завел довольно хорошего повара, тонкие голландские рубашки. Уже сукна он купил себе такого, какого не носила вся губерния. Не случайно его притягивала к себе таможня, куда он одно время и пристроился. Его захватывало здесь европейское «каналство». Он видел, какими щегольскими заграничными вещицами заводились таможенные чиновники, какие фарфоры и батисты пересылали кумушкам, тетушкам и сестрам... Он подумывал еще об особенном сорте французского мыла, сообщавшего необыкновенную белизну коже и свежесть щекам».

В таможенных делах Павел Иванович обнаружил удивительные способности: «не весил, не мерил, а по фактуре узнавал, сколько в какой штуке аршин сукна, или иной материи; взявши в руку сверток, он мог сказать вдруг, сколько в нем фунтов». Павел Иванович человек, весьма и весьма склонный к «вещественности», но он предпочитал другую вещественность нежели Коробочка со своей пенькой, нежели Собакевич с незамысловатыми, грубыми, но по своему добротными вещами «медвежьего свойства», нежели Ноздрев с его «мордашными вещами» и каурыми кобылами. Доморощенному, полунатуральному и натуральному добру Павел Иванович решительно предпочитает комфорт и продукты просвещенной Европы; производимые «кучами мастеровых».

Европейские и вообще мануфактурные «заманки» неотразимы, но в них нет ничего крупного, величавого, цельного. Все мелко, раздроблено, ничтожно. Подобные заманки воспитывают пошленькие страстишки, шаблонные вкусы, характеры ни то ни се; порождают и укрепляют жизнь, исключительно внешнюю, лишенную всякого духовного содержания, сильных и высоких чувств, самоотверженных порывов, жизнь богатую не событиями, а эпизодами, не связанными друг с другом.

Павел Иванович — сколок с этой жизни. В нем ничего значительного. Он целиком сам по себе, для себя, он — эгоист, срывает «цветы удовольствия», но он эгоист, отдавшийся внешним пустякам. Он склеен из кусочков, из полумыслей, из чувствований, из пошлых расчетов. В этом он сродни Хлестакову, но он «существеннее» его и плутоватее. Он — символ «мануфактурной собственности», ее «заманок», «канальства», он во власти комфорта капиталистического века. Если Павел Иванович символизирует собой «мануфактурное канальство», то его в свою очередь превосходно воплощает шкатулка, с которой он путешествует.

«В самое середине мыльница, за мыльницей шесть — семь узеньких перегородок для бритв; потом квадратные закоулки для песочницы и чернильницы с выдолбленною между ними лодочкою для перьев, сургучей и всего, что подлиннее; потом всякие перегородки с крышечками и без крышечек, для того, что покороче, наполненные билетами визитными, похоронными, театральными и другими, которые складывались на память. Весь верхний ящик со всеми перегородками вынимался и под ним находилось пространство, занятое кипами бумаг в лист, потом следовал маленький потайной ящик для денег, выдвигающийся незаметно сбоку».

У Павла Ивановича тоже в середине вместо сердца — мыльница, он весь из перегородочек и закоулков, а в потаенном и сокровенном месте у него — плутовство и деньги. Он весь сборный, склеенный, составленный.

Он вмещает в себя и Ноздрева, и Хлестакова, и Коробочку, и Манилова, и Петуха, и Собакевича и даже Плюшкина (собирает в шкатулку афиши, объявления). Даже Селифан и Петрушка сидят в нем наряду «с господами». Бричка Павла Ивановича тоже показательна для него; она, как шкатулка, вмещает в себя всякий дрязг, все, что потребуется в дороге. Она подвижна, как подвижен и Павел Иванович, она среднего достоинства, ничем не выделяется особенным, как и ее обладатель.

Павел Иванович галантереен, как галантерейны вещи, которые он любит. При своей положительности и солидности он ловко при случае шаркает ножкой, подскакивает, точно резиновый мяч; на глазах читателя дробится, рассыпается в мелких жестах, дрыгает ляшкой, махает ручкой, исходит в приятнейших словах, тает, расплывается.

Андрей Белый в своей книге «Мастерство Гоголя» убедительно, даже блестяще, показал, что Чичиков изображен путем проведения фигуры фикции, то-есть путем «неопределенного ограничения двух категорий»: «все» и «ничто»: «не больше единицы, не меньше нуля». Получается: «нечто», «до некоторой степени», господин «средней руки»; не характеристика, а пародия на нее, достигающая, однако, поразительных художественных результатов. Если колдун в «Страшной мести», обрисованный при помощи «не» и «ни», противопоставляется родовому быту, то Чичиков фигурой фикции «сливается с окружающей жизнью до сходства с губернатором, который был представлен к звезде, но, впрочем, вышивал по тюлю».

Прекрасно показаны Белым и неясности личности Чичикова, его «боковые действия» и что все у него «вбок».

Однако, откуда эти действия «вбок» и почему потребовалась для характеристики Чичикова фигура фикции, Белый не вскрывает; а все дело в том, что Павел Иванович весь составной, из мелких кусочков из ничтожных поступков, слов и жестов; он лишен чего-либо органического, он механичен, галантереен; это же в свою очередь оттого, что он продукт мануфактурного века, с его бездушной расчетливостью, вульгарным эгоизмом, рыночностью, *с отрывом вещей и продуктов от непосредственных производственных процессов.*

До необычайности много писалось, что Чичиков пошловат и подловат; при этом предпочитали рассуждать о пошлости и подлости человека вообще, о духовном мещанстве, заложенном в существе человеческой природы. Но пошловатость и подловатость Чичикова связаны с определенным хозяйственным укладом и видом собственности, именно с той, которая производится *легкой* капиталистической промышленностью.

Павел Иванович пошел, как пошло «шикарное» французское мыло с «заманкой» — этикеткой, и дешевыми духами, как пошлы безделушки, стандартные вещи и вещицы, лишенные истинного вкуса, «Фигура фикции» и Чичиков связаны именно с этой капиталистической действительностью. У Павла Ивановича все оценено, все взвешено, переведено на копейку. Во всем расчет, выгода. Даже «Мертвые души» сумел он сделать предметом купли-продажи.

Мережковский утверждал, будто Чичиков позитивист и чуть ли даже не социалист. Павел Иванович, действительно «позитивист» и материалист в том, смысле, в каком является позитивистская старуха у Глеба Ивановича Успенского, шамкавшая на смертном одре сыну: «в карман то норови, в карман то норови почаще»; но Мережковский напрасно старается поставить этого «позитивиста» в ряды социалистов и материалистов. Поистине Чичиков в кровном родстве с Мережковским. Павел Иванович, — человек верующий, православный. Завиральным идеям он чужд. Он верует и в бога и в загробную жизнь, считает человеческую душу бессмертной. Тем поразительнее, что несколько не постеснялся торговать мертвыми душами. Убеждая Коробочку, он с досадой говорит:

«Ведь это прах. Понимаете ли? Это просто прах. Вы возьмите всякую негодную последнюю вещь, например, даже простую тряпку, и тряпке есть цена».

По понятиям того же благонаправного Павла Ивановича это — кощунство и все операции его с мертвыми душами тоже кощунство. Недаром Коробочка в ужасе крестится, и не так уж глупы николаевские цензоры, возмущившиеся сюжетом Гоголевской поэмы: в ней есть кощунство.

Православного христианина Павла Ивановича несколько не смущают жульнические операции «с мертвыми душами»: он «позитивист», он все расценил на копейку, не только осязаемое, но и духовное, но и загробное, совсем не существенное. Гениален этот замысел торговли несуществующим: внутренняя динамика капитализма ведет именно к таким фикциям. И может быть, в эту фикцию в конце концов и упирается «фигура фикций», с помощью которой подан нам Чичиков. Откупщик Муразов говорит Чичикову, что его назначение быть великим человеком. По своему Павел Иванович уже велик и в настоящем: он предвосхитил странные и чудесные свойства копейки орудовать с помощью фикции и в этом он куда выше окружающих его старозаветных, захолустных помещиков.

Беда Павла Ивановича в том, что в шкатулке у него не бог весть что, не

размахнешься на десяток тысконок ассигнациями; а еще большая беда, что время для торговли несуществующим еще не пришло; были только слабые зачатки этой торговли и Павлу Ивановичу приходилось иметь дело с Плюшкиными, Ноздревыми, Коробочками. Правда, нетрудным делом представлялось иногда обмануть Коробочку и нередко старосветские помещики поддавались на удочки «приятнейших» Павлов Ивановичей, но с другой стороны, какой же этим приобретателям был дан ход в захолустье: тут все на ладони.

По своему Павел Иванович рассудителен и умен: он очень понравился этими качествами Костанжогло. Но его ум, как и все в нем, тоже мелкотравчатый, внешнерасчетливый, холодный, будничней, серый. Что истинно и что ложно, проверяется практикой, но практика бывает различная: практика Павла Ивановича практика потребителя-рвача. Его ум ничто не воодушевляет кроме страстишки к стяжательству.

...Есть, однако, в Павле Ивановиче, по крайней мере, по замыслам автора, нечто, не схожее ни с плутовством, ни со стяжательством. Это другое обнаруживается чрезвычайно редко. На губернском балу Павел Иванович увидел блондинку. Вежливый и тонкий в галантерейном обращении, он вдруг позабылся на миг, бросился в толпу, толкнул откупщика, сшиб с ног других гостей и уже не семеня бойко и франтовски ногами: в движениях его появилась неловкость. «Ему показалось, что весь бал со всем своим говором и шумом, стал на несколько минут как будто где-то вдали; скрипка и трубы нарезывали где-то за горами, и все подернулось туманом, похожим на небрежно замалеванное поле на картине. И из этого мглистого, кое-как набросанного поля выходили ясно и оконченно только одни тонкие черты увлекательной блондинки... Казалось, она вся походила на какую-то игрушку, отчетливо выточенную из слоновой кости».

Видно, и Чичиковы на несколько минут в жизни обращаются в поэтов. Флобер в «Мадам Бовари» говорит о мелких развратниках, мечтающих о султаншах.

Да, это очень удивительно: Чичиков — мечтатель.

Странны также размышления Павла Ивановича и по поводу его встречи с помянутой блондинкой в дороге. Мысли о бабушке, о двухсот тысячах неожиданно принимают совсем иное направление: она теперь дитя, пока в ней нет ничего бабьего, пошлого, но все это скоро из нее выветрится и т. д.

После поучений Муразова Павел Иванович тоже чувствует нечто необычное: в нем пробудилось что-то далекое, *подавленное с детства*

мертвым поучением, одиночеством, нищетой. Считали и считают, будто Гоголь погрешил здесь против психологической правды. Однако, по его убеждениям существо человеческой природы и заключается в этом противоестественном, нелепом соединении самых низменных, даже подлых приобретательских привычек, с высокими, пусть смутными, краткими и редкими, но настоящими духовными озарениями. Ведь и по внешнему изображению Павел Иванович именно таков: он солиден, положителен, у него живот бывает тугим, как барабан, и в то же время он подвижен, легок, он в дороге, в полете.

Бывает ли так в жизни? Бывает, если согласиться с художником, что незадачливый любитель поесть и поспать Хома Брут испытал сладкотомительные и болезненно-поэтические обольщения, — если плут-городничий на миг поднимается до настоящего трагического пафоса, если почти все герои Гоголя несут в себе элементы этой двойственности; бывает, если в самом творце этих фигур усматривается и существователь и гениальный поэт с горными полетами духа. Кстати: на губернском балу при виде блондинки Чичиков испытывает схожее с тем, что пережил киевский бурсак, когда несся он по полям и долинам с ведьмой-панночкой на плечах. И там и здесь обстановка ушла куда-то в сказочную, в чудную даль.

Да, все это бывает с человеком. «Все может быть, все может статься с человеком». Другой вопрос: могут ли послужить далекие и туманные очарования исходным началом для духовного перерождения Павла Ивановича в более высокую человеческую личность, да еще при господстве «меркантильности». Гоголь старался уверить и себя и Россию, что подобные перерождения возможны, обязательны. Обязательным оказалось одно: Павлы Ивановичи уморили гениального художника, а сами даже не чихнули. Мертвые души победили живую душу.

Чичиков в плену у вещей, у европейского, галантерейного «канальства». В плену у вещей и другие герои поэмы: Манилов, Собакевич, Ноздрев, Коробочка, Плюшкин, Петух, Тентетников, но эти последние связаны с вещами, преимущественно мелко-и среднепоместного крепостного хозяйства.

Галантерейная вещь тонкая и политичная; в ней не только нечто обманно-легкое и хлестаковское, но и плутовское, чичиковское. Вещь натурально-поместная выглядит байбаком, в ней что-то медвежье, скопидомское. Таковы же ее и обладатели. В сущности они не приобретатели, а хранители, собиратели, которые у Гоголя преобладают. Куда им до легкости Ивана Александровича и до плутовства Павла Ивановича с его вкрадчивыми манерами и любезнейшим обращением: не

зря у него мыло вместо сердца.

На галантерейной вещи отпечаток шаблонного, машинного производства; она «как все», «всем известна», «приличных средних лет» и среднего достоинства. Поместно-натуральная вещь носит на себе следы человеческих рук, она более своеобразна. У Гоголя каждая усадьба и вещи выглядят по своему. У Манилова в вещах всегда чего-нибудь недостает, и в то же время у него — сюрпризы: бисерный чехольчик на зубочистку и т. д. — нечто лишнее; у Собакевича вещи поражают своей неказистой прочностью; у Коробочки — обилие мешочков, моточков, кофточек, распоротых салопов, видна мелкая бережливость; у Плюшкина — никому не нужный хлам; у Ноздрева — вздор, случайное; у Петуха — съедобное. Обладатели как вещи; вещи, как обладатели.

Типические черты Гоголевских персонажей связаны с особенностями усадьбы; вещей, всего уклада: грубость и медвежесть Собакевича, сахарная мечтательность Манилова, «историчность» Ноздрева, скопидомство Коробочки, скряжничество Плюшкина, обжорливость Петуха, самодурство Кошкарева, бездельничество Тентетникова, мотовство Холобуева — родились и развились благодаря поместной, крепостной собственности и быту, на ее почве возникшему. Одним некуда девать добра и времени, они превратились в обжор, в бездельников, другим негде применять добросердечия, мечтательности, они стали Маниловыми; третьим надо дубьем, бережливостью сколачивать имущество, иначе их разорит новый век, они сделали Собакевичами, Коробочками; четвертых быт превратил в выживших из ума скряг. И предметы и их владельцы выглядят тут своеобразнее галантерейных вещей и Павлов Ивановичей, но это несколько не означает, что они более полезны, нужны, более соответствуют назначению. Их своеобразие в топорности, во вздорности.

Переверзев правильно отметил бестолковщину и ненужное скопление вещей в мелко-поместном хозяйстве. Продукты натурального хозяйства, не имея емкого рынка, залеживались, гнили, покрывались плесенью; но отчасти бестолковщина и ненужное скопление вещей происходили и от того, что поместное хозяйство втягивалось в товарооборот.

«Перед лицом растущего денежного хозяйства, — пишет Переверзев, — натурально-поместная среда стояла в положении дикаря, столкнувшегося в неведомой культуре; их манил и прельщал новый вид потребностей и наслаждений, они брали все побрякушки новой культуры, не понимая серьезной стороны ее, не подозревая, что побрякушки без усвоения новых приемов хозяйствования, без решительной социальной и технической революции, приведут их к разорению. Помещик пользовался

деньгами и обманом, не предполагая даже, что пользование ими требует тонкого расчета, серьезного знания и активности... На почве сумбурного хозяйничанья естественно должен был получиться сумбур вещей, бестолковщина, и разорение»... [28]

И подобно своим вещам Маниловы, Ноздревы, Петухи, Коробочки, Плюшкины тоже представляют собой бестолковое скопление, они — существователи без смысла и цели, небокоптители.

Возвращаясь к вопросу о своеобразии вещей и их обладателей-помещиков, надо сказать: их своеобразие отрицательное, а не положительное, со знаком минус, а не со знаком плюс; у одного все медвежье, у другого затхлое, у третьего вздорное и т. д. Это своеобразие упадка, разрушения. Если Павел Иванович со своими галантерейными вещами растворяется в общем, в шаблонном и нивелированном, в мелком и пошлом, то своеобразие Ноздревых, и Маниловых есть своеобразие уродства: уроды всегда очень своеобразны. И тут и там даже и не пахнет настоящей, резко и глубоко очерченной индивидуальностью. В одном случае — образины, в другом — нечто, в некотором роде, среднее, ни то ни се. «Оба хуже».

Ни у кого в мировой литературе, нигде, в том числе и у Гоголя нет такого обилия вещей и такой зависимости от них людей, как в «Мертвых душах». Вещь живет, действует, приобретает человеческий облик, жесты, между тем как человек безжизненен. Человек снижен до растительного существования. Мертвые души. «Собакевич слушал все по-прежнему нагнувши голову, и хоть бы что-нибудь похожее на выражение показалось на его лице. *Казалось, в этом теле совсем не было души*». У Плюшкина лицо совершенно деревянное, бесчувственное. У Манилова на лице «передано сахару». Ноздрев отличается необычайной растительностью. Про бедного прокурора только тогда узнали, что у него есть душа, когда он помер. Люди насквозь «вещественны». Уж не являются ли они простыми символами вещей!

Поместный уклад разрушается. Все косится, падает, валится. На всем печать тлена и гнили. И владельцы уже обреченные, живые мертвецы, уже выходцы «с того света»; поднимаются из могил, пугают живых людей, детей, женщин, даже ходят среди них, даже занимают места, хозяйничают, служат в учреждениях.

Какая жуткая жизнь, как «тихо с человеком!» «Собираются люди на бал». В те времена — бал — общественное собрание, место отдыха, веселия, бесед. У Гоголя людей не видно, повсюду муслины, атласы, кисеи, головные уборы, фракы, мундиры, плечи, шеи, ленты.



«...Какой-нибудь легонький галстучек из ленты, легче пирожного, известного под именем поцелуя, эфирно обнимал шею, или выпущены были из-за плеча, из-под платья, маленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, известные под именем скромности. Эти скромности скрывали наперед и сзади то, что уже не могла нанести гибели человеку, а между тем заставляли подозревать, что так-то именно и была погибель...»

«...Иная наvertsела на себя тысячу рублей! А ведь на счет же крестьянских оброков, или что еще хуже, на счет совести нашего брата».

«Взрослый, совершеннолетний вдруг выскочит весь в черном, общипанный, обтянутый, как чортик, и давай месить ногами».

А в заключение: «После всякого бала, точно, как будто какой грех сделал. В голове, просто, ничего, как после разговора с светским человеком: всего он наговорит, всего слегка коснется, все скажет, что понадергал из книжек, пестро, красиво, а в голове хоть бы что-нибудь из того вынес...»

Вспомните описание бала и первого выезда Наташи Ростовой у Л. Н. Толстого: сколько там жизни, волнений, очарований! Совсем другими глазами смотрел Гоголь на первенствующее сословие и недаром так страстно принимали его Белинский и Чернышевский: это — подгляд ихними глазами; особенно относительно крестьянских оброков.

Мертвая пустота, «в голове просто, ничего» месят ногами. Но природа, говорят, не терпит пустоты. Пустоту заполняет сплетня, подчас мелкая, глупая, подчас замысловатая, даже невероятная. Сплетня тоже кровно связана с собственностью. Поместная собственность скучна, захолустна, убога, утробна. Все это и питает сплетню.

«В другое время и при других обстоятельствах подобные слухи, может быть, не обратили бы на себя никакого внимания; но город N уже давно не получал никаких совершенно вестей. Даже не происходило в продолжении трех месяцев ничего такого, что называют в столицах комержами («пересудами» — А. В.), что, как известно, для города то же, что своевременный подвоз съестных припасов».

Сплетня создает подобие интересов, событий, разрастается, принимает гомерические размеры, окутывает все туманом. Действительность кажется фантастической, выдумки заслоняют жизнь. Мертвые души, Чичиков, губернаторская дочка, слухи о ревизоре, о новом губернаторе, страхи и опасения — все перемешалось и вот человек уже остановился «как баран, выпучив глаза». Уже Павел Иванович — знаменитый разбойник капитан Копейкин, Наполеон. Уже перестали спрашивать, почем мера овса; а говорили: неужели опять выпустили Наполеона с острова. Где-то

зашевелились раскольники, взбунтовались мужики против помещиков и капитан-исправников.

Действительность двойственна, обманна: она — вещественна, утробна, низменна и она туманна и призрачна. Это двойное бытие у Гоголя раздвигается далеко за пределы российского помещичьего захолустья.

«Поди ты сладь с человеком! Не верит в бога, а верит, что если почешется переносье, но непременно умрет; пропустит мимо создание поэта, ясное как день, а бросится именно на то, где какой-нибудь удалец напугает, наплетет, изломает, выворотит природу...»

«...Много совершилось в мире заблуждений, которых бы, казалось, теперь не сделал и ребенок. Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносащие далеко в сторону дороги, избрало человечество, стремясь достигнуть вечной истины, тогда как перед ним весь был открыт прямой путь, подобный пути, ведущему к великолепной храмине, назначенной царю в чертоги. Всех других путей шире и роскошнее он, озаренный солнцем и освещенный всю ночь огнями; но мимо его в глухой темноте текли люди. И сколько раз, уже наведенные нисходившим с небес смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели среди бела дня попасть вновь в непроходимые захолустья, умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями, умели-таки добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга, где выход, где дорога? Видит теперь все ясно текущее поколение, дивится заблуждениями, смеется над неразумием своих предков... но... начинает ряд новых заблуждений, над которыми также посмеются потомки».

Уездное захолустье преобразуется в захолустье мировое, нелепые блуждания обалдевших чиновников делаются блужданиями всего человечества. Нас вводят в царство некоей космической глупости и вздора, человек живет в мареве, в диком бреде.

Изображение захолустья венчается бессмысленной смертью прокурора, который, набравшись слухов, стал думать, думать и вдруг помер ни с того, ни с другого. На его похоронах сослуживцы были заняты житейскими разговорами, а дамы делали предположения о фестончиках и нашивочках. Да по правде про несчастного прокурора и сказать что-нибудь путное затруднительно: «если разобрать хорошенько дело, так на проверку у него всего только и было, что густые брови». Нелепая смерть прокурора и его похороны — заключительный символ пустого, мертвого, нелепого города.

Все двойное в поэме. Крайний натурализм сочетается с символизмом.

Гоголь не брезгает никакими житейскими подробностями, никаким обиходом: фигуры, обведены со скульптурной выразительностью. Да, это — натура. Но эта натура символична во всех своих подробностях. У Гоголя они неспроста, они имеют свой символический смысл: недаром писатель трудился над первым томом поэмы целых семь лет. У Гоголя надо учиться необыкновенной экономии в средствах и глубокой осмысленностью каждой детали.

Все двойное в поэме. Безжизненные, окаменевшие души. Но в каждом пусть еле-еле, но все же теплится что-то человеческое: о Чичикове говорилось. Собакевич — кулак, сквалыга, но он не любит выдавать, с кем имеет дело, не говорит лишнего. Манилов обходителен, нежен; Петух — добр; Ноздрев — подвижен, общителен, генерал Бетрищев плачет, слушая, как русский народ защищал в двенадцатом году свою землю, Хлобуев сознает, что ведет беспутную жизнь, кается; даже у Плюшкина мелькает какое-то бледное отражение чувства, когда ему вспоминается школа с приятелями. «Потрясающая тина мелочей», раздробленные характеры, презренная, животная жизнь, но и ее как-будто готово озарить высокое, духовное, поруганное, оттесненное на задворки.

На гоголевском паноптикуме следует еще остановиться. Фигуры, собранные в этот паноптикум, действительно, жутки в своей мертвенности.

В. Розанов писал о них:

«У всех этих фигур мысли не продолжают, впечатления не связываются, но все они стоят неподвижно, с чертами докуда их довел автор, и не растут далее ни внутри себя, ни в душе читателя, на которого ложится впечатление... Отсюда — неизгладимость этого впечатления: оно не закрывается, не зарастает, потому, что тут нечему зарости».

«На этой картине совершенно нет живых лиц: это крошечные восковые фигурки, но все они делают так искусно свои гримасы, что мы долго подозревали, уж не шевелятся ли они. Но они неподвижны».<sup>[29]</sup>

Многое здесь тонко и верно подмечено. Действительно, Гоголь выделяет какую-нибудь одну основную психологическую черту, «страстишку», увеличивает ее, затемняя другие свойства «героя», который превращается в олицетворение этой «страстишки». Люди — маски; за масками ничего кроме корысти. Но они двойные, как и все у Гоголя в его поэме. Они — мертвые, покуда дело касается внутренней, духовной жизни, за исключениями, о которых сейчас говорилось; они поработаны своими страстишками. Однако, они оживают, когда начинают справляться с бараньими боками, одолевая жареных индюков ростом с теленка, когда ловят осетров, меняют собак, предлагают пеньку, курят трубки,

расставляют красивыми рядами горки золы, когда проделывают в воздухе антраша, подбадривая себя пяткой, словом, когда они обращаются к «земности» и к чувственности. Самый безжизненный из них — Плюшкин; это потому, что автор не заставил его на глазах читателя поест, или сделать что-нибудь подобное; но даже и в нем мелькает неподдельная радость как только ему кажется, будто Чичиков не прочь освободить его от убытков.

Правда, это живость чисто животная, не одухотворенная; тем не менее, она на наших глазах воскрешает «мертвые души». В этом и заключается одна из тайн гоголевского «приема», гротеск, иронический гиперболизм, выделение одних черт за счет других соединяется с житейскими мелочами и подробностями. Об этом приеме подробнее будет сказано в заключительной главе.

Всего этого Розанов не заметил: его тонкие замечания очень односторонние, редакционно-пристрастные.

Двойная Русь, двойной город. Вспомните знаменитое обращение Гоголя к родине: городишки, деревянные лавчонки, дряхлые мосты, рыдваны, вороны, как мухи, пустынный горизонт: неподвижное, древнее, тусклое.

«Ничто не обольстит и не очарует взора!» Но откуда же надо всем этим песня: «Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце?» И вот уже не видно городишек и деревянных лавок: «У! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..» И вот уже все летит: «летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком — и что-то страшное заключено в сем быстром мелькании... Не молния ли это, сброшенная с неба?.. Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах?.. Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху...» И не видно, что сидит в бричке достоуважаемый приобретатель Павел Иванович со своей шкатулкой, с Петрушкой и Селифаном. И сгнули на миг человеческие уроды и страшилища. Все в бешеном полете... Неизвестно куда!..

Двойственен часто пейзаж.

«Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом *пропадавший* в поле, *заросший* и *заглохлый* и т. д. А потом: «белый колоссальный ствол березы *подымался* из этой зеленой *гущи* и *круглился* в *воздухе*...» Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и

лесного орешника... взбегал наконец вверх и обвивал до половины сломленную березу... висел на воздухе, завязавши тонкие, цепкие крючья, легко колеблемые воздухом. Местами расходились зеленые чащи, озаренные солнцем и показывали неосвещенное между ними углубление, зиявшее как темная пасть... Молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои зеленые лапы — листья, под один из которых, забравшись бог весть каким образом, солнце превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой густой темноте. В сторону, у самого края сада, несколько низкорослых не вровень другим осин подымал и огромные вороньи гнезда, на трепетные свои вершины... Словом, все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе, когда по нагроможденному, часто без толку, труду человека, пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубоощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает нескрытый, нагой план, и даст чудную теплоту всему, что создано в хладе размеренной чистоты и опрятности». Соединены низкое и высокое, тяжелое и легкое, темное и светлое, покой и движение, «хлад» и тепло. Подобные сочетания характерны вообще для гоголевского пейзажа.

Двойственно все разворачивание действия. По словам С. Т. Аксакова, Погодин, выслушав «Мертвые души», заметил, что содержание поэмы не двигается вперед: Гоголь ведет читателей по длинному коридору, отворяет двери в отдельные комнаты, показывая в них уродов. Замечание верное, но верно также и то, что одновременно эта неподвижность соединяется с образом путешествующего на тройке Чичикова, с мельканием деревень, сел, усадеб. Каждая усадьба выглядит по своему. Не успеваешь оглянуться, как Павел Иванович уже спешит в другое место; он только что завоевал всеобщую симпатию, уважение, преклонение и вдруг уже — плут, мошенник, темный человек, все сторонятся его. Гораздо, однако, существеннее другое. Еще Шевырев отметил, что расположение героев у Гоголя отнюдь не случайно и не механично. И действительно, неверно мнение, будто их легко можно переставлять; вместо Манилова начать с Ноздрева, с Собакевича; в расположении фигур у Гоголя соблюдена строгая внутренняя последовательность, она только по внешности механична и случайна: от приятного и сахарного Манилова мы попадаем к менее приятным: к Коробочке, к Ноздреву, к Собакевичу.

Герои все более делаются мертвыми душами, чтобы потом почти совсем окаменеть в Плюшкине.

Двойственный язык. Сравните, для примера, начало и конец первого

тома поэмы:

«В ворота гостиницы губернского города N въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, словом все те, которых называют господами средней руки». Обыденный, прозаический язык. «Восковой язык, — замечает Розанов, — в котором ничего не шевелится, ни одно слово не выдвигается вперед и не хочет сказать больше, чем сказано во всех других».

А вот окончание первого тома:

«Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься! Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и отстает позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это сброшенная с неба? Что значит, это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях?.. Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? Не дает ответа. Чудным звоном заливаются колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и косясь посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства».

Можно ли сказать, что здесь слово не двигается? Нет, оно двигается, взвивается, стремительно летит, оно до краев наполнено, хочет сказать больше того, что есть в нем по прямому смыслу; словесная ткань живет, трепещет... Да и такой ли восковой и буквальной является и обыденная, прозаическая речь у Гоголя? Откуда же богатство оборотов, свобода, и звучность? И если почти каждый образ и каждое явление у Гоголя не спроста, то это же самое надо сказать и про гоголевское слово. Розанову хочется доказать, что характеры, образы, слова у Гоголя лишены подлинной жизненности, что Гоголь оклеветал Россию Собакевичей, Чичиковых, губернаторов, вышивающих по тюлю и прокуроров, примечательных только густыми бровями: это — оценка, хотя и одаренного, но реакционного публициста. Смех Гоголя двойственный: это — «созерцание данной сферы жизни сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые слезы».

«Горьким словом моим посмеются»,

Двойственно и очень двусмысленно и самое понятие мертвых душ. Мертвые души — ревизские души, но мертвые души и Чичиков, и Собакевич, и Коробочка, и Плюшкин. «Мертвые души» — все чувственное, «вещественное», все, что бытийствует.

Двойственно отношение Гоголя и к вещам. Гоголь осуждает грубую материальность вещей, но как порою смачно изображены осетры, бараньи

бока, пироги, сукна, батисты!

Дуализм «земного и небесного», материального и духовного обострен до предела, причем духовное подавлено низменной вещественностью, носящей на себе яркий отпечаток общественного уклада. Темное, хаотическое чувство объемлет читателя, — нечто угрюмое и безотрадное. Из безжизненной, могильной тьмы точно при внезапных молнийных освещениях выступают хари, свиные морды, образины, уроды, в которых трудно узнать подобие человека; кругом — рухлядь, разор, грязь, убожество. Не спасают ни лирическое отступление о бойкой тройке, ни намеки на будущее перерождение героев; слишком они противоречат всему содержанию поэмы...

«Мертвые души» являются самым зрелым и самым выношенным произведением Гоголя, делом его жизни. В мировой литературе трудно найти другую художественную вещь, в которой с такой беспощадной пластической силой было бы вскрыто опустошающее и растлевающее влияние собственности на человеческую душу. Подведен итог многолетним скорбным думам, наблюдениям и переживаниям. Собственность, вещь приняли вполне ясные и точные очертания. Она как бы целиком воплотилась. Это — уже не клады, не червонцы Басаврюка и ростовщика, обладающие чертовскими, мистическими свойствами, не безобидная трубка Тараса, это — средне-и мелко-поместное имущество в состоянии упадка и развала, это — рыночная собственность, товар, которую производит фабрика, «кучи мастеровых», собственность, определяющая собой новый хозяйственный, политический, бытовой и культурный уклад.

Приняла более житейский вид и всякая нежить: красная свитка на свином рыле превратилась во фрак наваринского племени, с дымом; чужестранец без роду и племени стал выглядеть самым обходительным и житейски-обиходным Павлом Ивановичем; чудовища и гномы, застрявшие в церкви, приняли вид Петухов, Ноздревых, Плюшкиных, Собакевичей, Коробочек; ведьмы — дамы просто приятные и приятные во всех отношениях. В чертовщине не стало нужды, но действительность стала хуже и ужаснее всякой чертовщины. Потрясающая картина, по сравнению с которой бледными выглядят колдуны и Басаврюки.

«Не гляди... Не вытерпел он и глянул... И все сколько ни было, кинулись на философа...»

Излюбленные характеры, которые и раньше разрабатывались художником, достигли полной законченности и совершенства. В Манилове узнается Шпонька, Подколесин; в Ноздреве — Чертокуцкий, Кочкарев, Пирогов, Хлестаков; в Собакевиче — Сторченко, Довгочун, Яичница,

городничий; в приятных дамах, в блондинке — Анна Андреевна, ее дочь и т. д. Но теперь сделаны последние удары кисти, наложены последние краски, то «чуть-чуть», которое превращает работу мастера в чудо искусства.

В соответствии с содержанием изменилась и форма. Сюжет таинственный и страшный, либо анекдотический сделался простым; будничным; действительно, перед читателем как бы вытянулся предлинный, мрачный, коридор, с отдельными комнатами, где чавкают, сопят, бездельничают, уроды. Предмет, фигура человека резко очерчены, отделены от фона, а не сливаются, не связаны с ним, как в «Вечерах на хуторе». Жест окончательно принял марионеточный характер, раздробился, измельчал, стал судорожным.

Андрей Белый проделал огромную работу, сравнив спектр Гоголя по творческим периодам. Его вывод: «Произведения первой фазы Гоголя («Вечеров на хуторе» — А. В.) втрое цветистей первого тома «Мертвых душ». То же самое со звуком: он потерял свою простоту, чистоту и мелодичность. Гипербола-дифирамб превратилась в гиперболу-иронию; слово сделалось более прозаическим, глухим, лишившись напевности и звучности «Вечеров».

Вывод из содержания поэмы напрашивается сам собой: людей превращает в мертвые души имущество, собственность: усадьбы с даровым трудом, копейки, рубли, товары, производимые на фабриках «кучами мастеровых». Эта собственность воспитывает эгоизм, алчность, прикрепляет человека к месту, делает его черствым. Очевидно, нужно уничтожить ее, сделать ничьей, общей; тогда и только тогда человек станет живой, а не мертвой душой; и тогда его будут занимать не корыстные, а общие интересы, разовьется дружба, товарищество, самоотверженность, смелость, подвижность, любовь к духовной культуре, к наукам, к искусствам.

Такой, единственно верный вывод из поэмы и сделали поколения наиболее передовых и готовых к борьбе с Павлами Ивановичами, и Собакевичами читателей. Они увидели в поэме и произведениях Гоголя разоблачение не отдельных плутов, сквалыг, скопидомов и скряг, а всей хозяйственно-политической системы того времени, крепостничества и капитализма. К сожалению, сам автор гениальной поэмы этого вывода не сделал. Авторский вывод был совсем иной: в своей поэме он писал:

«Быстро все превращается в человеке: не успеваешь оглянуться, как уже вырос внутри страшный червь, самовластно обративший к себе все жизненные соки. И не раз не только широкая страсть, но ничтожная



страстишка к чему-нибудь мелкому разрасталась в рожденном на лучшие подвиги, заставляла его позабывать великие и святые обязанности и в ничтожных побрякушках видеть великое и святое. Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти, и все не похожи одна на другую, и все они, низкие и прекрасные, вначале покорны человеку, и потом уже становятся страшными властелинами его...»

Все дело в дурных человеческих наклонностях и страстях. Именно они и создали всех этих уродов: Плюшкиных, Собакевичей, Чичиковых, Ноздревых. Не будь страстей, все пошло бы по иному. Надо, следовательно, человеку обратиться к своему внутреннему миру и пребороть, подавить прихоти. Во втором томе «Мертвых душ» этот свой взгляд Гоголь устами откупщика Муразова выразил точнее:

«Покамест, бросая все, из-за чего грызут и едят друг друга на земле, не подумают о благоустройстве душевного имущества, не установится благоустройство и земного имущества... Что ни говорите, ведь от души зависит тело».

Этот вывод совсем противоположен тому, какой с неизбежностью следует из всего содержания поэмы. «Мертвые души» наглядно показывают, что все дело в «теле», в собственности. «Страсти» развиваются в зависимости от нее. Но Гоголь больше всего боялся этого вывода и старался от него отговориться ссылками на «страшного червя». Получилось гигантское расхождение между образом и тенденцией, между художественным изображением и его истолкованием.

«В Вечерах на Хуторе» повинен не человек, а внешние, посторонние силы; В «Ревизоре» Гоголь обвиняет уже человека, но *еще* не делает твердого и ясного вывода; в «Мертвых душах» заявления писателя на этот счет уже не оставляют никаких сомнений. Не погрешил ли он против своей совести? Он погрешил против нее. Повесть о капитане Копейкине в угоду цензуре была переделана именно так, что вместо «генералитета» в злочлечениях Копейкина повинным оказался он сам, его «страсти». Страсти понадобились для искажения правды. Мы вправе поэтому сказать, что Гоголь, хотя и приходил к заключению, что все дело в личных пороках человека, но к этому выводу его понуждали и обстоятельства, чисто внешние; цензурный гнет, боязнь, что «наше аристократство» отвернется от него и расправится с ним со всей помещичьей и бюрократической дикостью. Опасения вполне действительные.

Итак, все дело в страстях. Надо подумать прежде всего о благоустройстве духовного имущества. Но как же перестроить «духовное имущество» Собакевича, Ноздрева, Плюшкина, если им этого имущества, в

лучшем случае, отпущено до того мало, что о нем и говорить-то по серьезному трудно, если у них и была душа, то «видом совсем малая и отнюдь не бессмертная». Это лучше кого-нибудь знал Гоголь. На что же он надеялся? Он надеялся на могущественное человеческое слово. Но идти в поход на Собакевичей и Плюшкиных с «глаголом», это все равно, что жечь этим «глаголом» ихтиозавров и бронтозавров. Теория страстей заводила в тупик. Оставалось только обратиться к провидению; оно наставит и направит человека. Гоголь все более укреплялся в своей этой надежде.

«Но есть страсти, — писал он, — которых избрание не от человека. Уже родились они в минуту рождения его в свет, и *не дано ему сил отклониться от них*. Высшими начертаниями они ведутся, и есть в них что-то вечно зовущее, неумолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще суждено совершить им: все равно, в мрачном ли образе, или пронесшись светлым явлением, возрадующим мир — одинаково вызваны они для неведомого человеком блага. И может быть, в сем же самом Чичикове страсть его влекущая, уже не от него, а в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес. И еще, *тайна*, почему сей образ предстал ныне являющейся на свет поэме».

Но если есть страсти, избрание которых не от человека, а от провидения, то опять выходит, что дело не в самом человеке. Поневоле мы возвращаемся к первоначальному положению с тем, однако, ощутительным различием, что раньше Гоголь в обольщениях человека обвинял внешние обстоятельства, теперь же он ищет причины в высших предначертаниях. Раньше человек и живая действительность были сильнее Басаврюков и всякой нежити и, хотя эта нежить и вредила человеку, но в целом торжествовала жизнь. Нежити только по временам удавалось проникать в эту действительность; да она была как-то и ближе к естественным силам; в сущности она олицетворяла внешние обстоятельства, непонятные, шедшие откуда-то со стороны, но все же земные. Потом эта нежить целиком овладела миром, Русью, в лице Чичиковых, Хлестаковых, городничих, губернаторов, генералов, прокуроров. Вера в человека, в его способность самому стать живой душой, у писателя рухнула. Осталась надежда на высшие предначертания. Гоголь и прибегнул к этому последнему пристанищу. Это был фатализм, это был новый тупик.

Мы не последуем за Гоголем в это пристанище, хотя бы уже по одному тому, что намерения высших предначертаний в нашей жизни не поддаются раскрытию и учету. Лучше и плодотворнее присмотреться, в силу каких ошибок гениальный писатель все больше и больше убеждался, что во всем

повинны человеческие страсти.

Нетрудно заметить одно: склоняясь к мысли, что во всех пороках виноват человек и предначертания, Гоголь был далек от последовательности: человек виновен, но и вещь, но и собственность тоже таят в себе обольщения: как аппетитно выглядят эти осетры, бараньи бока; а батисты, а всякое канальство, а суконцо «высшего сорта», какое есть и притом больше искрасна, не к бутылке, но к бруснике чтобы приближалось? Обольстительность, земную прелесть, «милую чувственность» вещей Гоголь воспринимал еще остро и упоительно. Отсюда и его непоследовательность.

Но, как уже нами отмечалось, внимание его было *сосредоточено на средствах потребления, а не на средствах производства*, на мебели, на домашней утвари, на съестных припасах, на жилых помещениях, на одежде; почти ничего не узнает читатель о помещицкой и крестьянской земле, о полях, сенокосах, выгонах, о крепостном труде, о фабриках и заводах. Обо всем этом Гоголь хранит упорное молчание. Но именно этой собственностью и определяются общественные отношения. Естественно, что вместе со средствами производства они тоже выпали у него. Остались вещь, как средство потребления и человек. Исключив из своего творческого внимания сложную систему имущественных и иных общественных отношений, через которые вещи воздействуют на человека, Гоголю ничего не осталось, как *механически* определять связь между человеком и вещью. Можно сказать, в известном смысле Гоголь являлся вульгарным экономистом. Вещь у него прямо и непосредственно влияла на человека, а не через сложную систему общественных отношений. Вещи обольщают, а человек таит в себе «страсти». В отрывке из второй части «Мертвых душ» Гоголь устами князя так и говорит: «уничтожьте мебели и все прихоти». Не надо заводить щегольского экипажа, не надо шить дорогих платьев жене и т. д., а надо вести «простую жизнь».

Разумеется дело не в экипажах, и не в платьях, и даже не в простой жизни: Плюшкин вел куда как «простую жизнь», а все же тащил последнее ведро у бабы; суть заключается и заключалась в том, что с помощью присвоенных вещей, человек заставляет другого человека работать на себя, отнимает у него продукты его труда, порабощает его и развращается сам. Сама по себе вещь отличается лишь «милою чувственностью», служит во благо и на потребу человеку. Гоголю же казалось, что вещь, не в силу общественных отношений, скрытых в ней, а как таковая, губит людей, которые таят в себе пороки и страсти.

Ошибку Гоголя, конечно, в другом виде повторяют наши упростили

и уравниатели. Многие из них требуют равных условий, полагая, что различие в оплате труда дает возможность людям лучше других обставлять себя вещами, лучше питаться, одеваться и т. д. А это «лучше» развращает человека, подчиняя его «собственности», развивая в нем скопидомство, неподвижность, очерствелость. Выходит, что вещь сама по себе порочна, а человек одержим страстишками. Вывод близкий к тому, что думал Гоголь. И подобно Гоголю наши уравниатели забывают о самом главном: об имущественных и производственных отношениях, скрытых в вещах: именно они порождают социальное и политическое неравенство. Отсюда — один шаг до аскетизма. Наши уравниатели тоже недалеко от своеобразного аскетизма, и если не делаются сторонниками его, то только в силу своей непоследовательности. Гоголь был куда их последовательней: он отнюдь не шутил с идеями.

Взяв собственность не как средство производства, а как средство потребления, Гоголь естественно обошел молчанием крепостные и капиталистические отношения, но Пушкин недаром сказал про него, что он все видел. Много разглядел Гоголь в крепостной действительности. В «Мертвых душах» есть не только два русских мужика, рассуждающих о чичиковской бричке, не только Митяй и Миняй. В седьмой главе есть замечательные страницы, где Чичиков размышляет о мертвых крестьянских душах, помещенных в списках:

«Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! Что вы, сердечные мои, поделывали на веку своем? Как перебивались?»

Поистине, перебивались! Примерной трезвости Степан Пробка, плотник-богатырь, исходил с топором все губернии, «съедал на грош хлеба», копил деньгу на домашние нужды, да должно быть сорвался с церковного купола. Сапожника Телятникова в детстве немец бил ремнем по спине и не выпускал на улицу; «давши барину порядочный оброк», завел Телятников мастерскую, достал в три-дешева гнилушки, кожи, пошел работать, но у заказчиков перелопались сапоги, мастерская опустела. Григорий Доезжай-не-доедешь промышлял извозом, да верно уходили приятели... А вот беглые души Плюшкина: одни гуляют по тюрьмам, по этапам, объясняются беспаспортные, с капитан-исправником, который набивает им на ноги колодки; другие ходят в бурлаках, тащат лямку «под одну бесконечную, как Русь, песню».

Правда, эту угнетающую картину Гоголь как бы смягчает восклицанием: «Эх, русский народец! не любит умирать своей смертью!» Но, может быть, в этих словах звучит больше горький смех. Во всяком случае картина говорит сама за себя. Мертвые ревизские души вдруг

оживают, обрастают плотью; от них пахнет подневольным потом, пред глазами воскрешается каторжная, пропащая действительность, окаянный, постылый труд на барские хайла. И не кажется ли уже читателю, что не об одних мертвых ревизских душах ведется хитроумная художественная речь, но и о живых, о тех, кто трудится, кормит и поит людей своим хлебом. Очень двусмысленно название поэмы «Мертвые души»! Как жалко, что Гоголь не рассказал нам о ревизских душах, трудовых душах, о «кучах мастеровых». Мастеровые ему прекрасно удавались, да и о крестьянских душах, судя по всему, Гоголь сумел бы рассказать не хуже многих других, бравшихся с успехом за эту тему. Что же помешало? Помешали николаевские порядки, помешал Гоголю-художнику Гоголь-существователь, полтавский помещик; помешали взгляды, что во всем виновны человеческие страсти. Возвратившись к вопросу, почему же Гоголь видел собственность как средство потребления, а не как средство производства, надо сказать: случилось это потому, что перед глазами Гоголя был разор помещного, крепостного хозяйства, его омертвление, что созидательные силы капитализма в России тогда были еще очень слабы и на поверхности хозяйственной жизни сплошь и рядом орудовали плуты, мошенники, рвачи, хищники. Если творческих сил капитализма не разглядели народники, то тем естественнее не заметить их было в эпоху Николая I.

Во втором томе «Мертвых душ» Гоголь попытался найти и изобразить эти положительные силы в лице Костанжогло и Муразова. Художественное чутье и здесь его не обмануло: будущее принадлежало им. Но в них не было ничего ни духовного, ни «божественного». Предполагая в них эти свойства, Гоголь грубо ошибся.

На читателей «Мертвые души» произвели огромное впечатление. С. Т. Аксаков подтверждает, что впечатления были разные «различны, но равносильны». Читателей можно было разделить на три части; передовая молодежь встретила поэму восторженно; другие были ошеломлены и не сразу поняли ее, а поняв, почувствовали в ней глубокую правду. Третья часть читателей «с остервенением вступилась за оскорбление целой России».

Равнодушных не было и в критике. Белинский отозвался тремя блистательными статьями.

«В «Мертвых душах», — заявил Белинский, — автор сделал такой великий шаг, что все доселе им написанное, кажется слабым и бледным в сравнении с ними». Успех Гоголя Белинский видит прежде всего в субъективности, не в той субъективности, которая искажает

действительность, а в той, которая *проводит эту действительность через душу поэта, одухотворяя произведение.*

Замечание Белинского о субъективности нуждается в решительной поправке. Верно, что идеал искусства заключается в органическом сочетании объективного с субъективным. У Гоголя же было вопиющее противоречие между обоими элементами: объективное, образ расходилось с субъективными помыслами и чувствами и в этом один из крупнейших недостатков поэмы, покрываемых, впрочем, с избытком, богатством объективного. Шаг вперед, по мнению Белинского, и в том, что писатель «отрешился» от малороссийского элемента и стал русским национальным поэтом.

«Мертвые души» — не сатира, это действительно вдохновенная поэма с высоким лирическим пафосом.

Наиболее ценными, однако, являются утверждения Белинского в другой полемической заметке, направленной против брошюры Константина Аксакова: «Несколько слов о поэме Гоголя». Аксаков, писал Белинский, совершил грубейшую ошибку, поставив Гоголя рядом с Гомером: Гоголь великий, но не мировой поэт и его «Мертвые души» только для России. Далее Белинский писал:

«Мы в Гоголе видим более важное значение для русского общества, чем в Пушкине: ибо Гоголь *более поэт социальный*, следовательно, более поэт в духе времени».

Этого вывода Гоголь боялся больше всего. Действительно, «Мертвые души» явились первым настоящим *социальным* прозаическим произведением *монументального* жанра. Развивая далее этот свой взгляд во второй полемической заметке против Константина Аксакова, Белинский спрашивал:

«Критика должна войти в *основы* и причины этих форм / общественных — А. В.), должна решить множество, по-видимому, простых, но в сущности очень важных вопросов, вроде следующих: отчего прекрасную блондинку разобрали до слез, когда она даже не понимала, за что ее бранят? Отчего весь губернский город N оказался и хорошо населенным и людным, когда сплетни насчет Чичикова получили свое начало от живого участия «приятной во всех отношениях дамы» и «просто приятной дамы»? Отчего наружность Чичикова показалась «благонамеренной» губернатору и всем сановникам города N? Что значит слово «благонамеренный» на чиновничьем наречии?

Отчего автор поэмы необходимою принадлежностью длинной и скучной дороги почитает не только холода, но и слякоть, грязь, починки,

перебранки кузнецов и всяких дорожных подлецов? Отчего Собакевич приписал Елизавету Воробья? Отчего прокурорский кучер был малый опытный, потому что правил одною рукою, а другою, засунув назад, придерживал ею барина? Отчего сольвычегодские угостили на пиру (а не в лесу, при дороге/ устьсысольских на смерть, а сами от них понесли крепкую ссадку на бока, под микитки, и все это назвали «пошалить немного»?.. Тем-то и велико создание «Мертвые души», что в нем сокрыта и разанатомирована жизнь *до мелочей, имел очам этим придано общее значение*».

Цензурные рогатки мешают Белинскому прямо сказать, что *общее значение* имеют крепостной строй и николаевский режим, что именно они и создают грустные и тяжелые «мелочи», но критик подводит читателя именно к этому выводу, правильно усмотрев его во всем содержании поэмы. Статьи Белинского являются образцом и лучшим показателем того, как толковали «мертвые души» революционные разночинцы того времени, немногочисленные но общественно и политически уже тогда опередившие самых передовых и самых либеральных представителей «первенствующего сословия».

Заметил Белинский и воззрения, «которые довольно неприятно промелькивают в «Мертвых душах», выразив тревогу по поводу того, как дальше разовьется поэма. К сожалению, он недостаточно оценил их, говоря о субъективности Гоголя.

Герцен со своей стороны находил, что «Мертвые души» — «удивительная книга, горький упрек современной России. Но не безнадежный... Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена во всей полноте... Грустно в мире Чичикова... Одно утешение в вере и уповании на будущее».

Из статей отрицательных следует отметить критику Н. Полевого в «Русском вестнике». Наиболее любопытны замечания Полевого об ошибках и неправильностях гоголевского языка.

«Где вы, — спрашивает полевой, слышали, следующие, например, слова на святой Руси: «в эту приятность чересчур *передано сахару*», — «болтая головой, *встретил* отворяющуюся дверь», «здоровье *прыскало* с лица его», — «нюркость характера»... — «они *изопьются* и будут *стельки*», — «*краюшка уха* его скручивалась», — «сам лошадей, шум колес», — «стены дома *ощеливали* штукатурную решетку», — «седой *чапыжник*, густою щетиною, *вытыкавший* из-за ивы»...

В языке Гоголя, в самом деле, немало погрешностей; вообще же Полевой кажется восставал главным образом против овецствления

психологических понятий, против динамичности, гиперболлизма, своеобразности выражений и словообразований, впоследствии вполне узаконенных. В этом, как и в другом, Гоголь был истинный новатор, опередивший лучших своих современников. Заклучая свою статью, Полевой дал Гоголю совет не писать больше ни такой галиматъи, как «Рим», ни такой чепухи, как «Мертвые души».

М. Сорокин в «Петербургских Ведомостях» — (1842 год, N 163), отвечая на обвинения, будто Гоголь не знает русского языка, признавая грамматические его погрешности, заметил: «Кто идет впереди всех, тот первый встречает и удары».



## «ДУШЕВНОЕ ДЕЛО»

Отъезд Гоголя за границу и на этот раз похож был на бегство. Настроение у него приподнятое и неуравновешенное. Он поучает, дает советы заниматься хозяйством не вещественным, а духовным, уверяет, что с каждым часом в его душе делается светлей и светлей и внутренняя жизнь его в противоположность внешней награждается чудными наслаждениями.

Чрезвычайно занимают его суждения читателей и критиков по поводу «Мертвых душ». Обращаясь к Шевыреву с просьбой написать разбор поэмы, Гоголь выражает опасение, что первые впечатления от нее должны быть неприятны уже вследствие самого сюжета. Ему надо знать все свои недостатки: в России нет человека, который так жаждал бы изучить свои пороки, как этого жаждет он. Его интересует не художественная, а нравственная сторона поэмы. Наиболее уязвимым местом «Мертвых душ» Гоголь считает отрицание и отсутствие положительного идеала. Он пишет С. Т. Аксакову:

«Первое впечатление их на публику совершенно то, какое подозревал я заранее. Неопределенные толки; поспешность быстрая прочесть и *ненасыщенная пустота* после прочтения; досада на видимую непрерывную мелочь событий жизни, которая становится невольно насмешкой и упреком». (Гастейн, 1842 года, 18 августа.) Он соглашается с Шевыревым о неполноте комического взгляда, берущего только «в полуобхват предмет». Часто он находится под гнетом какой-то вины, совершенного им дурного поступка.

Мистические настроения усиливаются. По поводу предполагаемой своей поездки в Иерусалим Гоголь объясняет Аксакову:

«Признайтесь, вам странно показалось, когда я в первый раз объявил вам о таком намерении... *Но разве не бывает в природе странностей?* Разве вам не странно было в сочинении, подобном «Мертвым душам», встретить лирическую восторженность. Не смешною ли она вам показалась вначале, и потом не примирились ли вы с нею, хотя не вполне еще узнали (ее) назначение?» (Гастейн, 1842 года, 18 августа.)

В начале октября Гоголь вместе с поэтом Языковым поселяется опять в Риме. Языков страдал болезнью станового хребта, не мог ходить. Гоголь очень ценил его поэтический талант.

Из Рима Николай Васильевич направил Прокоповичу «Театральный разъезд». По мысли его «Разъезд» должен был замкнуть собрание

сочинений, предпринятое в Петербурге. Гоголь сообщает, что каждая фраза в «Разъезде» досталась ему «долгими соображениями». Попрежнему его тревожит вопрос о положительном значении его произведений. Он изображает отрицательное, подлое, бесчестное. Но разве тем самым не рисуется образ честного человека?

«Разве все это накопление низостей, отступлений от законов и справедливости, не дает уже ясно знать, чего требует от нас закон, долг и справедливость?...»

«Да разве это не очевидно ясно, что после такого представления народ получит более веры в правительство... Пусть видит он, что злоупотребления происходят не от правительства, а от непонимающих требований правительства, от нехотящих ответствовать правительству. Пусть он видит, что благородно правительство, что бдит равно над всеми его недремлющее око...»

Гоголь старается уверить, что дело не в системе, а в исключениях и в личных пороках. Доказать это было невозможно. Каждый образ, каждый характер и «Ревизора» и «Мертвых душ» и многих других произведений Гоголя наводил читателя на мысль о полной непригодности тогдашнего хозяйственного и политического уклада. Гоголь это чувствовал и понимал. Понимал он также и то, что одно изображение плутов, казнокрадов, сквалыг и приобретателей никак еще *тем самым* не рисует образ честного человека. Художественное произведение всегда наглядно; никто так прекрасно не знал этого, как именно Гоголь. Образ честного человека тоже должен быть так же нагляден как и образ плута. Фигурою фикций, отрицанием «не» и «ни» положительный образ не воссоздается. Жизненно-положительного образа и жизненно-положительного идеала у Гоголя не было.

Недаром «вторая дама», как бы соглашаясь с Шевыревым, говорит: «У автора вашего нет глубоких и сильных движений сердечных... Кто беспрестанно и вечно смеется, тот не может иметь слишком высоких чувств... все люди, которые смеялись или были насмешниками, все они были самолюбивы, все почти эгоисты... У комика душа непременно должна быть холодная... Причиною таких произведений все же была желчь, ожесточение, негодование... но нет того, чтобы показывало, что это порождено высокой любовью к человечеству...»

Это очень сильные замечания: для создания честного человека, помимо смеха, желчи, и негодования, надо иметь еще и высокую любовь. Гоголь старается отвести подобные возражения ссылкой на то, что у него есть честное, благородное лицо — это смех, не желчный,

раздражительный, болезненный смех, но тот легкий смех, который «излетает из светлой природы человека, который углубляет предмет и заставляет ярко выступать, что проскользнуло бы мимо человека в обычное время». Ответ ли это? Каким бы ни был смех, это не наглядный образ, это — окраска. Можно ли, далее, смех в «Ревизоре», в «Мертвых душах» назвать легким смехом, излетающим из светлой природы человека? Нет, это смех не такой. Он — тяжелый, мрачный, раздражительный, безжалостно срывающий внешние покровы, смех отрицания, а не утверждения, создавший человеческих уродов, свиные рыла, а не честных и благородных людей. Пусть он, этот смех, «льет часто душевные, глубокие слезы», он остается уничтожающим и темным.

Легенду о светлом смехе Гоголя, подхваченную охотно либеральными болтунами, давным-давно пора похоронить в пыльных архивах. И в силе остается утверждение «Господина с весом», что смехом Гоголя шутить нельзя: «сегодня он скажет: такой-то советник нехорош, а завтра скажет, что и бога нет». Так именно и случилось: очень и очень многие из горячих почитателей «Ревизора» и «Мертвых душ» начали свое отрицание с титулярного советника, а кончили «его величествами», земным и небесным. «Господин с весом» обнаружил большое политическое чутье.

«Театральный разъезд» заканчивается лирическим обращением необычайной силы и напряженности:

«Ныла душа моя, когда я видел, как много тут же среди самой жизни, безответных, мертвых обитателей, страшных недвижимым холодом души своей и бесплодной пустыни сердца: ныла душа моя когда на бесчувственных их лицах не вздрагивал даже призрак выражения от того, что повергло в небесные слезы глубоко любящую душу, и не коснел язык их произнести свое вечное слово: «побасенки..» Побасенки! А вон потекли вежи, города, и народы стерлись и исчезли с лица земли, как дым унеслось, все, что было, а побасенки живут и повторяются поныне, и внемлют им мудрые цари, глубоки правители, прекрасный старец, и полный благородного стремления юноша. Побасенки!.. Но — мир задремал бы без таких побасенок, обмелела бы жизнь, плесенью и тиной покрылись бы души».

Гоголевские «побасенки» оправдали себя. Исчезли с лица земли голубые мундиры, высочайшие дворы и обрюзглые звездоносцы. Русь Николая, Чичикова, городничего, а «побасенки» живут. И прав был Гоголь в своих страхах: для этой Руси в его «Побасенках» заключалась взрывчатая сила, гибельнее всякого динамита.

«Театральный разъезд» не случайно написан в форме диалога: он

отразил смятенную душу автора: автор больше спорит в нем с собой и убеждает больше себя, чем читателя.

Страшно было жить и творить писателю! Не случайно Гоголь возвратился в том же 1842 году к своему «Портрету», переделав его для «Современника» в соответствии со своим последним душевным состоянием. Старый мастер-художник поучал сына: нет низкого в природе для искусства, но нельзя творцу бездушно покоряться ей. К верному изображению он должен присоединить полет души, нечто идеальное. Действительно, угрюма участь мастера, который вынужден жить среди уродов, зависеть от них, пред ними унижаться, отдавать на изображение их свой могучий дар и смеяться осторожным скрытым, тяжелым и горьким смехом. Страшно так жить! Но еще страшнее, когда кисть не повинуется художнику, когда вместо желанных светлых образов она выводит человеческую нежить.

Разрыв между действительностью и идеальным превращался в пропасть. Отсюда и обостряющееся чувство несоответствия между низким и высоким в человеке.

А. О. Смирнова рассказывает о Гоголе:

В Сикстинской капелле мы с ним любовались картиной страшного суда. Одного грешника тянуло то к небу, то в ад. Видны были усилия испытания. Вверху улыбались ему ангелы, а внизу его — чертенята со скрежетом зубов. «Тут история тайн души» — говорил Гоголь. — «Всякий из нас раз сто в день то подлец, то ангел».

Когда низкую действительность с идеальным миром не могут примирить земными средствами, тогда прибегают к средствам «потусторонним». Отсюда — «душевное дело» Гоголя. Понимая, что как художник он отрицает старую самодержавно-крепостную и «мануфактурную» Россию, Гоголь решает в продолжении «Мертвых душ» дать положительное. Но дать это положительное можно, по его мнению, только предварительно воспитав себя в религиозном духе. Надо убить в себе чувственного человека, в пользу человека духовного. Он отказывается от театра: там господствует комическое, смешное, грешное. «Помните себе хорошенько, — предупреждает он Щепкина, посылая ему отрывки из уничтоженной комедии «Владимир третьей степени», — что уж от меня больше ничего не дождетесь: я могу и не буду писать ничего для театра». Усиливается аскетизм. Дают о себе знать и болезненные припадки, тоска. Гоголю кажется, что от них избавляет обращение к богу. «Милая чувственность» замирает. «Попы интереснее всяких коллизеев», признается Гоголь Аксакову. Он делается все более молчаливым и сосредоточенным.

Чижов вспоминает: «Общий характер бесед наших с Гоголем может обрисоваться из следующего воспоминания. Однажды мы собрались, по обыкновению, у Языкова. Языков, больной, молча, повесив голову и опустив ее почти на грудь, сидел в своих креслах; Иванов дремал, подперши голову руками; Гоголь лежал на одном диване, я полулежал на другом. Молчание продолжалось едва ли не с час времени. Гоголь первый прервал его. «Вот», — говорит: «с нас можно сделать этюд воинов, спящих при гробе Господнем».

И после, когда уже нам казалось, что время расходиться, он всегда говаривал:

«Что, господа, не пора ли нам окончить нашу шумную беседу»<sup>[30]</sup>.

Данилевскому Гоголь писал:

«Мне все равно, в Италии ли я, или я в дрянном немецком городке, или хоть в Лапландии».

«Я уже давно отстал от того, чтобы наслаждаться природою», — подтверждает он Смирновой.

Душу заполняет нечто схимническое. Гоголю хочется создать «плотное создание, сущное, твердое, освобожденное от излишеств и неумеренности, вполне ясное и совершенное в высокой трезвости духа». Но «плотное и сущное» создается, когда художник любит «естество», наглядность, когда он полными пригоршнями черпает из «сущного». Однако русская действительность, царство уродов отвращали писателя от этого сущного в заумный мир.

Гоголь убивал в себе художника.

Житейское претит теперь Гоголю. Он просит Аксакова, Шевырева и Погодина освободить его от практических дел, взять на себя издание книг и снабжать его необходимыми для пропитания и работы деньгами. Друзья выражают согласие. Гоголь объясняет им:

«Голова моя так странно устроена, что иногда мне вдруг нужно пронестись несколько сот верст и пролететь расстояние для того, чтоб менять одно впечатление другим, уяснить духовный взор и быть в силах обхватить и обратить в одно то, что мне нужно». (II, стр. 267.) «Мне предстоят глухие уединения, дальние отлучения». Его спрашивают, подвигается ли вперед вторая часть «Мертвых душ». Он отвечает, что это не блин, который можно испечь. «Загляни в жизнеописание сколько-нибудь знаменитого автора, или даже хотя замечательного: что ему стоила большая обдуманная вещь, которой он отдал всего себя и сколько времени заняла? *Всю жизнь ни больше, ни меньше*». (Прокоповичу, Мюнхен, 1843 год, 28 мая.) Он уже сообщает, что вторая часть даже и не написана и раньше двух

лет не появится в печати.

Надо жить внутренней жизнью; но что же такое внутренняя жизнь?

«Внутреннюю жизнь я понимаю ту жизнь, когда человек уже не идет *своими впечатлениями*, когда не идет отведывать уже известной ему жизни, но когда сквозь все видит одну пристань и берег — бога...» (Данилевскому, 1843 год, 20 июня.)

Но если так, то «внутренний человек» попадает как бы в тюрьму: он живет, не получая притока свежих впечатлений. И Гоголь все больше и больше начинает жить жизнью узника, добровольно заключившего себя в одиночную камеру. Его письма делаются монотонными. Почти совсем не вспыхивает шутка, не звучит смех. Вместо них — наставления, покаянный тон, сокрушения о грехах, молитвы, пророчества. Гоголь не поверяет больше человеческому уму: «Ум наш дрянь и не в силах даже оценить и постигнуть подобного нам человека».

Вспомнить бы тут лучшего советника, — погибшего от руки бретера:

Как эта лампада бледнеет  
Пред ясным восходом зари,  
Так ложная мудрость мерцает и тлеет,  
Пред солнцем бессмертным ума.  
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Светом лампы Гоголь заменял солнечный свет.

Жизнь, взятая сама по себе, по впечатлениям, есть презренная, пошлая, бессмысленная жизнь. Только высшая сила, только бог сообщает ему смысл и возвышает ее. Гоголь уверяет себя и других, что все события суть слова божия; надо только уметь распознавать этот смысл, читать тайные знаки, начертанные богом. Но как научиться читать эти тайные знаки, как узнать хотение божье? «Для этого нужно взглянуть разумными очами на себя и исследовать себя: какие способности, данные нам от рождения, выше и благороднее других, теми способностями мы должны работать преимущественно, и в сей работе заключено хотение бога: иначе — они не были бы нам даны». Если же на человека находит смущение, неуверенность, то это — от другой силы, это от дьявола. Дьявол соблазняет нас вести карикатурную жизнь, смеется над дружбой, распаляет похоти, вселяет уныние, привораживает к вещам.

Мысль о развитии высших способностей — превосходная во всех отношениях мысль. Смысл жизни в творчестве, при помощи лучших и

благороднейших наших способностей; но придерживаясь этой мысли не менее превосходно можно обойтись и без бога; обращение к нему, наоборот, всегда мешало самостоятельной творческой деятельности человека.

Для религиозности Гоголя характерно это ощущение господства над ним незримых, сверхъестественных сил, доходящие до суеверия. Повсюду, во всех житейских мелочах ему чудятся предзнаменования, указания, предупреждения, погибельные совращения. В этом его религиозность сильно отличается и от религиозности Достоевского, и от религиозности Толстого, Гоголь — мистик по преимуществу. Человек лежит во грехах.

«Человек — большой плут». «Человек есть ложь». Существо человека — Чичиков и Хлестаков.

Для просветления даются нам свыше болезни; при болезнях человек обращается от внешней жизни к внутренней. Слишком жестка природа человека, при болезнях она «умягчается».

Одним из главных средств для воспитания в себе внутреннего человека является молитва.

«Молитва есть восторг, — убеждает Гоголь Языкова, — Если она дошла до степени восторга, то она уже просит о том, чего бог хочет, а не том, чего мы хотим...».

«Приход бога в душу узнается по тому, когда душа почувствует иногда вдруг умиление и сладкие слезы, беспричинные слезы, происшедшие не от грусти, или беспокойства, но которые не могут изъяснить слова».

Молитва собирает силы. Человек не в состоянии сам справиться со злыми наваждениями. Молитва помогает ему в этом.

Даже болезни можно пребороть и превратить в радость с помощью свыше и молитвою.

«Ведь были такие же люди, которые страдали от жестоких болезней, но потом дошли до такого состояния, *что уже не чувствовал и болей*, а наконец дошли до такого состояния, *что уже чувствовали в то время радость, непостижимую ни для кого*». (Языкову, 1843 год, 4 ноября.)

Гоголь утверждает: несмотря на немощи и на хандру, он удостоился пережить великие, блаженные мгновения, обновляющие душу. А эти мгновения восторга и умиления он готов пережить самые тяжкие физические муки.

Гоголь просит знакомых и друзей «крепко» за него молиться, да ниспошлет ему бог творческую силу; не устает давать советы, как легче приблизиться к богу, как жить внутренним опытом. Своим наставлениям, своим словам он придает могущественное, сверхъестественное значение.

Это ничего, что сам он еще «не готов» поучать других. «Когда даешь советы, делается самому стыдно: видишь, что все это надо предъявить прежде всего к самому себе, дело кончается собственным исправлением».

Он старается выработать ряд правил:

«Уходить в себя мы можем среди всех препятствий и волнений». Полезно каждый день, хотя бы один час отдавать себе. Гоголь приобретает, выписывает поучения святых отцов, «Подражание Христу» и т. д.; хорошо, если Шевырев начнет вести о нем дневник, записывая каждое «неудовольствие им»; пусть побольше упрекает его в недостатках и мерзостях. Надо, однако, прибавить: о своих «мерзостях» Гоголь сообщает лишь в самых общих выражениях, изобличая в них своих друзей и знакомых с подробностями и очень настойчиво.

Все это заслуживает внимания в первую очередь потому, что вводит во внутренний мир Гоголя и знакомит с его тогдашним душевным состоянием. «Сущное», однако, врывается иногда совсем неожиданно. Так, письмо к Данилевскому с наставлениями о боге, о душевном врачевании переходит в советы относительно врачеваний телесных:

«В случае, если тебя одолевают подчас запоры, употреби средство Коппа: из добрых зерен смолоть муку и все так, как есть, не очищая, с шелухой совсем превратить в тесто...» (II. стр. 324.) Очень помогает.

«Сущное» имеет большое значение и для душевных упражнений: для них лучше всего выбирать время прямо после «кофею», или чая, «чтобы и самый аппетит не отвлекал вас». Словом для души иногда следует полностью «ублажить» «мамону»: Петух, вероятно, с большей готовностью согласился бы с таким путем спасти свою душу: «И водки можно выпить, и правосудие можно соблюсти...»

...Под влиянием мистических состояний Гоголь, по словам Анненкова, в последней половине 1843 года уничтожает рукописи второго тома «Мертвых душ», или совершенно их переделывает, что равносильно их уничтожению. Жуковскому Гоголь сообщает, что он продолжает набрасывать на бумагу «хаос» и что ему открываются тайны, которые дотоле не слышала его душа.

Несколько раньше он пишет Плетневу:

«Теперь мне всякую минуту становится понятней, отчего может умереть с голода художник, тогда как кажется, что он может набрать большие деньги... Сочинения мои тесно связаны с духовным образованием меня самого и такое мне нужно до того время вынести внутреннее, сильное воспитание душевное, глубокое воспитание, что нельзя и надеяться на скорое появление моих новых сочинений». (II, 345 стр.)



Он признается ему, что у него есть странности: это оттого, что он занят своим «внутренним хозяйством». Между прочим, как любит Гоголь «вещественные» выражения даже и в тех случаях, когда речь идет о самом духовном и душевном!

Гоголь твердо верит в спасительность путешествий и из Рима выезжает в Гастейн, в Мюнхен, в Эмс, в Баден, Дюссельдорф, в Ниццу. Жалуясь на недуги, пробует разные способы лечения.

Все теснее сближается с А. О. Смирновой, с Виельгорскими, Соллогубами, с Шереметьевой, а из мужчин с поэтом Языковым, художником Ивановым и несколько позже с графом А. Толстым<sup>[31]</sup>. Сближения эти, по уверениям Шенрока, носят интимный характер на почве нравственного усовершенствования. С. Т. Аксаков, однако, утверждает, что Гоголь был равнодушен к умной и блестящей Смирновой. Однажды она ему заметила: «Послушайте, вы влюблены в меня». Гоголь рассердился, убежал и три дня не ходил к ней. Соллогуб же рассказывает, что одна из Виельгорских, Анна Михайловна, была «кажется единственная женщина, в которую влюблен Гоголь». Говорят, он изобразил ее в Улиньке.

Пора остановиться на отношениях Гоголя к Женщине. В биографии Гоголя это едва ли не самое темное место. Скрытый вообще, Гоголь с особой тщательностью оберегал от других свои отношения к женщине. Много помыслов, чувств, может быть, пламенных, страстных, ведомых только ему одному, похоронил в себе Гоголь. О них мы можем только строить догадки. К нему с полным правом следует отнести его собственные слова из одного письма:

«Много, слишком много времени нужно для того, чтобы узнать человека и полюбить его, и не всякому послан дар узнавать вдруг. Сколько было людей обманувшихся! А сколько, может быть исчезло с лица земли таких, которые таили в душе прекрасные чувства, но они не знали как их высказать; на их лицах не выражались эти чувства, и жребий их был умереть неузнанными». (Вена, 1840 год, 25 июня.)

Гоголь остался холостяком. Неизвестна ни одна женщина, с которой бы он сходился. На его связь с женщиной никто не указывал из современников и современниц. Странности и неясности в этом подали повод одним считать его бесполом, другим — онанистом и т. д.

В. В. Розанов писал: «Интересна половая загадка Гоголя. Ни в каком случае она не заключалась в он..., как все предполагают (разговоры.) Но в чем? Он, бесспорно, «не знал женщин», то есть у него не было физического аппетита к ним. Что же было?»

Поразительна яркость кисти везде, где он говорит о покойниках.

««Красавица» (колдунья) в гробу», — как сейчас видишь. «Мертвецы поднимающиеся из могил», которых видят Бурульбаш с Катериною, — поразительны, то же — утопленница Ганна. Везде покойник у него живет удвоенной жизнью, покойник — нигде не «мертв», тогда как живые люди удивительно мертвы. Это — куклы, схемы, аллегории пороков. Напротив, покойники — и Ганна, и колдунья, прекрасны и удивительно интересны. Это — «уж не Собакевичи-с». Я и думаю, что половая тайна Гоголя находилась где-то тут, в «прекрасном упокоенном мире»... Поразительно, что ведь ни одного мужского покойника он не описал, точно мужчины не умирают... Он вывел целый пансион покойниц, а не старух (ни одной), а все молоденьких и хорошеньких». («Опавшие листья», короб второй, стр. 155–157.)

В самом деле, молоденьких покойниц у Гоголя немало, но еще больше у него женщин-ведьм. Ведьма-красавица-панночка в «Вии», ведьма — мать-мачеха в «Майской ночи», ведьма — «прекрасная» Солоха, что-то ведьмовское у Хиври; в «Пропавшей грамоте» деда водят за нос — тоже ведьмы; ведьма помогает Басаврюку в ночь на Ивана Купала опутать Петруся. «Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, все — ведьмы», утверждает бурсак-философ. Ведьмовское, колдовское что-то в Оксане, в полячке-красавице. Ведьмы, пожалуй, лучше и вернее разрешают половую загадку Гоголя, чем утопленницы и мертвые красавицы, олицетворяющие у него больную и обольстительную мечту.

Гоголь не был бесполом или лишенным физиологических побуждений. Скорее наоборот, он подходил к женщине порою даже слишком физиологически. Обычно женщина изображается Гоголем только с внешней, с физической стороны; мраморный цвет кожи, черные очи, черные брови, лилейный плечи, серебрянная грудь, розовые губы. У Анунциаты — густая смоль волос, сияющий снег лица, сверкающая шея, она гибка, как пантера. Даже Улинька, образ наиболее одухотворенный у Гоголя, обрисована только внешними чертами. Для «духовного» ее изображения у него нашлось одно средство — легкость и «соотношение частей».

«Прямая и легкая как стрела, она как бы возвышалась над всеми своим ростом. Но это было обольщение. Она была вовсе не высокого роста. Происходило это от необыкновенно согласованного соотношения между собою всей частей тела. Платье сидело на ней так, что казалось, лучшие швеи совещались между собой, как бы получше убрать ее. Но это было также обольщение. Оделась она как будто сама собой...»

Такие изображения не передают наглядно никаких душевных свойств.

Внешность и *физиологичность изображений* женщин у Гоголя оттеняется с особой силой, если его манеру сравнить с манерой Тургенева и особенно с Л. Н. Толстого; Наташа Ростова, Мари, Анна Каренина, Кити, так и светится внутренним светом.

Любовные сцены тоже физиологичны, — например, сцены ухаживания дьяка за Солохой, поповича за Хиврей; таковы видения Хомя Брута, любовь Андрия и т. д. Словом, судя по художественной манере, «физиологический аппетит» был во всяком случае у Гоголя значительным, что вполне соответствует «вещественному» характеру его творчества.

Подтверждается это и другими свидетельствами. Переписка Гоголя порою изобилует непечатными и грубыми выражениями сексуального свойства. Современники Гоголя передают, что в молодости он любил «скоромные анекдоты». Любил он их и позже. Ф. В. Чижов, будучи с Гоголем в Риме в 1843–1844 годах передает: «сходились обычно у Языкова. Приходил живописец Иванов с каштанами. Появлялась бутылка вина. Большею часть содержанием разговоров Гоголя были анекдоты, почти всегда довольно сальные». Это было время, когда Гоголь усиленно занимался по его выражению, устройством своего духовного хозяйства. Кулиш утверждает, что у Максимовича хранились цинические песни, собранные Гоголем. Выше приводилось признание Гоголя в одном из писем, что поддайся он своим страстям, пламя в одно мгновение превратило бы его в прах и только твердая воля отводит его от пропасти.

Все это подтверждает догадку о наличии у Гоголя «физиологического аппетита», причем этот аппетит находился в сложной связи с его мистицизмом.

Повышенное половое чувство, по-видимому, совпадало с периодами общей обостренной чувствительности. Но эти периоды у Гоголя сменялись упадками сил, равнодушием, «хладностью», мертвенностью. Физиологический аппетит тоже уступал место безразличию и даже отвращению к женщине. «Твердая воля», крепнувшее с годами убеждение в Гоголе, что всякая «вещественность» и особенно любовь к женщине греховны, еще сильнее угашали «физиологический аппетит». Тогда казалось: все женщины, — ведьмы, знают с нечистой силой, порочны, лишены духовной красоты; тогда гоголевское перо в изображении любви делалось вымученным, бессильным, шаблонным.

«Скажи мне еще одно слово! — сказал Андрий и взял ее за атласную руку. Сверкающий огонь пробежал по жилам его от сего прикосновения, и жал он руку, лежавшую бесчувственно в руке его...

...Бросила прочь она от себя платок, отдернула належавшие на очи

длинные волосы косы своей и вся разлилася в жалостных речах...»

Вся эта сцена едва ли не самая слабая в повести. В посредственных, давным давно и законно забытых романах того времени, «он» и «она» изъяснялись нисколько не хуже: те же штампованные сверхпатетические речи, тот же сверкающий огонь, та же бесчувственная рука, те же заученные жесты.

Итак, Гоголь совмещал в себе сильный, даже оголенный «физиологический аппетит» к женщине и холодность, переходящую даже в отвращение; эти периоды соответствовали общей болезненно повышенной чувствительности и такому же болезненному упадку сил, причем, подобно бурсаку Бруту, психическое и телесное возбуждение у него не совпадали, оттого он изображал женщин либо только со стороны внешней, либо они являлись у него воплощением болезненной мечты (утопленницы), идеи (Уленьки), красоты (Анунциата), воплощением, однако, лишенным подлинной духовности, и очень отвлеченным.

В отношении к женщине обнаруживалась тоже двойственная натура Гоголя.

Но эти психо-физические его особенности наполнялись конкретным социальным содержанием, обостряли их, а следовательно, и определяли их направление. Женщина-соблазнительница. Она разжигает низменные похоти, требует себе черевиков, утвари, платьев, погремушек, мебели, удобств, достатка, развивает корысть, стяжательство, заставляет быть взяточниками, плутами, заполняет жизнь мелочами. Нежный и податливый Андрий из-за женщины забыл казацкое товарищество, стал изменником отчизны. Такою женщину делает собственность. Преобладают Солохи, Хиври, Агафьи Тихоновны, Анны Андреевны, дамы просто приятные, дамы приятные во всех отношениях; они у Гоголя — живые, живописные, в то время как Улинька, Анунциата, — тени, холодный мрамор.

Возможно ли нормально, по здоровому относится ко всем этим искаженным человеческим образам, похотливым, себялюбивым сплетницам и искательницам мужей потолще и чиными? Ни толщины, ни чинов у писателя не было и в помине, но был смех, едкий, и отточенный, всевидящий и всечувствовавший. Гоголю было над чем посмеяться в женщинах-дворянках, чиновницах, и купчихах. Смех же убивает. Смех убивает тех, над кем смеются, но он и убивает того, кто смеется. В запорожскую сечь женщины и допускались. Но творчество тоже своеобразная Запорожская сечь. Творчество требует отваги, воинских доблестей, неукротимости, подвижничества, отречения от мелкого дрязга. Творчество было жизнью Гоголя, высшим ее смыслом. Может быть, ни у

кого из русских писателей не потребовало оно такого физического, нравственного и умственного напряжения сил, как у Гоголя. Поистине он был великим мучеником и страстотерпцем художественного слова. Огромна была его творческая работа и велики силы требовались для выполнения ее. Многое при нем он в жертву своему творчеству: радость жизни, досуг, друзей, здоровье: он отдал ему также и женщину. «Физиологический аппетит» переводился на другое, на искусство, на работу воображения. Если борцам, танцовщицам приходится соблюдать половую умеренность, то насколько же это было более необходимо писателю, который писал не кончиком пера, а каждым своим фибром, кровью и лучшими соками нервов своих; а ведь он был истинный творец, гений-созидатель, не натуралист, не рисовальщик-бытовик.

Воля и целеустремленность у Гоголя были гигантские. Он сумел стать в отношении к женщине аскетом, по-видимому, гораздо раньше, чем сделался аскетом вообще. Жизнь и женщиной, с женой его круга, кроме всего прочего, была не по Гоголю. Он все время находился в дороге, в переездах, сплошь и рядом не имел своего пристанища, перебивался подачками, зависел от издателей, цензоров, и сиятельных ослов. И Гоголь принудил себя вести целомудренную жизнь. Это отмечают Анненков и другие его современники. Отказ от женщины обошелся ему дорого. Его болезнь, очевидно отчасти связана с его половым воздержанием. В одном из писем Шевыреву Гоголь бросает такую любопытную обмолвку по поводу Константина Аксакова:

«И в физическом, и в нравственном отношении он остался девственником. Как в физическом, если человек, достигнув тридцати лет, не женился, то делается болен, так и в нравственном. Для него даже лучше бы было, если бы он в молодости своей... (непечатное слово.) Но воздержание во всех рассеяниях жизни и плоти устремило все силы у него к духу. Он должен был неминуемо сделаться фанатиком». (III том, 1845 год, 20 ноября.)

Эти слова с полным основанием должны быть отнесены и к самому Гоголю.

Сходиться с женщиной впоследствии мешали и болезни, А. П. Толстому Гоголь писал:

«Тем, которые ездят на воды, не следует вступать в брак, а лучше бы подумать о том, как служить богу, предоставляя браки тем, которые здоровы и *еще годятся на расплод*». (IV, 74 стр.) Из этих слов можно сделать заключение, что Гоголь уже «на расплод» не годился.

Перед смертью Гоголь признавался доктору Тарасенкову, что греху

Онона он не был подвержен и потребности в женщине давно не ощущал.

«Милая чувственность» была преоборена самым вещественным писателем. Но она прорывалась и в жизни и в творчестве: в склонности к циничным песням, к «скоромным анекдотам», к непечатным выражениям. Наряду с осуждением женщины как ведьмы, жадной до денег и имущества, у Гоголя есть бесспорные излишества в изображении ее физических свойств: облачных персей, выпуклых, упругих ног, пływучих линий спины: молодому Гоголю кажется сладострастным небесный купол; сладострастно изгибается река Псел, сладострастно подьмется купол собора и нечто обольстительное есть даже в мертвой красоте утопленниц, панночки-ведьмы.

Естественные отношения мужчины к женщине Гоголю пришлось заменить отношениями «идеальными»: дружбой, привязанностью, любовью «брата и сестры» во Христе; пришлось довольствоваться властью художника, проповедника, — как в том он признавался сам, — сознанием, что женщина красивая, умная, принадлежащая к избранному кругу, покорно выслушивает его поучения, восхищается его произведениями, исполняет поручения.

Сближение Гоголя с высшим женским кругом совпадает с упадком его творческой деятельности и с усилением в нем религиозных настроений. Все это, однако, не мешало Гоголю очень настойчиво, расчетливо и ловко использовать великосветские связи с женщинами для своих практических целей. Со своей стороны эти женщины относились к Гоголю с восхищением, как к писателю, но считали его ниже себя. Когда одной из них, Анне Михайловне Виельгорской, впоследствии Гоголь сделал предложение, он получил отказ; его предложение даже сочли обидой; он был «не ихнего круга», захудалый дворянин, бедняк, какой-то «сочинитель». «Брат во Христе» не должен был переступить сословного порога; каждый сверчок, знай свой шесток. Гоголь и здесь внутренне оставался одиноким.

Продолжая свое «душевное дело», Гоголь ищет путей к ближнему, жаждет совершать добрые поступки. Дается это ему нелегко.

«Скажу вам о себе, — признается он матери, — что до сих пор мне не удалось ни одного полезного дела сделать, не принудив прежде к тому, себя насильно.» (Франкфурт, 1844 год, 12 июня.)

К полезным делам побуждает страх возмездия.

«Если бы увидел простой человек.... какое наказание страшное ожидает его за это в будущей жизни, — нет, он бы, наконец, смягчился»

(там же.)

Гоголь настроен до крайности тревожно. А. О. Смирнова вспоминает: «Гоголь был очень нервен и боялся грозы. Раз как-то в Ницце, кажется, он читал мне отрывки из второй и третьей части «Мертвых душ», а это было нелегко упротить его сделать... Я вся обратилась в слух. Дело шло об Улиньке, бывшей уже замужем за Тентетниковым. Удивительно было описано их счастье, взаимное отношение и воздействие одного на другого... Тогда был жаркий день, становилось душно. Гоголь делался беспокоен и вдруг захлопнул тетрадь. Почти одновременно с этим послышался первый удар грома, и разразилась страшная гроза. Нельзя себе представить, что стало с Гоголем: он трясся всем телом и весь потупился. После грозы он боялся идти один домой. Виельгорский взял его под руку и отвел. Когда после, я приставала к нему, чтобы он вновь прочел и дочитал начатое, он отговаривался и замечал: «Сам бог не хотел, чтобы я читал, что еще не окончено и не получило внутреннего моего одобрения».

Материальные неурядицы тоже продолжали беспокоить. Предпринятое в Петербурге под наблюдением Прокоповича издание в четырех томах собрания сочинений обошлось очень дорого и пока не доставляло никаких доходов. При всей своей добросовестности Прокопович не сумел поставить издания. Типография тайком отпечатала для себя значительное количество лишних по сравнению с установленным тиражом экземпляров и перепродавала их книготорговцам, что задерживало расхождение издания.

Отношение с московскими и петербургскими друзьями-славянофилами в свою очередь значительно ухудшилось. Гоголь вообще нередко вел себя с ними заносчиво и кичливо, позволял себе ломаться. Панаев рассказывает, что в бытность свою в Москве в 1840 году Гоголь принимал, как должное, наивные и до смешного благоговейные ухаживания за ним Аксаковых:

Перед его прибором, за обедом стояло не простое, а розовое стекло: с него начинали подавать кушанье; ему подносили макарены для пробы, которые он не совсем одобрил и стал мешать и посыпать сыром. После обеда он развалился на диване Сергея Тимофеевича и через несколько минут стал опускать голову и закрывать глаза — в самом ли деле начинал дремать, или притворялся дремлющим... В комнате мгновенно все смолкло... Константин Аксаков едва переводя дыхание, ходил кругом кабинета, и при чьем-нибудь малейшем движении или слове повторял шепотом и махая руками: «Тсс! Тсс! Николай Васильевич засыпает!» Об обещанном чтении он перед обедом не говорил ни слова... Наконец, Гоголь

зевнул громко. Константин Аксаков при этом заглянул в щелку двери и, видя, что он открыл глаза, вошел в кабинет. Мы все последовали за ним. — «Кажется, я вздремнул немного? — спросил Гоголь, зевая и посматривая на нас...» Гоголя стали уговаривать почитать. «Я сегодня, право, не имею расположения к чтению». Его долго упрашивали, пока он дал согласие. Чтение вызвало всеобщий восторг»<sup>[32]</sup>.

Так ведут себя обыкновенно люди, нечаянно попавшие из грязи в князи. Подобные кривлянья уже сами по себе оставляли в друзьях и поклонниках Гоголя тяжелый осадок. С годами у некоторых из них этот осадок увеличивался. Московские и петербургские славянофилы с опасением следили за новым связями Гоголя в высшем свете, считая их для него крайне вредными. С. Т. Аксаков полагал, что знакомство Гоголя в А. П. Толстым, носившим впоследствии, по слухам, вериги, губительно для него. Мистицизма Гоголя Аксаков тоже не одобрял. Оправдываясь, Гоголь отвечал ему:

«О себе скажу Вам вообще, что моя природа совсем не мистическая... Но внутренно я не изменялся никогда в главных моих положениях. С двенадцатилетнего, может быть, возраста, я иду тою же дорогою, как и ныне, не шатаясь, и не колебаясь никогда во мнениях главных, не переходил из одного положения в другое». (С. Т. Аксаков, 1844 год, 16 мая.)

Гоголь, действительно, шел одной дорогой, но в природе его было много мистического и с годами это чувство в нем усиливалось, что его друзья, люди верующие, но далекие от мистики, отмечали со скорбным чувством и отчуждением.

Многие из друзей, по словам самого же Гоголя, упрекали его в скрытности, в двойственности. Плетнев прямо писал ему:

«Что такое ты? Как человек — существо скрытое, надменное, недоверчивое, и всем жертвующее для славы...»

Оскорбляли поучения Гоголя, попреки, наставления, обличения в себялюбии, в служении дьяволу, маммоне, причем сам Гоголь несколько не стеснялся нагружать своих друзей и знакомых житейскими поручениями хозяйственного и денежного свойства, требующими больших и мелочных хлопот, времени, труда, — был требователен, писал жесткие письма, настаивал на полной отчетности, не отличаясь со своей стороны ни постоянством, ни готовностью помогать другим в делах обиходных.

Когда разные недоразумения, вызванные изданием его собраний сочинений, умножились, Гоголь объявил, что он сам произвел путаницу и за это наказывает себя лишением денег, следуемых за книги. Эти деньги Плетнев, Аксаков и Шевырев должны обратить в помощь бедным



студентам, начинающим талантам, причем имя жертвователя пусть сохраняется в строжайшей тайне. Шевырев ответил, что считает распоряжение несправедливым: Гоголь еще не уплатил долга С. Аксакову, который сильно в то время нуждался. А. О. Смирнова тоже указала Гоголю, что у него на руках старая мать и сестры. Обиженный Гоголь остался непреклонным.

Если московские и петербургские славянофилы были недовольны Гоголем, то и он тоже переживал к ним охлаждение. Он полагал, что его друзья слишком заняты групповыми интересами:

«Жертвовать мне временем и трудами своими для поддержания их любимых идей было невозможно, потому-что я, во-первых, не вполне разделял их мысли, — во-вторых, мне нужно было чем-нибудь поддержать бедное свое существование, — и я не мог пожертвовать им моими статьями» (А. О. Смирновой, II, 547 стр.) В «Выбранных местах» Гоголь заявил, что обе стороны, «славянисты и европейцы», говорят много дичи; хотя правды больше на стороне славянистов и восточников, но у них больше кичливости, они хвастуны.

Расхождения между славянофилами и Гоголем несомненно были серьезны. Гоголь-проповедник отражал чувства и мысли мелко-и среднепоместного крепостного дворянства, гибнувшего в условиях «мануфактурного века». Эти чувства и мысли находили свое выражение в реакционном утопизме, в обращении к прошлому, в мистицизме, в обреченности. С другой стороны Гоголя-художника недаром поднял на щит Белинский, а позже Чернышевский: они сделали из его произведений только последовательные выводы, от которых старался уйти Гоголь. Славянофилы отражали интересы средне-и крупнопоместного крепостничества, *пытавшегося приспособить свои усадьбы к новым капиталистическим условиям с явным перевесом в сторону этого крепостнического хозяйства*. Отсюда наряду с отстаиванием самобытности России, общины, «начал», «устоев», православия, самодержавия, народности — убеждение, что при николаевских порядках удачно и выгодно приспособить крепостное хозяйство к капитализму невозможно; поэтому эти порядки они часто осуждали. Некоторые из славянофилов, например Иван Сергеевич Аксаков, выставляли либерально-буржуазные лозунги, настаивали на свободе совести, на упразднении сословных преимуществ. В архивах цензора Никитенки впоследствии были обнаружены стихи, принадлежащие Хомякову и его друзьям (1855 г.):

Я видел дикий «свод законов»

И души подлые судей.  
Я слышал стоны миллионов  
И вопль обиженных семей.  
Я зрел позор моей отчизны,  
Я слышал гром ее цепей,  
И ужас этой рабской жизни  
Все возмутил в душе моей.  
И я поник главой мятежной  
И думал: «Русь, как ты грустна,  
Ужель еще есть на вселенной  
Такая жалкая страна?!»

Надеясь безболезненно сохранить крепостное хозяйство и при капитализме, славянофилы не были склонны к мистицизму, аскетизма, к обреченности; они полагали, что еще не все потеряно и можно найти выход. Поэтому «душевное дело» Гоголя было им во многом чуждо. Им претила возраставшая с годами реакционность Гоголя, его стремления проникнуть в высший свет, заискивания перед графами и графинями, министрами и высшими сановниками. Но им много было чуждого и в его художественных произведениях. Восторгаясь ими, многие из славянофилов не могли освободиться от двойного чувства, которое они испытывали читая эти произведения: московским друзьям казалось, что эти вещи слишком мрачны, безысходны, однобоки, лишены «начал» и «устоев», едки, берут «предмет в полобхвата».

Разноречия общественного порядка углублялись личными свойствами Гоголя и его приятелей. О некоторых из этих свойств уже упоминалось. Прибавим, что в распри с Погодиным некоторое значение имело напечатание в «Москвитянине» портрета Гоголя без его предварительного разрешения. Гоголь питал к своим портретам мистическое чувство, и, объясняя, почему нельзя было печатать его портрета, в конце концов заявил, что он не может, не умеет как следует объяснить этого, нужно из глубины души подымать такую историю, какую не впишешь и на многих страницах. Невольно опять вспоминаются суеверия первобытных людей, полагавших, что с портретом от человека отнимается нечто живое.

Погодин в свою очередь был недоволен Гоголем за то, что он не давал в его «Москвитянин» своих художественных произведений и статей. Отрицательно влияли на Гоголя также распри и дразги между петербургскими и московскими кружками; каждый из них тянул Гоголя в

свою сторону.

Мистические настроения отразились и на мнениях Гоголя о России. Теперь он пишет о ней с христианским умилением и патриотической восторженностью.

...В начале 1845 года Гоголь выезжает в Париж повидаться с Виельгорскими и с Толстым. Париж опять пришелся ему не по духу: время проходит бестолково, кругом вонь, Виельгорские ведут рассеянную светскую жизнь.

Анненков, встретивший Николая Васильевича в Париже, рассказывает: «Гоголь постарел, но приобрел особенного рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвать красотой мыслящего человека. Лицо его побледнело, осунулось; глубокая, томительная работа мысли положила на нем ясную печать истощения и усталости... Это было лицо философа». (Стр. 149.)

Усиливаются болезненные состояния. Анне Михайловне Виельгорской Гоголь признается, что пошел прощаться с Лазаревыми, но забылся, шел куда-то автоматически, опомнился дома. Для занятий не хватает сил, благодать божия не осеняет. Из Франкфурта он пишет Толстому: высок подвиг того, что не получая благодать, не отстает от бога и «выносит крест, тягчайший всех крестов — крест черствости душевной».

Порою Гоголю уже кажется, что время уступить место живущим. Унынье, тоска, немощь. «Сверх исхудания необыкновенного — боль во всем теле! Тело мое дошло до страшных охлаждений; ни днем, ни ночью я ничем не мог согреться. Лицо мое все пожелтело, а руки распухли и почернели и были ничем не согреваемый лед». (Т. III, стр. 35.)

Все чаще Гоголю приходит мысль о поездке в Иерусалим.

«Боюсь страшного одиночества, которое теперь для меня опаснее всего». Упадок сил такой, что трудно даже написать письмо.

Жил Гоголь в то время подачками, займами. По представлению министра народного просвещения Уварова, Николай «пожаловал» Гоголю трехгодичную пенсию по тысяче рублей серебром. А. О. Смирнова сообщает: на просьбы о помощи Гоголю царь сначала ответил: «Вы знаете, что пенсии назначаются капитальным трудам, а я не знаю, достаивается ли повесть «Тарантас». Я заметила, что «Тарантас» сочинение Соллогуба, а «Мертвые души» — большой роман». («Автобиография».)

Когда Смирнова объявила «монаршее благоволение» шефу жандармов Орлову, тот спросил: «Что это за Гоголь?» — «Стыдитесь, граф, что вы русский и не знаете, кто такой Гоголь». — «Что за охота вам хлопотать об этих голых поэтах!» — ответил беспечно и небрежно голубой мундир.

«Голый поэт» приблизительно в это время пишет однострочную записку протоиерею Базарову:

«Приезжайте ко мне причастить: я умираю». (III. 58.)

Он не помер. Страх смерти, страдания, физические и душевные, гонят его из города в город. Он надеется: дорога исцелит его. Но и дорога не помогает. Гоголь обращается к врачам, говееет. В Галле он советуется со знаменитостью Крукенбергом; тот находит, что все дело в нервах, предписывает морские купанья в открытом море. Не доверяя ему, больной обращается в Дрездене к Карусу, Карус выносит заключение: лечить нужно печень, необходимы карлсбадские воды. Гоголь направляется в Карлсбад. Карлсбад не помогает. В отчаянии Гоголь просит мать молиться за него в Диканьке, в церкви святого Николая. Опасаясь, что молитва матери не дойдет до бога, он напоминает ей: нужно предварительно всем простить. Приезжает в Дрезден на прием к Шенлейну, Шенлейн находит расстройство в «нервической системе, в брюшной полости; надо жить в Риме и обтираться мокрой простыней». Сам Гоголь склоняется к мнению Призница, что много болезней происходит от излишнего обременения желудка слишком питательной пищей, изнуряющей тело обилием соков; нужно равновесие в занятиях сил физических и умственных, для чего полезно пилить дрова, копать землю и находиться побольше на воздухе. Переезды-метания, хождения по приемным знаменитых врачей, просьбы молиться, разные виды лечения производят тягостное впечатление.

К лету 1845 года относят второе истребление «Мертвых душ». В «Переписке с друзьями» Гоголь по этому поводу писал:

«Затем сожжен второй том «Мертвых душ», что так было нужно. «Не оживет, аще не умрет», говорит апостол... Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясением, где было много такого, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда видя пред собою смерть мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь обо мне лучше напоминающее. Благодарю бога, что дал мне силу это сделать. Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде...»

Далее Гоголь поясняет, почему пришлось сжечь работу. Недостаточно вывести несколько прекрасных характеров. Это возбудит одну пустую гордость и хвастовство. *«Бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и*

слабо развито во втором томе «Мертвых душ», а оно должно быть едва ли не главное».

Гоголь искал путей к положительному и прекрасному до «душевного потрясения и сокрушения».

Лечение в Грефферберге холодной водой как-будто несколько укрепило его здоровье. Осенью он переехал в Рим. Однако и здесь он продолжает чувствовать себя очень худо.

«Я зябну, и зябну, — сообщает он Смирновой, — и зябкость увеличивается чем далее, более, а что хуже — вместе с нею необыкновенная лень всяких желудочных и вообще телесных отправлений. Существование мое как-то странно. Я должен бегать и не сидеть на месте, чтобы согреться. Едва успею согреться, как уже вновь остываю, а между тем бегать становится труднее и труднее, потому, что начинают пухнуть ноги, или лучше — жилы на ногах. От этого едва выбирается из всего дня один час, который бы можно отдать занятиям». (III, 139.)

Доктор Баженов в своей монографии о болезни Гоголя утверждает, что он был подвержен припадкам малярии.

Плетневу Гоголь жалуется на невыносимые состояния, от которых повеситься и утопиться казалось бы лекарством. Одна надежда на бога. Его совсем не занимает литература, его занимает душа. Только выстрадавшись он сможет по настоящему написать «Мертвые души». Все же он работает над поэмой и даже намерен кое-что прочитать Жуковскому. Мысли о поездке в Иерусалим делаются все более настойчивыми. Припадки хандры, необыкновенной зябкости сменяются моментами подъема, восторга; за них, продолжает уверять Гоголь, он готов перенести самые страшные муки.

В это время Гоголь укрепляется в мыслях издать выбранные места из переписки с друзьями. Он обращается к ним с просьбами беречь и возвращать ему его письма; из них может составиться книга, «полезная людям страждущим на разных поприщах».

Житейских дел, однако, Гоголь не забывает. Он продолжает наставлять мать и сестер, как лучше вести хозяйство, журит их за неаккуратное счетоводство, настаивает на подведении годовых итогов, тщательно проверяет эти итоги. Нельзя полагаться ни на чьи рассказы, нужно во все вникать самим; выбирать приказчика следует самим, и такого, на котором мужики не сумели бы ездить верхом, но чтобы он сам умел повелевать, приказывать и изворачиваться молодцом.

В одном из писем А. М. Виельгорской Гоголь отмечает автора «Бедных людей».

«Виден талант; выбор предметов говорит в пользу его качества душевных; но видно также, что он молод. Много еще говорливости и мало сосредоточенности в себе». (III, 184.)

Несмотря на недуги, Гоголь приступает к усиленной работе над «Выбранными местами». В издании этой книги много повинны его мистически настроенные великосветские друзья. Именно они убеждали Гоголя, что его письма, нравоучения, советы могущественного и благотворно действуют на них; эти нравоучения приходят как нельзя более кстати, успокаивают и вразумляют, обновляют душу, настраивают на высокие помыслы, являются откровением; даже упреки его приятны; его слова вызывают на исповедь. «Горячими слезами облил я письмо твое, любезный друг!» — уверяет один из таких высокопоставленных поклонников Гоголя. — «Благодарю, благодарю тебя за твое благодеяние. И всякий раз плачу, как его перечитываю»<sup>[33]</sup>.

Немудрено, что Гоголь и сам стал думать, будто его проповеди в письмах спасут Россию и человечество от многих заблуждений и пороков. Он уже рассчитывает, что новая книга его разойдется быстрее, чем все его сочинения, потому что это единственно дельная книга. В конце июля 1846 года Плетнев получает первую тетрадь «Переписки» для издания. Гоголь спешит, работая не покладая рук. Тетради следуют одна за другой. Гоголь просит Плетнева исправлять ошибки в слог: «У меня и всегда слог бывал не щегольский, даже и в более отработанных вещах, а тем пуще в таких письмах, которые вначале вовсе не готовились к печати». (III, стр. 260.)

Шевыреву он в октябре посылает предисловие ко второму изданию «Мертвых душ», тоже упрашивая его исправлять слог и выражая пожелание, чтобы поэма вышла не раньше «Переписки». Вслед за предисловием ему же посылается «Ревизор с развязкой, издание четвертое, пополненное в пользу бедных». По мысли Гоголя Щепкин будет играть «Ревизора», после спектакля артисты должны из своих рук продавать со сцены книгу. В письме к Сосницкому Гоголь уверяет, что тот после «пополнения» другими глазами взглянет на комедию.

И верно, «Развязка» даже на близких друзей Гоголя таила в себе много неожиданного. В ней автор дает «ключ» к комедии. Гоголь убеждает, что комедию надо понимать иносказательно: — город это не вещественный город, а душевный. Ревизор — наша проснувшаяся совесть; плуты и казнокрады — наши страсти; казна — это казна собственной души; Хлестаков — ветрянная светская совесть. Ее подкупают наши страсти. Все надо понимать «в духовном смысле». Гоголь отказывался от реализма в пользу отвлеченной аллегории-символа. Отказ вызывался всем его

настроением.

Новое разъяснение вызвало со стороны друзей Гоголя резкий отпор. С. Т. Аксаков спрашивал Гоголя:

«Скажите мне ради бога, положи руку на сердце, неужели ваши объяснения «Ревизора» искренни?.. Неужели вы, испугавшись нелепых толкований невежд и дураков, сами святотатственно посягаете на искажение своих живых творческих созданий, называя их аллегорическими лицами? Неужели вы не видите, что аллегория внутреннего города не льнет к ним, как горох к стене; что название Хлестакова светской совестью не имеет смысла, ибо принятие Хлестакова за «Ревизора» есть случайность?»...

В свою очередь М. Щепкин писал Гоголю:

«Я так видел много знакомого, так родного, я так свыкся с городничим, Добчинским и Бобчинским в течение десяти лет нашего сближения, что отнять их у меня и всех вообще — это было бы действие бессовестное. Чем вы их замените? Оставьте мне их, как они есть. Я их люблю, а со всеми слабостями... После меня переделывайте хоть в козлов, а до тех пор я не уступлю вам Держиморды, потому что и он мне дорог».

М. Щепкин был прав: и плут городничий, и сплетники Добчинский и Бобчинский и Держиморда по своему привлекательные, они привлекательны именно тем, что они живые люди, а не схемы и аллегории.

Несколько искренен и правдив был Гоголь, давая новый «ключ» к «Ревизору»? Гоголь не являлся простым и наивным реалистом-бытописателем. Каждый значительный реалистический образ, событие он расширял до обобщающего символа. Плюшкин, Собакевич, Чичиков, Манилов, Хлестаков помимо их реалистического значения имеют значение и символическое, выражая человеческие пороки и страсти. Создавая «Ревизора» Гоголь был не только реалистом, но и символистом. Однако и в первом томе «Мертвых душ», и в своих более ранних произведениях Гоголь по преимуществу оставался все же реалистом: действительность занимала его больше всего; символ только расширял границы его образов, углублял их, придавал им больше «вечного» смысла. Теперь Гоголь все больше и больше уходит от жизни в свое «душевное дело». В соответствии с этим у него растет потребность живые характеры, происшествия, поступки толковать только символически, лишая их реальных черт эпохи, уклада, быта, причем и самому символизму Гоголь старается придать вид отвлеченно-аллегорический. Но живописные, насквозь житейские фигуры не втискиваются в аллегорические схемы: отсюда вольные и невольные натяжки.

Хлестаков символизирует необыкновенную легкость мысли, но едва ли он символизирует светскую совесть; городничий символизирует плутовство и взяточничество крепостной России, но сомнительно, чтобы он символизировал эти пороки вообще. Гоголь неудачно пытался выхолостить из «Ревизора» его революционное, жизненное содержание. Эту неудачу, кажется, он сам скоро понял. В «Дополнении к развязке», написанном в 1847 г. и напечатанном только после смерти его, М. Щепкин предлагавший новый «ключ», разъясняет:

«Автор не давал мне ключа, я вам предлагаю свой. Автор если бы даже и имел эту мысль, то и в таком случае поступил бы дурно, *если бы ее обнаружил ясно*. Комедия тогда бы сбилась на аллегория, могла бы из нее выйти какая-нибудь бледная, нравоучительная проповедь. Нет, его дело изобразить просто ужас от беспорядков вещественных *не в идеальном городе, а в том, который на земле*».

Эти слова звучат совсем по иному: от аллегорического толкования в сущности ничего не остается.

Еще раньше протестов со стороны Аксакова и Щепкина Гоголь получил письмо от Шевырева тоже с выражением недовольства и, под влиянием его, распорядился Плетневу приостановить печатание «Ревизора с развязкой».

31 декабря 1846 года в Петербурге вышли «Выбранные места из переписки с друзьями». Гоголь в это время находился в Неаполе. Здоровье его улучшилось. Поездку в Иерусалим он решил отложить: он для нее еще не подготовлен.

По поводу выхода из печати «Переписки» Плетнев писал Гоголю:

«Вчера совершено великое дело: книга твоих писем пущена в свет. Но это дело совершит влияние свое только над избранными; прочие не найдут себе пищи в книге твоей... Все, до сих пор бывшее, мне представляется, как ученический опыт на темы, выбранные из хрестоматии. Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их на свет»<sup>[34]</sup>.

Из переписки Гоголя с Плетневым и другими друзьями в это время обращает внимание письмо, содержащее одно замечательное признание со стороны Николая Васильевича: давая по поводу скорейшего выхода «Выбранных мест» советы, отличающиеся большой практичностью, Гоголь пишет своему другу:

«Я в Петербурге так расторопно распорядился с печатанием книг своих, как не знаю, распорядится ли кто теперь из литераторов. Книгу мою я, бывало, отпечатаю в месяц тихомолком, так что появление ее бывало сюрпризом даже и для самых близких знакомых... Денежки мне,



бывало, принесут все наперед; все это, бывало, у меня тот же час записано и занесено в книгу, и сверх того весь мой книжный счет я носил всегда в голове так обстоятельно, что мог наизусть его рассказать весь. Несмотря на то, что я считаюсь в глазах многих человеком беспутным и то, что называется поэтом, живущим в каком-то тридевятом государстве, *я родился быть хозяином и даже всегда чувствовал любовь к хозяйству*, и даже, невидно от всех, приобретал весьма многие качества хозяйственные, — и даже много кое-чего украл у тебя самого, хотя этого и не показал в себе. Мне следовало до времени, бросивши всю житейскую заботу, поработать внутренно над тем хозяйством, которое прежде всего должен устроить человек и без которого не пойдут никакие житейские заботы. Но теперь, слава богу, самое трудное устроится; теперь могу приняться и за житейские заботы и, может быть, с таким успехом займусь и ими, что даже изумишься, откуда взялся во мне такой положительный и обстоятельный человек». (III, 289.)

Плетнев взглядов на Гоголя, будто он только — поэт, живущий в тридевятом царстве, не разделял. В одном из писем, Жуковскому он заявил:

«Гоголь не совсем предан делу истины и религии, а только высматривает, что заговорят люди о новой его штуке. Это унижительно». Действительно, Гоголь не был только поэтом и в особенности поэтом «не от мира сего», но Плетнев преувеличивал, утверждая, будто Гоголь только «высматривает». Он не учитывал все возраставшую с годами оторванность писателя от России. Этой оторванностью во многом и объясняется его жадное «высматривание». Верно то, что необыкновенная практичность Гоголя не покидала его и тогда, когда он, казалось бы, целиком был занят своим «душевым делом».

Читатель, вероятно, заметил также, что отзывы Плетнева о Гоголе не отличались ни постоянством, ни прямодушием.

## «ВЫБРАННЫЕ МЕСТА»

*Он милосерд, он сказал: «Толците и отверзется вам».*

*А покуда займись огородом.*

*(Из письма сестре Анне, 1841 год)*

От «Переписки с друзьями» остается глубокое впечатление, что автор ее одержим прежде всего страхом смерти, доведенным до отчаяния, до ужаса, до вопля. Это вопль заглушает его проповеди и наставления. Глухой, надорванный, он как бы поднимается из мрачного подземелья, из склепа, куда человек, еще живой, замурован навеки... Давно замолкнул этот крик ужаса, а все еще отдается в ушах, все еще леденит кровь и заставляет стоять в столбняке.

Страшно перед смертью, перед темной и зловещей завесой, перед возмездием.

«Страшна душевная чернота, и зачем эта видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоит пред глазами!..».

«Соотечественники! Страшно!.. Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений бога, пред которым пыль, все величие его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чужа исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, *какие страшилища от них поднимутся...*».

В мировой литературе едва ли найдутся слова, передающие с такой потрясающей силой предгробный вопль, какие содержит в себе «Переписка».

Гоголя страшит мысль, что его могут похоронить живым и он очнется уже в могиле:

«Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного омертвения, сердце и пульс переставали биться...»

Этот страх смерти усиливался благодаря другому чувству: вся «Переписка» проникнута напряженным сознанием общего неблагополучия

в жизни, неустойчивости, всеобщего очерствения и озлобления, ожесточенной борьбы и, наконец, надвигающейся социальной катастрофы. Ни у одного из писателей того времени, тем более русских, не были так обострены эти темные, вещие предчувствия, как у автора «Переписки». Они прошли через все столетие. Мы находим их у Достоевского, Толстого, Влад. Соловьева, Мережковского, Брюсова, Блока, Розанова, Андрея Белого.

И как бы удивились многие современные буржуазно-реакционные европейские мыслители и публицисты, говорящие о гибели, о закате Европы, если бы им сказали, что их откровения можно найти в «Переписке» Гоголя, написанной восемьдесят с лишним лет тому назад. Правда, эти мысли не были приведены в логическую и стройную систему, не отличались эрудицией, но зато в них была величайшая эмоциональная насыщенность. Как бы то ни было, здесь крайне важно отметить, что говоря о всеобщем неблагополучии и неустойчивости, Гоголь имел в виду не только крепостную Россию, но и капиталистическую Европу. Это важно отметить потому, что, оценивая «Переписку», у нас сплошь и рядом твердили будто великий писатель видел и чувствовал распад крепостного уклада. Нет, Гоголь не ограничивался поместным крепостным хозяйством, он и в «Переписке» не потерял своего дара и многое видел из того, что делалось за рубежом, хотя он и смотрел и на Русь и на Европу глазами реакционного утописта. По поводу «Одиссеи» в переводе Жуковского он писал:

«Именно в нынешнее время, когда таинственную волей провидения стал слышаться повсюду болезненный ропот неудовлетворения, голос неудовольствия человеческого на все, что ни на есть на свете: *на порядок вещей*, на время, на самого себя, когда всем, наконец, начинает становиться подозрительным то совершенство, в которое возвели нас наша *новейшая гражданственность и просвещение...* когда сквозь нелепые крики и опрометчивые проповедования новых, еще темно услышанных идей, слышно *какое-то всеобщее стремление стать ближе к какой-то желанной середине*, найти настоящий закон действия, как в массах, так и отдельно взятых особах — словом, в это именно время Одиссея поразит величавою патриархальностью древнего быта...».

Это писалось незадолго до бурного 1848 года. Гоголь чувствовал его приближение. Он предупреждал «соотечественников»:

«Погодите, скоро поднимутся *снизу* такие крики, именно в тех с виду благоустроенных государствах, которым наружным блеском мы так восхищаемся, что закружится голова у самых тех знаменитых

государственных людей, которыми вы так любовались в палатах и камерах. В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство, когда они вскроются, и перед ними будет ничтожная вещь те страхи, которые вам видятся в России».

Нельзя отказать Гоголю в прозорливости, большей, чем ей обладали многие из самых просвещенных его современников. Поэт, художник в качестве политического провидца опередил изрядное количество записных политических вожаков и дельцов. Он недаром путешествовал по Европе и недаром царская цензура выбросила из издания целиком статью «Страхи и ужасы России», в которой содержались эти и подобные предсказания.

Гоголь вспоминает «Египетские тьмы» Соломона:

«Слепая ночь обняла их вдруг среди бела дня; со всех сторон уставились на них ужасающие образы: дряхлые страшилища с печальными лицами стали неотразимо в глазах их; без железных цепей сковала их всех боязнь и лишила всего...».

Подтверждается, что ужас смерти, каким заболел Гоголь, зависел преимущественно от причин *общественного* порядка, и не только русских, но и международных. Образины преследовали Гоголя повсюду и Вий грозил *железным* пальцем и в Париже, и в Берлине, и в Риме. Продолжая критиковать западно-европейскую цивилизацию, Гоголь обрушивается на человеческий ум:

«Ум не есть высшая в нас способность. Его должность не больше как полицейская: он может только привести в порядок и расставить по местам все то, что у нас уже есть. Он сам не двигается вперед, покуда не двинутся в нас две другие способности, от которых он умнеет».

Эти высшие способности: разум и мудрость, но их может дать только Христос.

Отличительная черта девятнадцатого века — гордость ума: «Никогда еще не возростала она до такой силы, как в 19 веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. Все вынесет человек века: вынесет название плута, подлеца; какое хочешь дай ему название, он снесет его — и только не снесет названия дурака... Ум для него святыня...».

«Дьявол вступил уже без маски в мир». Мода, которую человек допустил, сначала как невинную мелочь, распоряжается теперь полной хозяйкой, изгоняя из человека все лучшее. Законы Христа попораны. Приличия стали сильнее «коренных постановлений».

«Уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а божьи помазники остались в стороне».

В наши дни эта мысль облечена в теории высших и низших рас.

Гоголь знает, что там, в Европе уже поговаривают: «чтобы все было общее — и дома, и земли».

Так обстоит дело на Западе! А как оно обстоит у нас в России?

В России — лучше.

«Еще нет у нас непримиримой ненависти сословия против сословия и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреодолимое к соединению людей и братской любви между ними».

Однако, распад старой России и рост взаимной борьбы и ненависти и у нас очевидны.

«Дворяне у нас между собой, как кошки с собаками; купцы между собой, как кошки с собаками; мещане между собой, как кошки с собаками; крестьяне... между собой, как кошки с собаками... Только между плутами видится что-то похожее на дружбу».

Роскошь, заморские дорогие вещи, ломбарды, «обезьяничанье» разорили поместья. Христа поместили в лазареты и больницы.

Необыкновенно разрослись казнокрадства и хищения: «Завелись такие лихоимства, которых истребить нет никаких средств человеческих».

Россия несчастна:

«Россия точно несчастна, несчастна от грабительства и неправды, которые до такой наглости еще не возносили рог свой».

Гоголь в «Переписке» выступил преимущественно как проповедник, как аскет и реакционный утопист; но он не в состоянии еще был подавить в себе художника, автора «Ревизора», «Мертвых душ». А художник обладал необыкновенным глазом и проникновением. Там, где в «Переписке» прорывается этот художник, сказано много горькой и обнаженной правды. Верно, что и Европа и Россия жили накануне «всеобщих потрясений», что повсюду верх брали торгаши, предприниматели, что мода, внешние приличия, расчетливость, конкуренция, мещанство духа, пошлость овладели всем, — что «портные, швеи, ремесленники», хотя и далеки были от того, чтобы властвовать, но уже начинали жить деятельной и общественной и политической жизнью, требуя, чтоб «земля и дома были общие». Еще более верно утверждение, что Россия в руках лихоимцев и расхитителей. Все это Гоголь видел глазами великого мастера-художника. «Ужасающие образы», «дряхлые страшилища» были до боли, до ужаса наглядны, прикипали к самому сердцу. Надо было в самом деле делать решительные выводы из этого тяжелого и правдивого отрицания, надо было всему этому противопоставить нечто положительное.

Но тут выступал проповедник, миргородский помещик, доведший себя

до аскетизма. Вывод положительный был один: надо смести с лица земли николаевскую крепостную Россию и начать борьбу рука об руку со швеями, портными и ремесленниками, чтобы «все было общее». Об этом выводе Гоголь знал лучше многих своих соотечественников, но его-то он больше всего и боялся. В старой России людям, которые не любили шутить с идеями, оставалось два пути: либо революция, либо аскетизм, «душевное дело». Когда под запретом «внешняя» общественно-политическая жизнь, когда дозволены одни лишь славословия и акафисты с разрешения начальства, тогда для многих создается благоприятная почва искать разрешения жизненных противоречий внутри себя, в душе, путем самоочищения от пороков и страстей. Это отметил еще Герцен. Гоголь всем своим прошлым, условиями жизни, личными свойствами толкался на второй путь самоочищения. И он пошел по этому пути.

Выход из тупиков, из лихоимств, из неправд — в боге. Он преобразует без внешних потрясений человеческие души: а когда все это произойдет, все устроится, восторжествует всеобщая любовь, наступит непреходящее светлое христово воскресенье, люди обнимут друг друга и волк почиет с агнцем.

Как же и где все это свершится? Совершится все это сначала в России, где нет еще непримиримой вражды сословий, где сильны патриархальные начала, православие и единодержавная власть монарха. Свершит все это русский монарх. Это высшее назначение монарха прозрели не законоведы, а русские поэты.

Высшее назначение монарха стать образом Христа. Монарх должен о всех «возболеть» духом; «рыдая и молясь и день и ночь о страждущем народе своем», государь приобретает «голос любви». От любви монарха и остальные загорятся друг к другу любовью, забудутся распри, даже у бесчувственных разорвется сердце; тогда-то и восторжествует истинное христианство. Божественная благодать от монарха перейдет к генерал-губернаторам, от них к исправникам, в народ. Не надо никаких внешних переворотов, нововведений, комитетов, прений, внутренний душевный переворот в корне изменит жизнь. Влияние на страну царя и начальников должно быть прежде всего нравственным.

Едва ли эти и подобные советы и соображения пришлись по нраву Николаю, двору, сановникам и бюрократам. Не пристало «помазнику божию», всесильному владыке, их высокопревосходительствам и сиятельствам выслушивать от чиновника восьмого класса и от «голового поэта» поучения, хотя и выраженные в почтительной форме, но как бы даже и свысока.

Не звучат ли далее, невольной насмешкой призывы сделаться образом Христа, обращенные к человеку, который воздвигнул виселицы декабристам, загнал их в цепи на каторгу, огнем и мечом подавил польское восстание, беспощадно расправился с бунтующими крестьянами, превратив Россию в казарму и в плацдарм для бравой маршировки? Ему ли, любителю нафабренных усов, голубых мундиров, аксельбантов и шпицрутенов преобразаться в образ Христа, проникаться всепрощением и неземной любовью? Как себе представить его рыдающим день и ночь? О ком рыдающем? «О страждущем народе своем»? Разве «его» народ страждет? Народ не смеет «страждать». Народ при царях только благоденствует и возносит за них умильные молитвы. Автор всех этих советов утверждал, что в книге его скрыта тайна, что книгу надо читать не раз и не два, а много раз. Не приглашал ли он читателя вдуматься в несоответствие живого царя и живых генерал-губернаторов воображаемому монарху и воображаемым генерал-губернаторам, этим будущим евангельским апостолам, хотя бы и аксельбантах.

И разве случайно двор и царская цензура отнеслась с крайним подозрением к книге, исковеркав ее и выбросив из нее ряд статей и мест? Плетнев сообщал Гоголю, что о предоставлении государю полной книги нечего и думать, и что наследник, который, возможно, показывал книгу царю, не советовал хлопотать о восстановлении ее в полном объеме. Конечно, Гоголь был покорен, был предан монархии, его советы имели в виду укрепить в России монархический строй, а не ослаблять его, но он всерьез принял «образ Христа», тогда как по его же выражению носители аксельбантов сослали Христа в лазареты и больницы. «Крайности» Гоголя правительству были не нужны; к тому же перо у него часто срывалось; получалось совсем не то, что ему хотелось сказать. Многое он умел и зашифровать.

...Если монарх и губернаторы должны быть образами Христа, то такими же должны стать и помещики. Советы Гоголя помещикам отличаются, впрочем, большей практичностью. В них он старается совместить божественное и небесное с самыми земными вожделениями, святость с наживой, аскетизм с приобретательством. Все дело в том, как сделаться богатым хозяином и хорошим, нравственным человеком. «В крестьянском быту... богатый хозяин и хороший человек — синонимы». Помещики должны убеждать крестьян, что сословия даны от бога, но тут же надо показать евангелие, а в доказательство бескорыстия следует на глазах у всех сжечь ассигнации, очевидно не все, а только для примера. Помещик должен далее внедрять мужикам в сознание, мысль, что трудясь

на него, они трудятся для бога. Пьяниц, негодяев и бездельников надо распекать и заставлять кланяться образцовым хозяевам. Учить мужика книжкам, какие издают «европейские честолубцы» не следует, лучше пусть их наставляют деревенские священники. «По настоящему ему не следует и знать, есть ли какие-нибудь другие книги, кроме святых. В результате: «Разбогатеешь ты, как крез». В этих советах есть большой смысл: кулачество в деревнях являлось самой надежной опорой помещиков.

Хозяйкам Гоголь советует: «Молись и к берегу гребись», то-есть, помолившись с утра, — надо заняться вплотную приходом и расходом по делам домашнего порядка. Копеечка счет любит. Очень полезно разложить деньги на семь куч по дням недели и вести для самовоспитания расходы по каждой отдельной кучке. «Укрепясь в деле вещественного порядка, вы укрепитесь нечувствительно в деле душевного порядка». Будущее Гоголю представляется отрадным:

«Еще пройдет десяток лет, и вы увидите, что Европа придет к вам не за покупкою пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках».

На европейских рынках и вправду мудрости не продавали, но в этих советах ее тоже не было. Странное впечатление производит эта помесь сквалыжничества, рассудительного скопидомства с мистическими и аскетическими порывами, это — евангелие и Апокалипсис вперемежку с руководством к куроводству и к обирательству мужика, попытки соединить крепостничество и кулачество с высшими запросами духа!

В мировой литературе едва ли можно найти такую странную и страшную книгу, обнажающую с предельной наглядностью крайнюю раздвоенность писателя.

Внешнее хозяйство противопоставляется внутреннему хозяйству. Все дело во внутреннем хозяйстве. Но тут же Гоголь пишет: укрепляясь в деле вещественного порядка, тем самым человек укрепляется и в делах порядка духовного. Гоголь не сводит концы с концами. Далее, если все дело во внутреннем хозяйстве, то зачем устраивать хозяйство внешнее? К чему богатеть, заниматься хлебопашеством, куроводством? Христос был в этом последовательнее, он советовал не сеять, не жать, а питаться подобно птицам небесным.

Все дело во внутреннем хозяйстве. Этот вывод ясно противоречит не только хозяйственным советам, но и всему содержанию «Мертвых душ». Гоголь чувствовал, понимал это и сокрушался. Отсюда — сознание вины, убеждение в душевной черноте. «Необдуманно, незрелыми



сочинениями» нанес он многим огорчение и вооружил против себя. Он утверждает, что в своих сочинениях он вел борьбу со своими собственными гадостями:

«По мере того, как они стали открываться, чудным высшим внушение усиливалось во мне желание избавляться от них; необыкновенным душевным событием я был наведен на то, чтобы передать их моим героям... С этих пор я стал наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моею собственною дрянью... *Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего в начале для меня самого, он бы, точно, содрогнулся*». Далее следует широко известный рассказ о том, как Пушкин, прослушав «Мертвые души» произнес с точкой: «Боже, как грустна наша Россия». «Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее *отсутствие света*. С этих пор я уже стал думать только о том, как бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести «Мертвые души».

Не опорочивая правдивости этого заявления, отметим, что в нем содержится попытка истолковать «Мертвые души», подобно «Ревизору», в аллегорическом смысле, как олицетворение личных страстей автора.

Ужас перед смертью, горькое сознание, что над человеком господствует «вещественность», что он измельчал, сделался рабом денег, моды, конкуренции, что в России царит лихоимство, неправда, и повсюду разоры, нарастание противоречий, — предчувствие перемен, переворотов, в которых швеи и ремесленники будут иметь руководящее значение, проповедь нравственного самоочищения, надежды на монарха-Христа, аскетизм, трезвые и дотошные советы кулака-хозяина-крепостника, сознание вины за прежние сочинения — вот сложное и отнюдь не химическое соединение мыслей, идей, чувств, определивших «Переписку с друзьями».

Гоголь по своему прав, отметив в письме Жуковскому, что его «Переписка» хотя и не является капитальным произведением литературы, но она может породить многие капитальные произведения. Он и в этом оказался пророком. От «Ревизора», «Мертвых душ» и «Шинели» пошла одна полоса в русской литературе: Достоевский — автор «Бедных людей», «Записок мертвого дома», петербургских повестей: Салтыков-Щедрин, Островский, Успенский. От «Переписки» пошла другая полоса: Достоевский и Толстой — проповедники, Страхов, Константин Леонтьев, Владимир Соловьев. Без преувеличения можно сказать, что у проповедников нравственного самоочищения не было ни одного

положения, ни одной значительной мысли, каких мы не встретили бы у Гоголя, хотя бы в зачаточном виде. Волынский приводил отзыв Л. Н. Толстого о «Переписке с друзьями»:

«Перечел я книгу в третий раз... Всякий раз, когда я ее читал, она производила на меня сильное впечатление. Гоголь много сказал в своих письмах, но пошлость, им обличенная, закричала: «Он — сумасшедший!» И Гоголь, наш Паскаль, — лежит под спудом. Пошлость господствует, и я всеми силами стараюсь сказать то же, что сказано Гоголем»<sup>[35]</sup>.

Мы найдем у Гоголя призывы к упрощению, к физическому земледельческому труду. Предчувствия катастроф Достоевским, Соловьевым, Розановым, Белым тоже от Гоголя. Гоголь несомненно более реакционный мыслитель, чем Достоевский и Толстой, но у него есть и крупное преимущество. Это преимущество в его исключительной гражданственности. Для Толстого «душевное дело» диктуется потребностью найти смысл *личной* жизни. Он — моралист. Для него мораль имеет самодовлеющее значение. Достоевского занимают высшие суверенные права человеческой личности. Для обоих душевное усовершенствование дело по-преимуществу личное, а потом уже гражданское. Гоголь, наоборот, в первую очередь гражданин. Его прежде всего беспокоит участь России, Европы, века, мира. «Душевное дело» для него *средство, а не самоцель*. Отсюда такая социальная насыщенность всего того, что он писал, какой нет ни у Толстого, ни у Достоевского, хотя и у них она чрезвычайно сильна.

И еще в одном есть преимущество у Гоголя пред своими позднейшими учениками: нигде ни у кого с такой осязательностью не обнажаются темные, классовые корни «душевного дела», с какой они обнажаются Гоголем в его «Переписке». У Достоевского, у Толстого эти корни часто глубоко скрыты. У Гоголя они совершенно на виду. В этом смысле «Переписка» является единственным литературным документом. Здесь «небесное», аскетическое, мистическое, прямо и непосредственно связывается с земным, с хозяйственным; необыкновенно отчетливо показано, как страх перед революциями, перед общественными битвами, боязнь портных и мастеровых, распад старинного крепостного уклада заставляют обращаться к мистическому христианству, к проповеди: «царствие божие внутри вас есть».

«Переписка с друзьями» являлась последовательным выводом из внутренних потрясений, пережитых Гоголем за последние годы. Но «душевное дело» его было известно лишь немногим его друзьям. Для большинства читателей Гоголя новая книга его явилась крайне мрачной

неожиданностью. В передовых кругах она вызвала бурю негодования. Белинский ответил на нее страстным открытым письмом. Герцен назвал это письмо гениальным.

Письмо Белинского распространялось подпольно и только в 1905 году было напечатано открыто. На нем воспитывались революционные поколения.

Белинский подошел к «Переписке», как боец-просветитель. Он нашел в ней попытку защитить и осветить именем Христа крепостное право и николаевские порядки.

«Я не в состоянии дать вам ни малейшего понятия, — писал он Гоголю, — о том негодовании, которое возбудила ваша книга во всех благородных сердцах, ни о тех воплях, дикой радости, которые издали при появлении ее враги наши, — и не литературные Чичиковы, Ноздревы, городничие и т. д. — и литературные, которых имена хорошо вам известны».

В то время, как Россия представляет собою «ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми» — является великий писатель с книгой, в «которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, учит их ругать побольше».

«Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскуратизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что вы делаете! Взгляните себе под ноги, — ведь вы стоите над бездною». «По вашему, русский народ самый религиозный в мире — ложь! Основа религиозности есть пиэтизм, благование, страх божий. А русский человек произносит имя божее, почесывая себе зад. Он говорит об образе: годится — молиться, а не годится — горшки покрывать? Приглядитесь попристальнее, и вы увидите, что это по натуре глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности».

«Не истинной христианского учения, а болезненной боязнью смерти, чорта и ада веет от вашей книги...»

В письме Белинского дрожит и трепещет гневом каждое слово. Это от лица революционных разночинцев. Если «Переписка» определила собою линию «душевного дела» Достоевского, Толстого, то письмо Белинского наметило поведение Чернышевского, Добролюбова, Писарева, «кухаркиных детей», бурсаков, всех, кто полагал, что «душа» определяется общественными порядками, что развитию ее мешает крепостничество, самодержавие, имущественное неравенство и что всему этому надо объявить борьбу не на живот, а на смерть. Письмо Белинского являлось линией крестьянской революции, направленной против попыток с

помощью религии оправдать и поддержать царский строй.

Белинский не вскрыл трагедии Гоголя, не показал, каким образом случилось, что гениальный писатель, творец социального романа в России, отрекался от своих лучших произведений и цеплялся за худшее мракобесие. Не заметил Белинский и того, что шло в «Переписке» от Гоголя-художника с его ясновидением: указаний на пошлость, пустоту, мертвенность, мелочность всего окружающего, на непрочность и переходность этой действительности. Увлеченный обличением Белинский не подчеркнул, не углубил и не объяснил *со своей* точки зрения то отрицательное, что увидел на западе Гоголь и что следовало выделить из «Переписки».

От упреков, будто Гоголь *сознательно* и гнусно приспособляется к самодержавию, освободил художника еще Чернышевский. Вообще же письмо Белинского еще раз и в необыкновенно яркой форме показывало, насколько вперед ушло тогда еще незначительное крыло революционных разночинцев в своем общественно-политическом самоопределении и насколько оно опередило в этом так называемое передовое русское «общество», то есть либеральные дворянские круги.

Гоголь ответил Белинскому коротким письмом в духе христианского смирения, сквозь которое проступают следы крайней угнетенности и раздражения:

«Душа моя изнемогла, все во мне потрясено...»

«Бог вещь, может быть, и в ваших словах есть часть правды».

Но вместе с тем: «Как я слишком *усредоточился* в себе, так вы слишком разбросались».

...Желаю вам от всего сердца спокойствия душевного...»

Сохранился еще черновик другого письма; его Гоголь написал сначала, но не послал. Оно составлено совсем в другом духе, более непосредственно и ядовито. Христианского смирения в нем мало. Гоголь уверяет, что Белинский, якобы, получил легкое журнальное образование, занят писанием фельетонных статей и даже не окончил университетского курса. Не ему говорить о церкви, о Христе, о русском народе. Задача «Переписки» в том и состояла, чтобы «остановить несколько пылких голов, готовых закружиться и потеряться в этом омуте и беспорядке».

«Многие, видя, что общество идет дурной дорогой... думают что преобразованиями и реформами... можно поправить мир». Мечты! «*Общество образуется, само собой слагается из единиц. Надобно, чтобы каждая единица исполнила должность свою.* Пускай вспомнит человек, что он вовсе не материальная скотина, а высокий гражданин небесного

гражданства».

Это место в черновом письме очень ценное: оно со всей ясностью обнаруживает, в чем заключалась основная теоретическая ошибка Гоголя. Общество представлялось ему простым, механическим собранием единиц, подобно гороху в мешке. Гоголь не видел, что общество — сложнейший организм; люди в обществе — единицы, но единицы, связанные производственными, имущественными, правовыми и другими отношениями, совокупность их образует общественного человека; вне этих отношений «единица» — худшая абстракция, чем Робинзон, потому что и Робинзон родился и воспитывался в определенной общественной среде.

Если общество механически слагается из единиц, общественные отношения тем самым естественно выпадают и все дело, следовательно, сводится не к этим отношениям, а к единице. Очевидно, надо исправить эту единицу, и тогда все остальное приложится.

К этим и подобным рассуждениям Гоголь прибавил выпады против красных фаланстеров, против коммунистов и социалистов.

Любопытен отклик на «Переписку» Чаадаева. В неудаче книги Чаадаев обвинял не столько Гоголя, сколько его неумеренных поклонников: им надо было во что бы то ни стало возвеличить скромную Россию перед всеми народами. Для этого им потребуется свой Данте, Шекспир, Гомер. В Гоголе они нашли простодушного поэта, впрочем, не лишённого гордости, спесивости и даже цинизма, готового стать таким русским Гомером.

Чаадаев имел в виду кружок славянофилов, но его отзыв должен быть отнесен в первую очередь к великосветским поклонникам Гоголя-проповедника.

Из славянофилов многие отнеслись к «Переписке» отрицательно. С. Т. Аксаков находил, что книга проникнута лестью и, под личиной смирения, — страшный гордостью ума. «Он не устыдился напечатать, что нигде нельзя говорить так свободно правду, как у нас». Мистицизм Аксаков считал для Гоголя губительным. Шевырев, хотя и напечатал хвалебный разбор «Переписки», но делал это, видимо, из кружковых славянофильских интересов, причисляя Гоголя к «своим». В письме же своем он указал Гоголю, что тот вводит в религию личное начало и видит в побочных обстоятельствах указания свыше, уподобляясь княгине Волконской. Все это было справедливо, но не пошло дальше личной переписки. Очень зло против Гоголя выступал писатель-новеллист Павлов, автор талантливых повестей.

Защищали «Переписку с друзьями» заведомые реакционеры: остроумный и мрачный Вигель, А. О. Смирнова, П. Вяземский, тогда уже

более реакционно настроенный, чем в годы, когда вышел «Ревизор». Вигель заявлял:

«Не могу описать восторгов, с которыми смотрел на Гоголя! Я смеялся над теми, которые сравнивали его с Гомером. Теперь я каюсь в том... И что за мысли, и какая их выразительность! С фейерверком сравнить мало их! В них нечто молнии подобное!»<sup>[36]</sup>.

П. Вяземский, которого Белинский назвал князем в аристократии и холопом в литературе, нашел в книге Гоголя нужный и спасительный перелом: Гоголь в своих художественных произведениях «задевает за живое не одни наружные и противные болячки: нет, он *проникает вглубь* он выворачивает всю природу и не находит здорового места». От этого писателю надо скорее отказаться. Умница-реакционер верно понял, какие выводы следуют из «Мертвых душ», «Шинели» и других вещей Гоголя.

С хвалебной статьей по адресу «Переписки» выступил «начинающий» критик Апполон Григорьев. Статья была неудачная.

Общественно-политическая сторона «Переписки» заставляла забывать многие литературные высказывания Гоголя. Среди них есть мысли блестящие; даже и по ныне они заслуживают включения в хрестоматии и учебники. Статья «В чем же, наконец, существо русской поэзии» стоит многотомных критических трудов. Вот для примера, характеристика русского стиха:

«Этот металлический бронзовый стих Державина, этот густой, как смола или струя столетнего тока, стих Пушкина, этот сияющий, праздничный стих Языкова, влетающий как луч в душу, весь сотканный из света; этот облитый ароматами полудня стих Батюшкова; сладостный как мед из горного ущелья; этот легкий воздушный стих Жуковского, порхающий, как неясный звук золотой арфы... — все они, точно, разнозвонные колокола, или бесчисленные клавиши одного великолепного органа разнесли благозвучие по Русской земле...»

Когда от нудных и скопидомских советов, как лучше разбогатеть помещику, как губернаторше подслушивать, что говорят кругом, обращаешь к этим и подобным страницам — как будто выходишь из склепа наружу, на солнечный свет.

## ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, КОНЧИНА

В конце декабря 1846 года умер один из ближайших друзей Гоголя, поэт Языков. Смерть его не произвела на писателя, по его собственному признанию, «тревожных чувств печали». Происходило это отчасти потому, что мысли Николая Васильевича были слишком поглощены судьбою «Переписки». Беспокоили прежде всего цензурные неурядицы: из книги было выброшено много такого, чему Гоголь придавал очень важное значение. В письмах он с возмущением указывает, что от книги остался какой-то «странный обглодок». «С меня сдирают не только рубашку, но и самую кожу». Происходит «совершенная бестолковщина».

Гоголь лишается сна, болезненные припадки усиливаются. «Все, что для иных людей трудно переносить, я переношу уже легко с божьей помощью и не умею только переносить боли от цензурного ножа, который бесчувственно отрезывает целиком страницы, написанные от чувствовавшей души и от доброго желания. Весь слабый состав мой потрясается в такие минуты. Точно как бы пред глазами зарезали любимейшее дитя — так мне тяжело бывает это цензурное убийство». (А. Смирновой, 1847 г. III, 365.)

Он обращается с мольбами к друзьям, чтобы они через сановных покровителей, через графа Виельгорского, князя Вяземского, Петровского добились включения в книгу запрещенных статей и мест.

Добиться этого не удастся.

Книга вышла из печати. Гоголя беспокоит молчание друзей. Как встречена «Переписка»? Какие толки возбуждает она среди читателей, знакомых, среди критиков и литераторов? Отрезанный от России, больной, измученный нравственными потрясениями, одинокий, Гоголь с нетерпением ждет известий. Их все нет.

Приходят, наконец, первые известия. Почти повсюду «Переписку» встретили с негодованием. Правительству она кажется дерзкой и самонадеянной; почитатели Белинского считают ее изуверской, а автора чуть ли не лизоблюдом. Даже преданные Гоголю друзья, славянофилы, находя ее крайне неудачной, плутовской.

Гоголь кается: да, он впал в фальшивый тон, зарпортовался; в нем еще осталось много пороков, самонадеянности, честолюбия. Он поделом получил публичную оплеуху Жуковского, встретившего книгу неблагоприятно, он признается:

«Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу в нее заглянуть» (III, 398.)

Близкий к отчаянию, он пишет Аксакову:

«Ради самого Христа, войдите в мое положение, почувствуйте трудность его и скажите мне сами, как мне быть, как, о чем и что я могу теперь писать?.. Можно еще вести брань с самыми ожесточенными врагами, но храни бог всякого от этой страшной битвы с друзьями. Тут все изнеможет, что ни есть в тебе. Друг мой, я изнемог...». (1847 г. 10 июля.)

В своей «Авторской исповеди» Гоголь заявил:

«Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложением».

Больше всего его возмущают нападки, будто он против народного просвещения: он всю жизнь только и думал о том, как бы написать полезную книгу для народа: ему только казалось, что надо прежде всего просветить тех, кто просвещает народ, то «мелкое сословие», ныне увеличивающееся, которое занимает разные мелкие места и, не имея никакой нравственности, несмотря на небольшую грамотность, вредит всем, за тем, чтобы жить насчет бедных.

Наряду с покаянными признаниями Гоголь думает, что книга его все же была нужна. Нужна она и ему самому: толки, разноречивые мнения помогают лучше узнать русское общество, а также и себя со всеми недостатками.

Он не изменял себе: от ранней юности шел он своею дорогой; дело его одно: окончание «Мертвых душ», хотя в письме к Шевыреву он готов сознаться, что в «Переписке» заметны следы его переходного состояния.

Настойчиво просит Гоголь друзей прислать ему печатные и устные отзывы о книге, не пренебрегая самыми ничтожными; но этим отзывам не будет оставлять себе представления о конкретных людях. Ему недостает свежих впечатлений, наблюдений, он ищет идеальных образов, хорошо в то же время понимая, что идеальные образы должны быть вполне жизненными:

*«Не будут живы мои образы, если я не сострою их из нашего материала, из нашей земли, так что всяк почувствует, что это из его тела взято».* (III, 368.)

Он был заносчив; это — правда; но он это делал, чтобы «задрать за живое»: русского человека трудно раскачать, но в раздражении он многое может наговорить. К тому же его очень торопили друзья выступить в печати. Хотя Гоголь и утверждает, будто он стал проще, но приведенные



объяснения кажутся надуманными и неискренними.

Между прочим, московский кружок славянофилов выразил недовольство выпадами Гоголя в «Переписке» против Погодина. Гоголь ответил: «Занятый другим более для меня тогда занимавшим я о ней (о статье с выпадами — А. В.) *просто забыл*». (III, 391.) На это Шевырев справедливо возразил: «Да разве о таких вещах забывают?». В письме к самому Погодину Гоголь утверждал: он не отвергал его достоинств, а только не упомянул о них; в заключение же просил Погодина утешиться: бывает еще хуже, когда судят нашу душу и приходится выслушивать всякие упреки от самых близких друзей: «Это еще потяжелее, чем презренье от презренных людей». Будем почаще обращаться ко Христу, двери церковные всем открыты.

Читая эти советы и поучения, невольно вспоминаешь обвинения Гоголя со стороны некоторых его близких, что он был двуличный человек, лицемер и Тартюф; действительно в этих оправданиях — фальшь, хитрость, раздражительность, черствость к друзьям под личиной смирения и богобоязненности. Тартюфом Гоголь, однако, не являлся уже по одному тому, что он был гениальный художник; кроме того, он не шутил с идеями; но неискренности, честолюбия, а иногда и ханжества у него порою не занимать было стать. Вместе с подвижничеством, с огромным внутренним горением, с мучительными исканиями лучшего в себе и в жизни это слагалось в крайне причудливый и противоречивый характер. Сюда еще следует прибавить житейские советы прижимистого украинского помещика, на которые он по-прежнему не скупился в письмах к матери и к сестрам. Труднее всего дается простота, — утверждал Гоголь. Ее у него не было и, может быть, никогда еще за всю свою жизнь не раздирался он так сильно внутренними и внешними противоречиями, как в эти годы... «Но... что же делать, если и при этих пороках все-таки говорится о боге?» (III, 348.)

Несмотря на нападки, Гоголь продолжает упрашивать друзей усердно читать «Переписку» несколько раз в различные часы:

«Там есть некоторые душевные тайны, которые не вдруг постигаются и которые покуда *приняты совсем в другом смысле*». (III, 422.) Об этих тайнах Гоголь не устает напоминать.

Нельзя сказать, чтобы Николай Васильевич всегда и во всем отличался скрытостью. Иногда он умел быть и прямодушным. О своих друзьях он писал А. О. Смирновой: «Я на многих из них вовсе не надеялся и не называл их никогда своими друзьями: они себя считали моими друзьями, но не я их... Я видел с самого начала, что они способны залюбить не на

живот, а насмерть». (Смирновой, III, 469–470.) Это очень зло.

Он пишет Аксакову:

«Я вас любил, точно, гораздо меньше, чем вы меня любили. Я был в состоянии всегда любить всех вообще, потому что я не был способен ни к кому питать ненависть, но любить кого-либо особенно, предпочтительно, я мог только из интереса». (IV, 115.)

Мытарства с «Перепиской», «публичная оплеуха», всеобщее недовольство, ярость Белинского, болезни, судорожные и мучительные поиски свежего материала для продолжения «Мертвых душ», неустроенность и бесприютность, тяжелая тоска, даже отчаяние не давали возможности вплотную заняться творческой работой. Свет зари не ложится на взволнованное море. Для занятия искусством требуется известная уравновешенность, спокойствие: только тогда приходит вдохновение. У Гоголя этой уравновешенности не было и в помине. Искусство все меньше и меньше являлось для него той областью, где он находил успокоение.

И вот уже в отдалении появляется зловещая черная фигура аскета, ржевского протоиерея о. Матвея Константинопольского. С ним Гоголя свел А. П. Толстой, будущий обер-прокурор святейшего синода. Между Гоголем и о. Матвеем завязывается переписка. Спасение Гоголя было в «милой чувствительности», в «прекрасной нашей земле». Его гений это видел: «Мое дело говорить *живыми образами*, а не рассуждениями, — пишет он Жуковскому. — Я должен выставить *жизнь* лицом, а не трактовать о жизни». (IV, 193.) Православная церковь в лице о. Матвея отрезала Гоголю этот спасительный путь. Ржевский проторей обвинял создателя «Ревизора», что он любит больше театр, а не церковь; находил литературные занятия Николая Васильевича греховными, так как его привлекают слава и деньги. Гоголь робко оправдывался, но о. Матвей уже с самого начала добился значительных результатов. Гоголь заявил ему:

«Теперь я отлагаю все до времени и говорю вам, что долго ничего не издам в свет и всеми силами буду стараться узнать волю Божию». Но убить Гоголя-художника, жадного до живой жизни, было нелегко. Он все еще пристально вглядывался в действительность. Между ним и Анненковым происходит обмен мнениями по поводу парижской и лондонской жизни. Гоголь советует пожить другу в Англии; нельзя ограничиваться изучением одного класса пролетариев, которое стало теперь модным; надо взглянуть на все классы. В Англии несмотря на чудовищное совмещение многих крайностей «местами является такое разумное слитие того, что доставила человеку высшая *гражданственность* с тем, что составляет первообразную *патриархальность*, что вы усомнитесь во многом»... (IV,

82.)

Это в высшей степени любопытное признание: выходит, что Гоголь не против высшей гражданственности; то есть, не против буржуазно-демократических форм правления; он считает только необходимым соединить эту гражданственность с патриархальностью и за образец берет Англию. Не бросает ли это место некоторого света на кое-какие «тайны» в «Переписке», о которых так упорно твердил Гоголь: английский политический строй, как известно, совмещает монархию с буржуазным парламентаризмом, причем король Англии «царствует, но не управляет». Рекомендую русскому монарху «возрыдать», принять образ Христа и влиять на своих подданных нравственными средствами, не имел ли в виду Гоголь между всем этим, превращение русского самодержца в монарха на английский образец? Такому монарху только и остается, что воздействовать на народ нравственным путем и принимать в душу образ Христа. Этому ему никто не запрещал... Как бы то ни было, замечание об Англии показывает, что Гоголь доброжелательно относился к английским гражданским порядкам. Кстати: от Костанжогло веет тоже умеренной и рассудительной буржуазной Англией.

Продолжает Гоголь следить и за русской литературой. Его отзыв о молодом Тургеневе — отзыв провидца.

«Сколько могу судить по тому, что прочел, талант в нем замечательный и обещает большую деятельность в будущем». Он расспрашивает Анненкова о Герцене: «Я слышал о нем очень много хорошего. О нем люди всех партий отзываются как о благороднейшем человеке». (IV, 82–83.)

Гоголь еще не потерял чутья, но дух его помрачен. Все чаще и чаще пишет он друзьям и знакомым о своем желании поехать в Иерусалим; может быть, оттуда «понес бы я повсюду образ Христа» и тогда удалось бы не только изобразить то светлое и положительное, чего так недостает прежним произведениям, но и указать к святому и прекрасному непреложные и прямые пути. Может быть у гроба Христа он ощутит святость писателя. Сначала Гоголь уверен, что путешествие это принесет ему нужное духовное просветление, но перед отъездом эта уверенность его покидает:

«Признаюсь вам, — пишет он Смирновой, — молитвы мои так черствы». «В груди моей равнодушно и черство, и меня устрашает мысль о затруднениях», подтверждает он Шевыреву. Пугает море, качка, нет попутчиков, можно заболеть в дороге, помереть. Нет внутреннего желания. Все же ехать надо. «Не ехать же в Иерусалим как-то стало даже совестно». (IV, 107.) Слаба вера, слаб дух, но, может быть, каким-нибудь чудом

оросится холодная душа. Не остывает чувство греховности:

«Литература заняла почти всю жизнь мою, и главные мои грехи — здесь.» (Жуковскому, IV, 135.)

Столкновения между художником, влюбленным в милую чувствительность, в искусство, и христианином, который ищет бога, занят «душевым делом», делаются все более острыми, а признания, что он, писатель, не подготовлен к поездке, что молитвы — черствы, показывают: Гоголь насилует свою природу, не находя более жизненного выхода из своих противоречий.

Житейский мрак не рассеивался: «Многие удары так были чувствительны для всего рода щекотливых струн, что дивлюсь сам, как я еще остался жив и как все это вынесло мое слабое тело». (Анненкову, IV, 48.)

Великой, безысходной грустью веет от признания Иванову:

«Ни на кого в мире нельзя возлагать надежды тому, у кого особенная дорога и путь, не похожий на путь других людей». (IV, 132.)

...В объяснение «Переписки с друзьями» в том же 1847 году Гоголь написал безыменную вещь, известную под именем «Авторской исповеди». Сначала он торопился ее напечатать, но потом отложил ее. В «Исповеди» Гоголь рассказывает свой путь писателя и человека, вскрывает мотивы своего творчества, его отличительные свойства. «Исповедь» является ценнейшим документом. Основная тема, которая занимает в ней Гоголя — расхождение художественного содержания его произведений с их истолкованием, Гоголь рассказывает:

«На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставляя их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала».

Вопросы — зачем, для чего усилились под влиянием Пушкина и более зрелого возраста.

«Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно...»

«Если смеяться, так уже лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеяния всеобщего. В «Ревизоре» я решил собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие требуется от человека справедливости и за одним разом посмеяться над всем. *Но это, как известно, произвело потрясающее*

*действие*. Сквозь смех, который никогда еще во мне не появлялся в такой силе, читатель услышал грусть...» «После «Ревизора» я почувствовал, более нежели когда-либо прежде, потребность сочинения полного, что было бы уже не одно то, над чем следует смеяться. Пушкин находил, что сюжет «Мертвых душ» хорош для меня... Я начал было писать, не определив себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что такое именно должен быть сам герой...

...Все у меня выходило натянуто, насильно и даже то, над чем я смеялся, становилось печально.

...Я ясно увидел, что больше не могу писать без плана...»

Гоголь убедился, что автор, «творя творение свое... исполняет именно тот долг, для которого он призван на землю»...

Обдумывая сочинение, Николай Васильевич пришел к выводу, что надо взять характеры, на которых «заметней и глубже отпечатлелись истинно-русские коренные свойства наши, высшие свойства русской природы». «Нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу».

Утверждение Гоголя, что он в начале своей писательской деятельности не задумывался, надо понимать как уже выше отмечалось, с большими ограничениями: Гоголь имеет в виду пользу христианскую. Вопросы религиозно-нравственного характера встали пред ним не потому, что в его произведениях не было смысла, а потому, что они, согласно меткому замечанию П. Вяземского, задирали не одни наружные болячки, а проникать «внутрь» человеческой души.

Признания Гоголя поучительны во многих отношениях между прочим, также и в том, что в них содержатся указания на *магические истоки* его художественного творчества. Было в Гоголе нечто древнее православия и христианства, нечто от магов, волшебников и колдунов. Стараясь подавить в себе тоску и собственные «гадости», Гоголь придумывал смешное и создавал «страшилища»; при этом он верил в какое-то особое, как бы живое существование созданных им образов и характеров. Они брали у него, а также и у других людей часть страстей, чувств и мыслей. Но все это свойственно и магическому мышлению: магически настроенный древний человек тоже верил, что изображая, например, на рисунке себя или кого-нибудь из окружающих его людей, он тем самым передает ему часть души. Само собою понятно, что у Гоголя эта вера трансформировалась и приняла более психологически-естественный вид.

«Авторская исповедь» является подведением итогов всего пережитого Гоголем, как писателем. Написана она простым и сдержанным языком.

Гоголь вполне владеет собой. «Исповедь» продуманна, проникновенна и свидетельствует, что Николай Васильевич был не только замечательным поэтом, но подчас, правда, далеко не всегда, и замечательным мыслителем, что он владел не только языком образом, но и языком понятий...

...В конце января 1848 года Гоголь, наконец, совершил путешествие в Палестину. Перед отъездом он признавался Матвею Константинопольскому: «Исписал бы вам страницы во свидетельство моего малодушия, суеверия, боязни. *Мне кажется даже, что во мне и веры нет вовсе*». (IV, 154.) Гоголь предполагал отправиться в Палестину позже, чтобы быть там к Пасхе, но поспешил отъездом оттого, что в Неаполе стало беспокойно:

«Меня выгнали... разные политические смуты и бестолковщина». (14, 165.) Бурный 1848 год сильно напугал Гоголя. Боялся также Гоголь моря, мытарств, неожиданностей. Уезжая, разослал знакомым и родным листок с особой, им сочиненной молитвой, чтобы бог «укротил «бурное дыхание ветров», удалил «духа колебаний, духа помыслов мятежных и волнуемых, духа суеверий» и т. д.

Путешествие по началу было неблагоприятным. В Мальту Гоголь прибыл, по его словам, «впрах расклеившийся». «Все еще не могу оправиться и очнуться от морской езды. Рвало меня таким образом, что все до едина возымели ко мне жалость, сознаваясь, что не видывали, чтобы кто так страдал... Молитесь обо мне: невыносимо тяжело!» (А. П. Толстому, IV, 163.)

Он жалуется, что все приятели его позабыли и он четыре месяца не имеет от них ни строки.

Дальше путешествие как будто несколько наладилось. Сирийскую пустыню Гоголь переехал с Базили, своим школьным товарищем, занимавшем крупный служебный пост на востоке; он изводил Базили капризами и жалобами на неудобства.

Убогой и сырой предстала пред ним земля обетованная, земля отцов Авраама, Исаака, Иакова, земля млека и меда. Песок, камни, зной, томительно однообразные горы, запыленная, чахлая растительность, бедные лачуги, более похожие на звериные норы, чем на людские жилища, нищета, грязь, нечистоты, жалкие развалины. Мертвое море. «Где-то в Самарии сорвал цветок, где-то в Гилilee другой: в Назарете, застигнутый дождем, просидел два дня» (IV, 301.) Здесь ли сияла звезда Вифлеема и волхвы приносили золото, ливан и смирну чудесному младенцу? Да и был ли этот чудесный младенец? Не создан ли он человеческим вымыслом? Разнообразны создания человеческой мечты, но ведь она — обман, она

слишком далека от действительности. Никто из современников не знал эту горькую истину так глубоко, как знал ее наш больной путешественник.

...В середине февраля Гоголь добрался до Иерусалима. Но не было отрады у гроба Христа страждущему художнику.

«Чувствую бессилие моей молитвы», — с горечью признается он матери. (IV, 170.) «У гроба господня я помянул ваше имя; молился как мог моим сердцем, не умеющим молиться». (О. Матвею, IV, 171.)

«Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте, так удобно для моления и так располагающем молиться; молиться же собственно я не успел». (Жуковскому, IV, 177.)

Это звучит почти комически.

«Мои же молитвы даже не в силах были вырваться из груди моей, не только вылететь». (Толстому, IV, 178.)

«Скажу Вам, что еще никогда не был я так мало доволен состоянием сердца своего как в Иерусалиме и после Иерусалима. Только разве, что больше увидел черствость свою и свое самолюбие, — вот весь результат». (О. Матвею, из Одессы, IV, 187.)

Излияния высшей благодати и творческого озарения, которые могли бы «подвинуть» вперед «Мертвые души», не произошло. Полное крушение поездки в Палестину должно быть показать Гоголю, что истинное его «душевное дело» — человеческое, земное, что излечить его очерствелость могут не посты и молитвы, а приток свежих и живительных впечатлений, окружение общественно здоровых людей, что ему немедленно надо порвать с о. Матвеем, с А. Толстым, со святошами и иезуитами.

Этот вывод Гоголь не способен был сделать. Он сделал совсем другой вывод: во всем надо искать искусителя-дьявола и личную испорченность.

Пробыл Гоголь в Палестине недолго и уже в конце апреля добрался до Одессы, а в мае — к себе в Васильевку.

Что-то еще надломилось в нем после неудачной поездки. Письма к друзьям и родным делаются суше, короче; меньше прибегает он теперь и к поучениям, больше сокрушаясь о своих собственных недостатках. Усиливается мнительность. Гоголь часто теряется, не зная, что от бога и что от дьявола. Мысль о «Мертвых душах» не покидает его, но, может быть, и они являются созданием злого духа?

И родная Васильевка не принесла успокоения. «Было несколько грустно, вот и все». «Только три или четыре дни по приезде моем на родину, я чувствовал себя хорошо; потом непрерывные расстройства в желудке, в нервах и в голове от этой адской духоты, томительнее которой

нет под тропиками. Все переболело и болеет вокруг нас. Холеры и все роды поносов не дают перевести дух. Тоска: даже читать самого легкого чтения не в силах». (С. Т. Аксакову, IV, 209.)

Крестьяне, крестьянки жалуются на бедность, на непосильный труд, на барщину. Гоголь утешает их: за то их ожидает блаженная жизни в небесной церкви. На короткое время он выезжает в Киев к А. С. Данилевскому. И Киев не радуется ему. Профессора, преподаватели, «деятели» представлялись знаменитому писателю, выстроившись, во фраках и вице-мундирах, точно перед высоким начальством. Гоголь обходил ряд, двигаясь, точно разбитый параличом; кивал головой, произносил деревянным голосом: — очень приятно. Потом все долго молчали. Заметив некоего Михальского, у которого был жилет в крапинках, похожий на шкуру лягушки, Гоголь сказал: «Мне кажется, как будто я вас где-то встречал... Я видел вас в трактире и вы ели луковый суп...».

В Васильевке Гоголь провел все лето; несмотря на сильную жару и свое тяжелое состояние он продолжал работать над вторым томом «Мертвых душ». Кулиш, посетивший родину Николая Васильевича после его смерти, со слов его родных рассказывает:

«Мне указали место, в углу дивана, где обыкновенно он сживал, гостя на родине. В последнее пребывание его дома, веселость уж оставила его; видно было, что он не был удовлетворен жизнью, хоть и стремился с нею примириться... Он впадал в очевидное уныние и выражал свои мысли только короткими восклицанием: «И все вздор, и все пустяки».

Писательская работа являлась для него подвигом.

«Подобно религиозным художникам старинной испанской школы, писавшим на коленях, в рубище и со слезами на глазах, мучеников за веру Христа, он каждую страницу вымалывал у неба долгими молитвами и долгими покаяниями...

«В последнее время Гоголь готов был трудиться над страницей столько, сколько трудился прежде над целой пьесой...»

«Кончив утренние свои занятия, он оставлял ее (литературу — А. В.) в своем кабинете и являлся посреди родных простым практическим человеком, готовым учиться и учить каждого всему, что помогает жить покойнее, довольнее и веселее. От этого, дома его знают и вспоминают больше, как нежного сына, или брата, как отличного семьянина... нежели как знаменитого писателя...

...Работал он у себя во флигеле, где кабинет его имел особый выход в сад. Если кто из домашних приходил к нему по делу, он встречал своего посетителя на пороге с пером в руке... но никогда не приглашал войти к



себе и никто не видел и не знал, что он пишет. Почти единственной литературной связью между братом и сестрами были малороссийские песни, которые они для него записывали и играли на фортепьяно. Я видел в Васильевке сборник, включающий в себе 228 песен...».

Кулиш отмечает и такую подробность: он разговорился с чабаном и спросил о Гоголе. Чабан ответил: «На все дывитця та в усему кохаецця», то есть, во все вникал и любил все, что ни входит в хозяйство.

В сентябре 1848 года Гоголь приезжает в Москву, живет сначала у Погодина, затем переселяется к А. П. Толстому на Никитский бульвар; половину сентября и начало октября проводит в Петербурге.

Критика, кажется, очень мало уделила внимания вопросу, какое влияние на литературное творчество Гоголя имели революционные события 1848 года. Между тем, революция сильно повлияла на его работоспособность. Николай Васильевич бежал в Палестину, испугавшись революционных потрясений. Но и по возвращении из Иерусалима революция 1848 года не дает ему покоя. Из-за нее он не может писать. Он утверждает: литератору трудно удержаться на своем поприще посреди «потрясающей бестолковщины». В Париже совершенное разложение, жалуется он Данилевскому», все отчаянно рвутся в драку, не видят никакого исхода; кругом тьма и ночь. То и дело он возвращается к революции: «Время настало сумасшедшее. Умнейшие люди забираются и набалтывают кучи глупостей». (Жуковскому, IV, 243.) «Человечество нынешнего века свихнуло с пути только оттого, что вообразило, будто нужно работать для себя, а не для бога». (IV, 249.) «...Все так шатко и неверно и... имеющий имущество в несколько раз более неспокоен бедняка». (254). «Разномыслие и разногласие во всей силе. Соединяются только проповедники разрушений» (262 стр.). Эти жалобы Гоголь настойчиво повторяет и в последующие годы.

Он в России остается только потому, что его пугает революция. «Из Константинополя пришедшие вести, что там неспокойно, заставляют меня призадуматься, ехать ли в этом году». (355 стр.). Правда климат в России жесткий, но политический климат в Европе еще жестче. «Решил остаться здесь, понадеясь на русское авось, то-есть авось-либо русская зима в Одессе будет сколько-нибудь милостивей московской. Разумеется, при этом случае стало представляться, что и вонь, накуренная последними политическими событиями в Европе, еще не совсем прошла». (361 стр.). «Разрушители не дремлют. Много развевается холодного, безнравственного по белу свету; много прорывается отсюда всяких пропаганд, грызущих, по-видимому, как мыши, все твердые основы» (365 стр.).

Лучше переждать в России. Тут спокойнее, хотя и здесь отрадного немного. Жизнь в Москве стала дороже. «При деньгах одни только кулаки, пройдохи и всякого рода хапуги» (233 стр.). В деревнях тоже невесело: мор, нищета. В родную Васильевку хотят проводить проселочную большую дорогу: «всякая проезжая сволочь будет получать и развращать мужиков». (320 стр.). От всего этого «мысли расхищаются, приходят в голову незванные, непрощенные гости». Хочется думать об одном, думается о другом. Хандра, уныние, черствость, оцепенение, страхи.

Работа над поэмой подвигается очень медленно, творческие силы иссякают. Да и нужна ли работа поэта нынешнему времени? «Время еще содомное, люди, доселе не отрезвившиеся от угару, не годятся как будто в читатели, неспособны ни к чему художественному и спокойному. Сужу об этом по приему «Одиссеи». Два-три человека обрадовались ей, и то люди уже отходящего века. Никогда не было еще заметно такого умственного бессилия в обществе». (289 стр.)

Гоголь чувствует и видит, что революционные события вдребезги разрушают патриархальные средневековые устои; второй том должен быть итогом его «душевного дела», но кому нужно это «душевное дело», проповедь внутреннего самоустройства, когда кругом люди решительно занимаются устройством внешних общественных порядков? К месту ли идеальный откупщик Муразов, когда «кучи мастеровых» воздвигают против него баррикады? Некоторые суждения Гоголя отличаются полной продуманностью. «Человечество нынешнего века... вообразило, будто нужно работать для себя, а не для бога». Вот именно. В этом вся суть. Революция, социализм это — работа для себя, это своеволие, бунт против косных общественных и природных начал. Это — переделка окружающей среды согласно своему усмотрению, в то время как всякая религия — это покорность «воле пославшего», хозяина, бога; «пусть будет не так, как я хочу, а как ты хочешь, господи».

Страшат Гоголя и собственные пороки. Силен бес. Сильны искушения. Черствы молитвы, костенеет душа. Все чаще напоминает о себе старость, а из-за старости глядит смерть. Приближение старости, как уже отмечалось, Гоголь почувствовал очень рано 27–28 лет. В «Мертвых душах» по поводу Плюшкина он писал:

«Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: здесь погребен человек! Но ничего не прочтешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости». В «Переписке» Гоголь говорит: «Завопи воплем и выставь ему ведьму старость, к нему идущую, которая вся из железа,

пред которою железо есть милосердие»...

Теперь смерть все чаще грозит ему железным перстом, повергая в новые ужасы. Огромным напряжением воли Гоголь одолевает мрачайшие припадки тоски, физические недуги; отдает утренние лучшие часы творческой работе, уединяется, ревниво следит, чтобы никто не заглянул к нему во время занятий в комнату, в эти листы бумаги с неровным почерком, с каракулями, с бесчисленными пометками и поправками. Здесь, у письменной высокой конторки, он мученик и беспощадный судья над собой.

Как трудно приходится! «Я не в силах бываю писать, отвечать на письма!». «Ничего не могу написать начисто, ошибаюсь беспрестанно, пропускаю, недописываю, приписываю, надписываю сверху».

Но несмотря на помутнение способностей он продолжает трудиться. Он умел трудиться. Сологуб вспоминает, что укорял меня в моей лени! — Да не пишется что-то, — говорил я, — А вы все-таки пишите... возьмите хорошенькое перышко, хорошенько его очините, положите перед собою лист бумаги и начните таким образом: — «Мне сегодня что-то не пишется». «Напишите это много раз сряду, и вдруг придет хорошая мысль в голову». (Сологуб, Воспоминания, стр. 409.)

Н. В. Берг Гоголь поучал:

«Сначала нужно набросать все, как придется, хотя бы плохо, водянисто, но решительно все, и забыть об этой тетради. Потом через месяц, через два, иногда и более достать написанное и перечитать: вы увидите, что многое не так, много лишнего, а кое-чего недостает. Сделайте поправки и заметки на полях — и снова забросьте тетрадь. При новом пересмотре ее — новые заметки на полях, и где не хватает места — взять отдельный клочок и приклеить сбоку. Когда все будет таким образом исписано, возьмите и перепишите тетрадь собственноручно. Тут сами собой явятся новые озарения, урезы, добавки, очищение слога. И опять положите тетрадь. Придет час, вспомнится заброшенная тетрадь, возьмите перечитайте тем же способом и, когда снова она будет измарана, перепишите ее собственноручно. Вы заметите при этом, что вместе с крепчанием слога, с отделкой, очисткой фраз как бы крепчает и ваша рука: буквы становятся тверже и решительнее. Так надо делать, по по-моему, восемь раз. Для иного, может быть, нужно меньше, а для иного и еще больше. Я делаю восемь раз...» (Воспоминания о Н. В. Гоголе, «Русская Старина». 1872 г., N 1).

Гоголь трудится. Он знает в чем истинное призвание писателя:

«Умереть с пением на устах, едва ли не таков неотразимый долг для

поэта, как для воина умереть с оружием в руках». (IV, 202.)

...А силы все слабеют. Убывает свежесть красок и впечатлений. Гоголь пытается освежить себя поездками в Калугу, в окрестности Москвы, вступает в беседы с купцами с городничими, с трактирными слугами, с крестьянами.

«Поездки мои были маловажны, но все же они оживили начинающую тупеть память». (282.)

Хорошие, здоровые дни выпадают все реже:

«Я весь исстрадался... Добрый друг мой, я болен! Все на свете обман, и как трудно быть тому, кто не умеет быть в боге. Молитесь, все молитесь, заменят. Не знаешь, куда деться, как позабыть себя. Праздно вращается в устах бескрылая молитва». (308 стр.)

Из внешней жизни отметим знакомство Гоголя с братом Смирновой, Арнольди, который ездил с ним в Калугу, где муж Смирновой занимал место губернатора. Арнольди о своем знакомстве с Гоголем оставил ценные воспоминания. Вместе с сестрой он слушал чтение Гоголя второй части «Мертвых душ», находил их исключительно высоко-художественными и, между прочим, передал содержание некоторых глав, впоследствии Гоголем уничтоженных. Судя по этой передаче, главы, действительно, нисколько не уступают первой части «Мертвых душ». По словам Арнольди, Гоголь прочитал всего Смирновой «кажется, девять глав».

Арнольди коснулся и разных причуд Гоголя. Гоголь сам рассказывал ему, что в молодости он имел «страстишку» приобретать разные вещи, чернильницы, вазочки, пресс-папье, ручки. От всего этого теперь Гоголь отказался. Все его имущество помещалось в небольшом чемоданчике. Одну «страстишку» Гоголь, однако, никак не мог преодолеть в себе: любил обзаводиться сапогами; у него было их всегда несколько пар и часто он с наслаждением примерял их, как капитан, сатирически изображенный им в «Мертвых душах».

Выглядел Гоголь в это время по отзывам Арнольди не совсем привлекательно: небольшого роста с длинными белокурыми волосами, маленькими карими глазами, с необыкновенно тонким и птичьим носом, он странно «таранил» ногами, неловко махал рукой, в которой держал палку и серую шляпу. Одет был не по моде и без вкуса. В глазах замечалось утомление.

Что привлекало наблюдательность Гоголя? Арнольди передает такой его рассказ:

«Знаете-ли, что на-днях случилось со мной? Я поздно шел по глухому переулку в отдаленной части города: окна были открыты, но занавешены легкими кисейными занавесками... Я остановился, заглянул в одно окно и

увидел страшное зрелище. Шесть или семь молодых женщин, которых постыдное ремесло сейчас можно было узнать по белилам и румянам, покрывающим их лица, опухлые, изношенные, де еще одна толстая старуха отвратительной наружности усердно молились богу перед иконой, поставленной в углу на шатком столике. Маленькая комната, своим убранством напоминающая все комнаты в таких приютах, была сильно освещена несколькими свечами. Священник в облачении служил всенощную, дьякон с причтом пел стихири. Развратницы усердно клали поклоны. Более четверти часа я простоял у окна... На улице никого не было, и я помолился вместе с ними, дождавшись конца всенощной. Страшно, очень страшно, — продолжал Гоголь. — Эта комната в беспорядке, эти раскрашенные, развратные куклы, эта толстая старуха и тут же — образа, священник, евангелие и духовное пение. Не правда ли, что все это очень страшно»<sup>[37]</sup>.

Страшно, точно в старой России, совмещающей публичный дом со всенощной! Это совмещение низменной вещественности с «духовным» повсюду находил Гоголь и это его больше всего мучило.

Держался Гоголь по отзывам современников часто нелюдимо и высокомерно. Погодин в своем дневнике отметил:

«Думал о Гоголе. Он все тот же. Люди ему нипочем».

Некрасов, Панаев и Гончаров представлялись ему, как начальнику, во фраках. Гоголь у каждого что-нибудь для приличия спрашивал; выслушав от Некрасова стихи «Родина», что-то невразумительное промышчал.

Вторую часть «Мертвых душ» Николай Васильевич читал кроме Смирновой также у Аксакова, у Шевырева. С. Т. Аксаков был поражен высоким мастерством.

«В январе 1850 года, — повествует далее С. Т. Аксаков, — Гоголь прочел нам в другой раз первую главу «Мертвых душ». Мы были поражены удивлением: глава показалась нам еще лучше и как будто написана вновь. Гоголь был очень доволен произведенным впечатлением и сказал:

«Вот что значит, когда живописец дает последний туш своей картине. Поправки, по-видимому, самые ничтожные: там одно слово убавлено, а тут переставлено — и все выходит другое».

Положительное самочувствие, однако, являлось скорее исключением; хотя Гоголь иногда и отмечал в переписке с удовлетворением, что дело подвигается вперед, его не покидает сознание крайней греховности, он неуверен, способен ли он создать высоконравственные произведения.

Подводя итог своему пребыванию в России за это время, Гоголь писал Жуковскому 14 декабря 1849 года:

«Все на меня жалуются, что мои письма стали неудовлетворительны и что в них видно одно — *нехотение писать*. Это — правда: мне нужно большое усилие, чтобы написать не только письмо, но даже короткую записку. Что это? Старость, или временное оцепенение сил? Полтора года моего пребывания в России пронеслись, как быстрый миг, и ни одного такого события, которое бы освежило меня... Творчество мое лениво...». (IV, 286.)

Гоголь делает предложение Анне Михайловне Виельгорской, получает отказ. Очевидно, в связи с этим отказом Николай Васильевич писал ей:

«Может быть, я должен быть ни что другое в отношении вас, как верный пес, обязанный беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего». (310 -11)... Горькие слова!

Шенрок сообщает: отношения Гоголя с Виельгорской после отказа оборвались, Гоголь был сильно уязвлен.

Возможно, что в графине он видел спасение от своих ужасов, от тоски и болезненных припадков, и с помощью ее надеялся удержать свои слабеющие связи с жизнью.

Оставался о. Матвей. Гоголь все чаще и чаще прибегает к его черной помощи, совершает поездки в Оптину пустынь к старцам, испрашивая наставлений. О. Матвей по отзывам современников обладал редким даром красноречия и своей убедительности, вел аскетическую жизнь. Влияние его на Гоголя было чрезвычайным. Гениальный писатель оправдывался перед грубым служителем церкви, как школьник пред строгим учителем, считал его святейшим и добрейшим человеком. К тому же о. Матвей прекрасно владел народной разговорной речью, что тоже сильно поражало Николая Васильевича. Обличения протоиерея потрясали его. О. Матвей отвращал Гоголя от жизни, от работы художника. Он веровал в чудесные предзнаменования, и указания свыше и заражал своим мистицизмом и без того суеверного и мистически настроенного поэта. Сам о. Матвей был глубоко убежден, что он только помогает Гоголю. «Он искал, — говорил о нем о. Матвей, — умиротворения и внутреннего очищения. *В нем была внутренняя нечистота*. Он старался избавиться от нее, но не мог. Я помог ему очиститься, и он умер истинным христианином». На обвинения, будто он запрещал писать Гоголю светские произведения, о. Матвей отвечал: это — неправда; он только воспротивился печатанию некоторых глав из второго тома «Мертвых душ», как малохудожественных. Впоследствии делались многочисленные и упорные попытки смягчить мрачное и роковое влияние, какое Константинопольский имел на судьбу Гоголя. Это неудивительно: протоиерей Константинопольский являлся представителем,

и притом одним из самых строгих, православной церкви, которая через него, через старцев и А. П. Толстого, через великосветских поклонников и поклонниц ускорила, а может быть, и определила трагическую кончину Николая Васильевича Гоголя.

Летом 1850 года Гоголь вновь приезжает в Васильевку. Отсюда через друзей хлопочет перед шефом жандармов Орловым и наследником о денежной помощи и о выдаче ему заграничного паспорта. По разным причинам хлопоты ни к чему не привели и осенью, в конце октября Гоголь переселяется в Одессу в надежде, что здесь он найдет «ненатопленное тепло», то-есть солнце, и благорастворенный воздух.

Осень и зима на беду выпали суровые и Гоголь жаловался, что одесский климат мало чем отличается от московского, но все же он чувствовал себя несколько бодрей.

Попрежнему его помыслы связаны с продолжением «Мертвых душ»: «Работа — моя жизнь; не работается — не живется».

Революционные потрясения окончились. Головы, по мнению писателя, протрезвели и можно надеяться, что теперь будут внимательнее и хладнокровнее выслушивать писателя.

«О себе, покуда, скажу, — сообщает Гоголь Смирновой, — что бог хранит, дает силу работать и трудиться. Утро постоянно проходит в занятиях, не тороплюсь и осматриваюсь. Художественное создание и в слове то же, что и в живописи, то же, что в картине. Надо то отходить, то вновь подходить к ней». (IV, 366).

Гоголь тщательно следит за своим здоровьем, занимается только по утрам, спать ложится в одиннадцатом часу, соблюдает умеренность в пище; натошак и вечером выпивает по стакану холодной воды. Время проводит в обществе «добрейшего» Срудзы, попечителя богаделен, кн. Репниных, профессоров и преподавателей.

Угнетенность и подавленность, однако, не покидают его. Он жаждет просветления: «Молюсь, молюсь и, видя бессилие своих молитв, вопию о помощи». (О. Матвею, IV, 367.) Опять угрожает неумолимая старость, томит одиночество. Иванову он пишет:

«Поверьте, никто не может понять нас даже и так, как мы себя понимаем». (377 стр.).

Он советует сестрам поменьше думать об удовольствиях, не окружать себя вещами и ставит в пример себя. «Я просто стараюсь не заводить у себя ненужных вещей, от этого будет легче и разлука с землей».

Все подчиняет он размышлениям о смерти и страху смерти.

«Вещественность», однако, еще прорывается. Наставляя сестер на

божественный лад, Гоголь по времени не забывает и земных дел:

«Можно сделаться нечувствительно из доброго несносным для всех. Уведомьте меня, говорили ли вы Юркевичу о лесе, который возле Черныша?» (IV, 356 стр.)

Сестра Анна просит прислать ноты. Гоголь отвечает: «Не посылаю, потому что и дороги, ничего нет нового, да и с пересылкой возня, и продавцы народ надувной. А вместо того я решил написать Шевыреву, чтобы он выслал из Москвы». (стр. 369.)

Расчетливость — грошовая и как это характерно для Гоголя — возложить «возню» на одного из друзей!

Во второй половине апреля 1851 года Гоголь из Одессы выезжает в Васильевку.

Работой над «Мертвыми душами» как будто он даже доволен: «Что второй том «Мертвых душ» умнее первого, — сообщает он Плетневу с дороги, — это могу сказать, как человек, имеющий вкус и притом умеющий смотреть на себя, как на чужого человека». (388 стр.)

Этому заявлению можно вполне поверить: Гоголь судил свои произведения необыкновенно строгим судом. Мы имеем таким образом подтверждение того, что о втором томе свидетельствовал Аксаков, Смирнова, Арнольди и другие: он принадлежал к шедеврам.

В Васильевке Гоголь вставал рано, занимался во флигеле, иногда по пяти часов кряду. В свободное время охотно брался за домашние работы: рисовал узоры для ковров, кроил сам сестрам платья, принимал участие в обивке мебели. Он любил эти домашние работы, очень высоко ценил старинные вышивки, но кроме того, он видимо, старался и отдохнуть от напряженной умственной деятельности.

Хозяйством имения Гоголь почти уже перестал заниматься. Из соседей ни к кому не ездил и к себе никого не приглашал. Выглядел утомленным. «Часто, — рассказывала сестра Ольга Васильевна, — приходя звать его к обеду, я с болью в сердце наблюдала его печальное, осунувшееся лицо; на конторке, вместо ровно и четко исписанных листов, валялись листки бумаги, испещренные какими-то каракулями...»<sup>[38]</sup>.

Любил подсаживать деревья в сад, изображенный им в главе о Плюшкине. Сажал клен, липу, дуб. Они были его любимыми деревьями. Ценил живописный беспорядок, натуральность, изобилие растительности.

В Васильевке Гоголь пробыл недолго, во второй половине мая уехал в Москву. В Москве его ожидали расстроенные денежные дела. «Говорю тебе, что если умру, то не на что будет, может быть, похоронить меня». (IV, 389 стр.)



Подготавливая второй том к печати, Гоголь признается Плетневу:

«Едва в силах владеть пером, чтобы написать несколько строчек записки». Не дает покоя цензура. Вспоминая все пережитое и выстраданное, Гоголь страшится ее. «Ее действия до того загадочны, что поневоле начинаешь предполагать ее в каком-то злоумышлении и заговоре против тех самых положений и того же самого направления, которое она будто бы признает». (391 стр.)

Заявление, что второй том умнее первого, размышления о цензуре словно свидетельствуют о благополучной творческой работе писателя и даже о приближении ее к концу.

Неожиданно Гоголь посылает Шевыреву краткую записку:

«Убедительно прошу тебя не сказывать никому о прочитанном, ни даже называть мелких сцен и лиц героев. *Случилась история*. Очень рад, что две последние главы кроме тебя, никому неизвестны. Ради бога никому». (393 стр.)

Что произошло? Какая случилась история? — Об этом ничего неизвестно. С. Т. Аксаков сообщил, что в последнее свидание с его женой Гоголь заявил: печатать второго тома он не будет: в нем все никуда не годится.

Сожжение второго тома было уже предрешено.

Все дело, очевидно, заключалось в том, что поэма не отвечала религиозно-нравственным требованиям писателя, его «душевному делу»; по мере того, как Гоголь все больше и сильнее погружался в мистицизм и аскетизм, повышалась и его своеобразная требовательность к «Мертвым душам».

Летом 1851 года Гоголь решил поехать вновь на родину, но им овладел страх и нерешительность. Все же он отправился, по дороге заехал в Оптиную пустынь за советом, ехать ему, или не ехать. Монах посоветовал ехать. Гоголь во второй, в третий раз и в четвертый раз приходил за советом. Монах вышел из себя и выгнал его. Николай Васильевич возвратился в Москву.

Дорога уже не манила писателя: это было грозное предзнаменование. Нерешительность обнаруживала упадок воли.

Письма Николая Васильевича делаются все более похожими на краткие отписки.

Он все глубже уходит в себя. «Ни о чем говорить не хочется: все, что ни есть в мире, так ниже того, что творится в уединенной келье художника, что я сам не гляжу ни на что и мир кажется вовсе не для меня. Я даже и не слышу его шума». (Иванову.)

Вновь и вновь Гоголь просит всех молиться за него, за его грехи. Усиливается боязнь дьявола-искусителя. Вместе с тем, он хотел бы, но не может забыть, что существует искусство, русская литература. Она все еще влечет его к себе.

Продолжается работа над поэмой. Д. А. Оболенский вспоминает: «Граф А. П. Толстой сказывал мне, что ему не раз приходилось *слышать*, как Гоголь писал свои «Мертвые души»... Гоголь один в запертой горнице будто-бы с кем-то разговаривал, иногда самым неестественным голосом». По свидетельству того же Оболенского рукопись, по которой Гоголь тогда читал, была «совершенно набело им самим переписана, я не заметил в ней поправок».

Он охотно давал советы более молодым литераторам.

Тургеневу он говорил:

«У вас есть талант; не забывайте же: талант есть дар божий и приносит десять талантов за то, что создатель вам дал даром. Мы обнищали в нашей литературе, обогатите ее. Главное: не спешите печатать, обдумывайте хорошо. Пусть скорее создается повесть в вашей голове, и тогда возьмитесь за перо, марайте и не смущайтесь. Пушкин беспощадно марал свою поэзию, его рукописей теперь никто не поймет: так они перемараны»<sup>[39]</sup>.

Гоголя радовало все свежее, талантливое.

Г. П. Данилевский сообщает:

«— Что нового и хорошего у вас, в петербургской литературе? — спросил Гоголь, обращаясь ко мне. Я ему сообщил о двух новых поэмах, тогда еще молодого, но уже известного поэта Ал. Ник. Майкова: «Саванарола» и «Три смерти». Гоголь попросил рассказать их содержание... Я наизусть прочел выдержки из этих произведений, ходивших в списках. «Да, это прелесть, совсем хорошо!» — произнес, выслушав мою неумелую декламацию, Гоголь. «Еще, еще...» Он совершенно оживился, встал и опять начал ходить по комнате. Вид острожно-задумчивого аиста исчез. Предо мной был счастливый, вдохновенный художник»<sup>[40]</sup>.

Н. Д. Мизко представил Гоголю «Памятную записку» о жизни своего отца. Гоголь поблагодарил и сказал:

«Я описываю жизнь людскую, поэтому меня всегда интересует живой человек более, чем созданный чьим-нибудь воображением, и оттого мне любопытнее всяких романов и повестей биографии, или записки действительно жившего человека»<sup>[41]</sup>.

Литература была дыханием Гоголя и, покуда он ею дышал, он жил, несмотря на свой аскетизм и мистицизм.

Из внешней жизни отметим: в первой половине октября 1851 года Гоголь присутствует на «Ревизоре». Хлестакова играл Шумский, городничего — Щепкин. Игра как будто удовлетворила Гоголя.

5 ноября он в присутствии Тургенева, Шевырева, Погодина читал «Ревизора». Тургенев в «Литературных и житейских воспоминаниях» писал:

«Читал Гоголь превосходно... Поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью... Эффект выходил необычайный, особенно в комических и юмористических местах».

В конце 1851 года Гоголь хлопочет о новом издании своих сочинений, при том он имеет в виду и издание второго тома «Мертвых душ». Здоровье его за зиму как будто даже поправилось...

...В конце января 1852 года умерла Хомякова, сестра поэта Языкова. Гоголь был очень близок с ней. По отзывам биографов смерть ее потрясла писателя. Но конечно, она послужила только поводом к новому физическому и нравственному его расстройству, подготовлено же это расстройство было всем прошлым состоянием Николая Васильевича.

У гроба Хомяковой Гоголь сказал:

«Ничто не может быть торжественнее смерти: жизнь не была бы так прекрасна, если бы не было смерти».

Эти слова, как будто свидетельствуют, что Гоголь вполне еще владел собой. К смерти Гоголь готовился издавна. Ради того, чтобы спокойно встретить ее, от отказывал себе в земных радостях. Его любимой молитвой была молитва Василия Великого: «Господи, даждь ми слезы умиления и *память смертную*». Однако, кончина Хомяковой усилила в нем страх смерти, как он в том признался сам духовнику. «Все для меня кончено», — заявил он, стал поститься и говеть. Невольно при этом вспоминается смерть Афанасия Ивановича, который услышал голос покойной Пульхерии Ивановны и решил, что она зовет его к себе. Гоголь тоже уверил себя, что его позвали, что за плечами смерть и начал к ней с ужасом готовиться.

Похожим образом умер и отец его, Василий Афанасьевич.

На похороны Хомяковой он не явился; потом по словам В. С. Аксаковой несколько успокоился, но говорил:

«Мне стало легче. Но страшна минута смерти». «Почему же страшна?» — сказал кто-то из нас. — «Только бы быть уверену в милости божьей к страждущему человеку, и тогда отрадно думать о смерти». — «Ну,

об этом надобно сросить тех, кто перешел через эту минуту».

2 февраля Гоголь посылает два письма: Жуковскому и матери, Жуковскому он пишет:

«Сижу по-прежнему над тем же, занимаюсь тем же».

Матери жалуется на нездоровье:

«Подчас мне бывает очень трудно, но бог милостив». «О, если бы он хоть сколь-нибудь ниспослал нам помощь в том, чтобы жить сколько-нибудь в его заповедях».

Наступает масленица. Гоголь под всякими предложениями отказывается от приглашений на обеды и блины. Всех поражает его болезненный вид; не знают, что он уже несколько дней питается одной просфорой.

Щепкин рассказывает: будучи у Гоголя он сообщил ему, как в Воронеже при открытии мощей Митрофания утром он пошел в церковь и встретил мужика с ведром, в котором билась стерлядь. «Думаю себе: в церковь еще успею. Сторговал, купил рыбу и снес домой. Потом пошел в церковь... Было чудесное утро». В церкви Щепкин увидел много народа, умилился и сам стал молиться: «Неужели тебе нужны, господи наши лишения? Ты дал нам, господи, прекрасную природу, и я наслаждаюсь ею, и благодарю тебя, господи, от всей души». Тогда Гоголь вскочил и обнял меня, вскрикнув: «Оставайтесь всегда при этом!..»

Это были, очевидно, последние всплески в Гоголе «милой чувственности», последние зовы «нашей прекрасной земли». Его уже вытягивал и хоронил темный омут небытия.

Уверенность в скорой смерти, ужас пред ней возрастал. Из Ржева приехал протоиерей Матвей. Его поучения так сильно повлияли на Гоголя, что он в смятении прервал его речи: «Довольно! Оставьте, не могу далее слушать, слишком страшно».

Приготовляя Гоголя к «непостыдной кончине», Константинопольский требовал отречения от самого дорогого ему человека, от Пушкина: «Он был грешник и язычник...» — но было и еще, — прибавил о. Матвей. Что «еще», это осталось тайной между духовным отцом и духовным сыном, — заметил протоиерей Образцов<sup>[42]</sup>.

После посещения о. Матвея Гоголь совсем забросил литературную работу, еще больше измождал себя молитвами, службами и постом. В четверг на масленицу исповедовался и причастился. «За обеднею пал ниц и много плакал. Был уже слаб и почти шатался». (Погодин.)

На извозчике Гоголь ездил в Преображенскую больницу, где содержались умалишенные и душевнобольные. Он подъехал к больнице, вылез из санок, долго ходил взад и вперед около ворот, бродил по полю на

ветру и в снегу, не заходя в больницу уехал.

Искал ли Гоголь помощи как больной, но в конце концов решил, что больница ему не поможет, ездил ли он к некому сумасшедшему Корейше, которого многие считали прорицателем и святым человеком; или совершал он эту поездку по каким-нибудь другим побуждениям — все это так и осталось до сих пор неизвестным.

В воскресенье перед первой неделей поста Николай Васильевич вручил А. П. Толстому рукописи с просьбой одни отдать на просмотр митрополиту Филарету, а другие напечатать. По свидетельству Шевырева, Толстой бумаг от него не принял, опасаясь утвердить Гоголя в мысли, что он при смерти.

В ночь на вторник с 11 на 12 февраля Гоголь долго молился, потом призвал мальчика. Со свечой в руках он отправился в другие комнаты; в одной из них велел открыть трубу, вынул из портфеля связку тетрадей, положил ее в печь и зажег. Связка плохо горела, Гоголь ворошил листы. Это был второй том «Мертвых душ», а может быть и третий, плоды десятилетней работы. Когда все сторело, Гоголь, перекрестясь, возвратился в свою комнату, заплакал. Толстому он потом сказал: «Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все. Как лукавый силен, — вот он к чему меня подвинул!».

Судя по этим рассказам доктора Тарасенкова и Погодина, Гоголь, будучи очень болен, поддался временному настроению: он признавался Толстому, что на него находят моменты, когда ему хочется все сжечь.

Как бы то ни было, сожжение «Мертвых душ» не было случайным. И перед кончиной своей Гоголь терзался вопросом, не является ли его поэма подсказанной дьяволом-искусителем, или она — от бога. Под влиянием речей о. Матвея, он все больше приходил к убеждению, что она от дьявола. Правда, работая над вторым томом, он всеми помыслами старался найти идеальное и святое в русской жизни и указать пути к нему, но опытным оком художника он видел, что и здесь преобладает «вещественность»: удаются Петухи, Кошкарёвы, Бетрищевы, «душевное же дело» выглядит часто надуманным и неубедительным. Вот почему еще раньше, до своего последнего заболевания, Гоголь писал Шевыреву, что случилась история, никому не надо ничего говорить о втором томе «Мертвых душ», печатать он их не будет.

Над житейскими обольщениями Гоголь решил одержать окончательную победу. И он убил в себе художника во имя аскета-проповедника. Но искусство, но литературная работа были жизнью писателя. После уничтожения поэмы жизнь потеряла свой смысл.

Оставалась смерть. Однако, и здесь Гоголь испытал мучительные терзания: а может быть, к камину его подтолкнул дьявол. Он — повсюду, он хитер. Он часто прикрывается самым святым!.. Поистине — мильон терзаний!

В устных разговорах приходилось неоднократно выслушивать сомнения: было ли, действительно, сожжение «Мертвых душ». Свидетель один — мальчик-слуга. Сам Гоголь — скрытен, неправдив. Разве не остаются какие-то неясности во всем, что говорил он и делал? Но ведь друзья Гоголя видели тетради, переписанные начисто, без помарок. Их не осталось. Известно также, что всего было 11–12 глав. Арнольди передал содержание некоторых из этих глав, до нас не дошедших. Гоголь не раз прибегал к уничтожению своих произведений: по рассказу его слуги Якима, он сжег «Ганца». Жуковский передавал, что на его глазах он бросил в огонь украинскую комедию; уничтожению подвернулась другая комедия «Владимир третьей степени», и если Гоголь говорил, что он трижды уничтожал любимую поэму, то нет оснований этому не верить.

Неизвестно, являлся ли второй том вполне законченным. Гоголь сообщал Шевыреву о последних главах, но не говорил ли он об окончании всего тома, или только о последних главах, *им написанных*, судить трудно. Правда, он предполагал включить второй том в собрание своих сочинений, но, по справедливому замечанию Шенрока, это нисколько не означает, что второй был закончен и отделан. Можно, однако, утверждать, что работа подходила к концу.

На вопрос же о ценности сохранившихся глав и отрывков второго тома, ответ дал еще Н. Г. Чернышевский в своих «Очерках»: до нас дошли, — писал он, — лишь пять глав и притом в черновом виде. Между тем Гоголь работал чрезвычайно медленно и был суров к себе. Отрывки написаны в разное время; многие страницы Гоголем не закончены, как неудачные. Много, действительно, неубедительно, особенно части, где изображаются идеальные типы, но в других главах Гоголь по-прежнему остался великим Гоголем.

...Художник был убит. Страшилища, хари, свиные рыла одержали победу. Предстояло физическое угасание. «Надобно же умереть, я уже готов, и умру», — сказал он Хомякову. «Надо меня оставить; я знаю, что должен умереть», — записал его слова Погодин.

Николай Васильевич больше не слушался врачей, ничего не ел, пил только немного воды с красным вином. «Оставьте меня; мне хорошо», говорил он знакомым и докторам. Перестал умываться, не одевался. Увещевания духовных лиц тоже ни к чему не приводили. Доктор Тарасенков сообщает:

«По вечерам он дремал в креслах, а ночи проводил в бдении на молитве; иногда жаловался на то, что у него голова горит и руки зябнут; один раз имел небольшое кровотечение из носа, мочу имел густую, темно окрашенную, испражнения на низ не было во всю неделю. Прежде за год он имел течение из уха будто бы от какой-то вещи, туда запавшей; других болезней в нем не было заметно; сношений с женщинами он давно не имел и сам признался, что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовольствия; онаниии тоже не был подвержен».

В понедельник на второй неделе поста Гоголь соборовался и приобщился в полной памяти. Держа свечу в руке и выслушивая евангелие, обливался слезами.

Просьб его оставить в покое не послушали. По свидетельству Тарасенкова с ним решили поступить как с человеком, не владеющим собой, то есть решили лечить насильно.

«Врачи вошли к больному, стали обсматривать и расспрашивать. Когда давили ему живот, который был так мягок и пуст, что через него легко можно было ощупать позвонки, то Гоголь застонал, закричал. Прикосновение к другим частям тела, вероятно, также было для него болезненно, потому что также возбуждало стон и крик... Наконец, при продолжительном исследовании, он проговорил с напряжением: «Не тревожьте меня ради бога!»<sup>[43]</sup>.

На этом мучения Гоголя не окончились. Эскулапы решили посадить Гоголя в ванну и поставить к носу пиявки.

«Когда возвратился через три часа после ухода, в шестом часу вечера, — продолжает свое сообщение Тарасенков, — уже ванна была сделана, у ноздрей висели шесть крупных пиявок; к голове приложена примочка. Рассказывают, что когда его раздевали и сажали в ванну, он сильно стонал, кричал, говорил, что это делают напрасно; после того, как его положили опять в постель без белья, он проговорил: «Покройте плечо, закройте спину!», а когда ставили пиявки, он повторял: «Не надо!», когда они были поставлены, он твердил: «Снимите пиявки, поднимите (ото рта/ пиявки!)» и стремился их достать рукою. При мне они висели еще долго, его руку держали с силою, чтобы он до них не касался. Приехали в седьмом часу Овер и Клименков; они велели поддерживать кровотечение, ставить горчичники на конечности, потом мушку на затылок, лед на голову и внутрь отвар алтайского корня с лавровишневою водой».

Невольно вспоминаются «Записки сумасшедшего»:

«Боже! Что они делают со мной! Они льют на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня! Что я сделал им? За что они

мучат меня?»

Гоголь с пиявками у носа на смертном одре!!!

«Обращение их (врачей — А. В.) было неумолимое; они распорядились как с сумасшедшим, кричали перед ним, как перед трупом. Клименков приставал к нему, мял, ворочал, поливал на голову какой-то едкий спирт».

Доктор Баженов утверждает, что с умирающим делали обратное тому, что следовало делать: вместо кровопускания, которое только приближало смерть, надо было вливать в подкожную клетчатку соляной раствор и прибегнуть к искусственному кормлению.

Арнольди о последних моментах Гоголя сообщает:

Он посетил больного, когда тот еще вполне разумно отвечал. Два служителя, не обращая внимания на Гоголя, громко говорили, что он «беспрерывно умрет» и находили нужным как следует его потаскать:

«Возьмем его насильно, стащим с постели, да и поведем по комнате, поверь, что разойдется и жив будет... Размотаем его, он очнется... на свет божий взглянет, и сам жить захочет. Да что долго толковать, бери его с одной стороны, а я вот отсюда, и все хорошо будет..». Арнольди пришлось вмешаться и запретить «разматывать» отходящего в вечность.

Утверждали и утверждают, будто Гоголь умер сумасшедшим. Все это — неправда. Почти до самой смерти он не терял способности разумно сознавать и отвечать.

В часу одиннадцатом он громко закричал:

«Лестницу, поскорей, давай лестницу!»

Это были последние слова Гоголя. Лестница для него служила символом нравственного восхождения. Шереметьевой он в свое время писал:

«Долгое воспитание еще предстоит мне, великая, трудная лестница»...

...«В двенадцатом часу ночи, — рассказывает Тарасенков, — стали холодеть ноги... Дыхание сделалось хрипкое и еще более затруднительное; кожа покрылась холодной испариною, под глазами посинело, лицо осунулось, как у мертвеца».

В четверг 21 февраля 1852 года в восемь часов утра Николай Васильевич Гоголь скончался.

Одно из последних его завещаний:

«Будьте не мертвые, а живые души!»

Строки, написанные им за несколько дней до кончины:

«Аще не будите малы, яко дети, не ввидите в царствие небесное...

Помилуй меня, прости, господи! Свяжи вновь сатану таинственнойю



силою неисповедимого креста...»

«Как поступить, чтобы признательно, благодарно, и вечно помнить в сердце своем полученный урок?..»

Строки, на которых образуются «Мертвые души»:

«Я приглашаю рассмотреть свой долг и обязанность земной своей должности, потому что — это уже *нам всем темно представляется* и мы едва...»

Гоголь умер в припадке аскетизма: он уморил себя голодом. Болезнь Гоголя впоследствии доктор Баженов, написавший ценную брошюру, определил таким образом:

«Гоголь был субъектом с прирожденной невропатической конституцией. Его жалобы на здоровье в первую половину жизни сводятся к жалобам неврастеника. В течение последних 15–20 лет жизни он страдал периодическим психозом в форме *malancholia periodica*. По всей вероятности, его общее питание и силы были подорваны перенесенной им в Италии малярией. Он скончался в течение приступа периодической меланхолии от истощения и острого малокровия мозга, обусловленных как самою формою болезни — сопровождавшим ее голоданием и связанным и нею быстрым упадком питания и сил, — так и неправильным ослабляющим лечением, в особенности кровопусканием». В оправдание ошибок врачей Баженов указывает на то, что болезнь Гоголя впервые описана была только в 1854 году<sup>[44]</sup>.

После отпевания в университетской церкви 25 февраля при огромном стечении народа тело Гоголя было погребено в Данилином монастыре.

Маркевич, один из друзей Гоголя, рассказывал А. О. Смирновой: он спросил нарочно у одного жандарма:

«Кого хоронят?»

Жандарм браво ответил:

«Генерала Гоголя».

Тургенев был подвергнут высылке в деревню за то, что в статье-некрологе назвал Гоголя великим писателем.

На надгробном памятнике — надпись из книги пророка Иеремии: «Горьким словам моим посмеюся».

В 1909 году в Москве на Арбатской площади, был открыт памятник Гоголю работы скульптора Андреева: Гоголь согбен, как бы вдавлен в камень огромной тяжестью. Это — Гоголь последних лет своей жизни.

В 1931 году останки Гоголя были перенесены на Новодевичье кладбище, реликвии же переданы в Исторический музей.

## ГЛАВА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

*Духом схимник сокрушенный,  
А пером Аристофан.*

*П. А. Вяземский.*

«Какое ты умное, и странное, и больное существо», — сказал Тургенев о Гоголе.

«Гоголя, как человека, — утверждал Аксаков, — знали весьма немногие. Даже с друзьями своими он не был вполне, или, лучше сказать, всегда откровенен. Он не любил говорить ни о своем нравственном настроении, ни о своих житейских обстоятельствах, ни о том, что он пишет, ни о своих делах семейных... Разные люди, знавшие Гоголя в разные эпохи его жизни, могли, сообщить о нем друг другу разные «известия...».

Он тщательно зашифровывал в произведениях свои душевные тайны. Их было у него много. Его характер был причудлив, противоречив, раздроблен, Шопенгауэр в «Новых паралипоменах» остроумно заметил: «от искусства всякий получает лишь столько, сколько он вносит в него сам». Пожалуй, ни один русский писатель не подвергался такому личному пониманию, какому подвергался Гоголь; всякий танцевал от своей печки.

С большой осторожностью следует относиться к его переписке: Гоголь хитрит в ней, обманывает, бывает неискренен. При ссылках на ее ошибки, и даже самые грубые, неизбежны; к тому же, четыре тома писем, собранных Шенроком, изобилуют промахами, даже искажениями текста. Вот почему так трудно дать жизнеописание Гоголя и еще труднее воссоздать его портрет.

Николай Васильевич однажды обмолвился об «орлином соображении вещей». Он обладал гениальным даром такого соображения. Принято думать, что наши обычные восприятия — конкретны и индивидуальны. Это неверно; в повседневной нашей жизни у средних, «нормальных» людей преобладают скорее *общие* восприятия. Для того, чтобы выделить конкретное и индивидуальное, требуется особое напряжение, внимание и способность; нужно интимно вжиться в вещь, в человека, в событие или происшествие. Это делается не часто и далеко не всем. Художник от обыкновенного человека отличается именно этой способностью из общего

выделять индивидуально-типическое. Гоголь обладал этим даром до ясновидения. С поразительной остротой он видел «вещественность» мира. Он понимал, чувствовал, любил ее. Среди русских писателей в этом он до сих пор не имеет себе равных. Даже Толстой уступает ему. О своем свойстве «соображения вещей» Гоголь писал в «Авторской исповеди»:

«У меня только и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных. Угадывать человека я мог только тогда, когда мне представлялись *самые мельчайшие подробности* их внешности. Я никогда не писал портрета, в смысле простой копии. Я *создавал* создавал его вследствие соображения, а не воображения. Чем более *вещей* принимал я в соображение, тем у меня верней выходило создание».

Говоря о слиянии с героем, Гоголь признавался:

«Это полное воплощение в плоть, это полное округление характера совершалось у меня только тогда, когда я заберу в уме своем весь это прозаический существенный дрязг жизни, когда, держа в голове все крупные черты характера, соберу в то же время вокруг его все тряпье до мельчайшей булавки, которое кружится ежедневно вокруг человека».

Художник, по мнению Гоголя, должен обладать способностью представлять предметы отсутствующие так живо, как будто бы они были пред нашими глазами.

Гоголь считал также, что писателю перед тем, как взяться за перо, следует «вообразить себе живо *личность тех, кому и для кого он пишет*». Только тогда приобретается стиль и получается «физиогномия слова». (Письма, том II, 653 — 64 стр.)

И он, действительно, собирал мельчайшие подробности. Он также любил разные вещицы, накопал их, дарил, возился в ними, кроил жилеты, платья, рисовал узоры ковров, вышивал, сажал деревья, вникал в постройки: Костанжогло выдает мысли самого Гоголя, когда говорит, что его веселит сама работа, что деньги деньгами, но еще важнее сознавать себя творцом и магом, от которого сыплется изобилие. Гоголь очень ценил живопись, архитектуру, скульптуру, музыку. Он чувствовал связь вещи с целым, с космосом. Его любимыми произведениями были «Одиссея» и «Иллиада», проникнутые могучей, первобытной материальностью мира. Созерцая вещь, Гоголь видел, если так позволено будет выразиться, «душу» ее в неискаженных и негрязненных чертах. Не о художнике-живописце только, но и о себе самом написал он в «Невском проспекте»:

«Он никогда не глядит вам прямо в глаза; если же глядит, то как-то мутно, неопределенно... Это происходит оттого, что он в одно и то же

время видит и ваши черты и черты какого-нибудь гипсового Геркулеса».

Гоголь обладал этим двойным зрением.

Из внешних чувств у Гоголя были лучше всего развиты зрение и обоняние. Глаз у него был цепкий до мелочей и в то же время проникающий в существо. Недаром Гоголь так часто изображал глаза «пронзительные», колдовские, берущие самую душу, глаза, от которых некуда скрыться. Иногда эта обостренность взгляда даже тяготила Гоголя.

«Орлиное соображение вещей» это один природный дар Гоголя.

Но Гоголя обладал и другим не менее пленительным даром.

«Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу, уже от рождения моего, несколько хороших свойств; но лучшее из них, было *желание быть лучшим*». Действительно, у Гоголя всегда было сильно развито стремление избавиться от своих недостатков, но еще больше стремился он исправить общественную жизнь. Он много и упорно, он всю жизнь размышлял о человеческом величии и низости; неустанно занимали его духовный рост и духовное развитие человека-гражданина.

Он домогался того, чтобы люди в своей обычной жизни руководились товариществом, дружбой, взаимной любовью и уважением, отвагой, чувством достоинства, крупными и сильными страстями, чтобы характеры людские были цельными и девственными. С юных лет Гоголь возненавидел жизнь небокопителей, хотел понять и осмыслить высокое значение человека. Как художник слова, он полагал, что писатель никогда не должен ограничиваться наблюдением, но обязан «творить творение свое в поучение людей».

Из совмещения этих обеих природных способностей, которыми Гоголь одарен был до гениальности, должно было произрасти прекрасное, могучее искусство, *гармонично* воплощающее «вещественное» и «духовное». Мир должен был предстать перед создателем напоенный жизнью, «милой чувственностью», нашей чудесной землей и в то же время озаренный возвышенным духом.

Каким свежим, блистательным и одухотворенным должен был казаться Гоголю мир в лучшие моменты его жизни!

«Прежде в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства... любопытного много открывал... детский любопытный взгляд... Все останавливало меня и поражало... О, моя юность! О, моя свежесть!».

Отдаленным, ослабленным и не совсем звучным эхом этого «любопытства» являются некоторые отрывки из «Ганца». В наивных и неуклюжих виршах иногда вдруг почувствует читатель здоровую жизнь, ясную, как сельское летнее солнечное утро.

Более яркие отзвуки этой очарованности миром содержат в себе «Вечера», отчасти «Миргород». Веселый смех, песни, гопак, украинские ночи, затопленные солнцем дни, ярмарочный гам, славные и простодушные парубки, дивчины согреты лирическим чувством, переходящим, правда, в грусть, которая, однако, только облагораживает грубоватую, разноцветную, но чувственно-прекрасную и саму по себе безгрешную жизнь.

Отзвуки этой жизни читатель находит далее в описаниях Днепра, степей, таких характеров, как Тарас, Остап, Андрий, в изображениях плюшкинского сада, в невольной дани чувственности, когда Гоголь рассказывает о подвигах за обеденным столом Петуха, Собакевича. Разумеется, и эти изображения отпечатлевают определенный общественный быт, натурально патриархальный, но они наиболее соответствуют природе гоголевского гения.

По своим природным дарованиям Гоголь должен был оставить произведения, в которых «вещественность» Гомера находила бы вполне органическое и цельное сочетание с высоким и суровым духом Данте. Он мог изобразить не уродов и страшилищ, а людей труда, крестьян, мастеровых, изобразить с любовью, со страстью. У него были необыкновенные данные для этого. Еще в юности, лицеистом, он усердно посещал окрестные деревни, имел там много знакомых, записывал разговоры. Народные песни он собирал почти до конца своей жизни. А разве плох образ Рудого Панько, чудесный образ, не оцененный нашей критикой? И разве не намечались во всех этих Левках и Ганнах образы большой художественной силы и убедительности? Гоголь любил зло посмеяться, но над трудящимися он зло не смеялся. Это отметил еще Герцен:

«Пока он, — писал Герцен, — находится в комнатах начальников департаментов, губернаторов, помещиков, пока его герои имеют, по крайней мере, орден св. Анны, или чин коллежского асессора, до тех пор он меланхоличен, неумолимо полон сарказма... Но когда он, наоборот, имеет дело с ямщиками в Малороссии, когда он переносится в мир украинских казаков, или шумно танцующих у трактира парубков, когда рисует перед нами бедного старого писаря, умирающего от огорчения, потому что у него украли шинель, тогда Гоголь совсем иной человек. С тем же талантом, как прежде он нежен, человечен, полон любви, его ирония больше не ранит, не отравляет». (Собр. соч. т. IX, стр. 97.)

Общеизвестно, что ремесленники прекрасно удавались Гоголю. А сколько добродушного сочувствия в изображении веселого бедняка Пеппе и каким неподдельным горьким чувством проникнуты размышления над

списками умерших крестьянских душ!

В Гоголе пропал гениальный *народный* художник, писатель «во вкусе черни». Произошло же это оттого, что он жил в мрачной, в отравленной общественной среде. Еще в детстве у Гоголя наблюдались болезненные предрасположения. При здоровых условиях они не получили бы развития, но налицо был крепостная, николаевская Россия. Отец Гоголя при веселом нраве был суеверен, мнителен, рано заболел страхом смерти. У родственника магната Трощинского Василий Афанасьевич являлся артистом, шутком, исполнителем самых разнообразных поручений, что, вероятно, зорко примечал наблюдательный Гоголь — подросток. Мать Гоголя, Мария Ивановна, отличалась крайней неуравновешенностью характера, склонностью к мистицизму.

Гоголь воспитывался в окружении мелкого и среднепоместного крепостного уклада. Этот уклад разлагался. Рынок, деньги, банки, Европа, хлебные цены, фабрики и заводы властно вторгались в тихие Васильевки. Крепостная «вещественность» превращалась в рухлядь, в ветошь и «дребезг», в хлам и ералаш. Водворялась мерзость запустения и оскудения, нечто захолустно-унылое, щемяще-тоскливое и безнадежное. Люди были похожи на свои вещи; от них веяло трупными запахами. Они чавкали, сопели, жрали, спали, тупели, теряли человеческий облик.

В Нежинском лицее Гоголя только терпели как «бедного родственника». Над его неряшеством, хилым видом смеялись и издевались. Это было к тому же время, когда Александр «благословенный» скинул с себя маску «либерального» реформатора, впал в окончательное ханжество. В школах преобладали катехизис, обедня, поповская ряса, поучения и проповеди.

14 декабря 1825 года новый царь Николай расстрелял картечью революцию декабристов, виселицами и каторгой закрепил на ними победу. Наступила еще более зловещая полоса господства пакли, кнута, казармы и казематов. Лицемерие, двоедушие, пренебрежение к человеку, цензурная свистопляска, раболепство стали символами строя.

От нежинских «существователей», от лицейских тупиц и педантов Гоголь бежал в столицу. Он был без средств, без поддержки. Здесь он увидел: «все, что есть лучшего на свете, все достается или камер-юнкерам, или генералам». В канцеляриях и департаментах его гражданские чувства были никому не нужны, нужны были хороший почерк и умение угодить начальству. Хорошего почерка не было, умение угождать пришло позже, но часто изменяло.

Стал писать. Надо было то и дело оглядываться на голубой мундир

жандарма, на волосатую руку цензора. Служба не принесла удачи, преподавательская деятельность потерпела крушение. В департаментах Гоголь увидел ничтожные существа, Башмачниковых, их зависимость от копейки. В литературных кругах он нашел Пушкина, но действительность литературную определяли щелкоперы, торгующие пером оптом и в розницу, распивочно и навывнос.

Старая, патриархальная «вещественность» крепостной России выглядела куда как неприглядно.

Гоголь присмотрелся к новой «вещественности», какую создавал «мануфактурный век». Она, пожалуй, еще больше напугала его: его поразили мишура, шаблон, мода, безвкусие, рекламность, легкие хвататы и приобретатели, жулики и мошенники. Нарождающийся в России капитализм обратился к Гоголю не своими положительными, а своими отрицательными чертами: хищничеством и рвачеством. Это черты отечественного капитализма, действительно, тогда бросались в глаза с наибольшей силой и наглядностью. В мелких и средних поместьях чаще всего хозяйничали либо «страшные реформаторы», либо заведомые плуты приобретатели, Павлы Ивановичи. Да и в столице они были на виду и слава об их подвигах отнюдь не лежала камнем.

Выражаясь словами Маркса, Гоголь увидел товар как «чувственно-сверхъестественную вещь». Он нашел, что товар обладает странными и страшными свойствами: разрушает поместную патриархальную жизнь, развивает в человеке корысть, алчность, порабощает человека человеку, делает его расчетливым, холодным эгоистом, лишает его души.

Пора покончить с либеральной жвачкой, будто Гоголь «обличил» крепостной уклад. Крепостного уклада давным давно нет и обличать его, ссылаясь на Гоголя демократично, но в то же время и лояльно по отношению к современному капиталистическому строю. Конечно, Гоголь обличал крепостное право, но, во-первых, он обличал это право, как крепостную *собственность*, а во-вторых, он обличал также и «мануфактурный век» и эти его обличения заслуживают самого пристального внимания.

Гоголь многое разглядел в вещи-товаре. Но для того, чтобы глубже проникнуть в святая святых товара, надо было поднять совокупность общественных имущественных отношений, которые находили в нем свое выражение. Надо было вскрыть товарный фетишизм, увидеть, что в товаре отдельные частные работы овеществляются как звенья общественно-полезного труда, что этот общественно-полезный труд является единственным мерилем стоимости, но что в товаре эти общественные

отношения находят не прямое выражение, а косвенное, в силу чего они кажутся вещными отношениями между людьми и общественными отношениями между вещами.

Гоголь не был сведущим в политической экономии; с него нельзя требовать, чтобы в тридцатых и сороковых годах он понял сущность товарного общества; но, как художник с орлиным соображением вещей, он пристально вглядывался в товар и многое мог в нем почувствовать более верно, чем это случилось в действительности.

Почему же он не разглядел, не понял своеобразных свойств товара? Это случилось потому, что новые общественные отношения у нас находились тогда еще в зачаточном состоянии; нужен был не крепостной Восток, а Запад, с его развитыми противоречиями, с классовыми битвами, с накоплением научных знаний, нужен был революционный гений Маркса, чтобы тайна товара была вскрыта по настоящему. Гоголь, хотя и живал подолгу за границей, посмотрел на товар из натурально-патриархального поместья. Об этом поместье Маркс писал:

«Личная зависимость характеризует тут общественные отношения материального производства в такой же степени, как и иные воздвигнутые на этой основе сферы жизни. Но именно потому, что отношения личной зависимости составляют основу данного общества, отдельным работам и продуктам не приходится принимать отличную от их реального бытия фантастическую форму. Они входят в круговорот общественной жизни и в качестве натуральных служб и натуральных повинностей. Непосредственно-общественной формой является его натуральная форма, его особенность, а не его всеобщность, как в обществе, покоящемся на основе товарного производства... Таким образом, общественные отношения лиц в их труде проявляются здесь именно как их собственные *личные отношения*, а не облакаются в костюм *общественных отношений* вещей, продуктов труда». («Капитал». Т. I, стр. 45.)

Гоголю товар-вещь казался фетишем, обладающим таинственными и страшными свойствами. Он, как никто чувствовал этот фетишизм. Он полагал, будто вещь «мануфактурного века» *сама по себе* вызывает в людях корысть, алчность, себялюбие, мелкую расчетливость. Даже люлька Тараса таит гибель. Одно из отрицательных свойств вещи-товара заключалось по Гоголю в том, что она как бы отрывалась от целого, являлась изолированной. Такие представления у Гоголя получились потому, что общественные отношения людей, скрытые в товаре, были ему не видны: общество, как он утверждал в черновом письме к Белинскому, представлялось ему простою совокупностью единиц. Но Гоголю были



прекрасно видны свойства товаров вызывать в людях яростную борьбу из-за копейки, стяжательство, плутовство.

Естественно, что эти свойства показались Гоголю дьявольским наваждением. Дьявол-искуситель с помощью вещи-товара разрушал патриархальный уклад, совращал и губил людей, создавал сутолоку, бестолочь, ералаш. Являлся чорт неведомо откуда, из-за дальних заморских стран в виде Басаврюка, цыгана, колдуна, азиата-ростовщика. Чорт в произведениях Гоголя олицетворял собой таинственные общественные отношения «мануфактурного века», непонятые писателем и не видные ему, но неизменно ощущаемые им как порок и зло. Позже чорт уступает место Хлестакову и Павлу Ивановичу Чичикову.

*Так, мир «милой чувственности» подменялся ветошью и дребезгом, «заманками» XIX века, низменными образами, раздробленным и плутовскими характерами.*

И в себе Гоголь находил много низменного. Чтобы пробить дорогу, с отрочества приходилось скрытничать, лицемерить, выслуживаться перед богатыми родственниками, перед воспитателями. Надо было уметь заручаться полезными связями, знакомствами. Гоголь обнаружил в этом незаурядную настойчивость. С годами он сделался настоящим дельцом. Он превращал своих друзей в ходатаев по своим делам, проник в среду Пушкина, Жуковского, Дмитриева, в высший свет. Он сделался там кем-то, близким к приживальщикам; двоедушничал, унижался, обманывал холодно и расчетливо. К этому его приучала вся обстановка николаевской действительности. Вместе с тем он высокомерно пророчествовал, нудно поучал, требовал преклонения пред собой. Ф. М. Достоевский не без основания взял Гоголя времен «Переписки» прототипом Фомы Опискина в «Селе Степанчикове». Действительно, в Гоголе были черты, делавшие его похожим на Опискина.

Но, в противоположность Опискину, он мучительно сознавал эти свои недостатки. В его глазах они углубляли пропасть между вещественным и духовным. Углублению этой пропасти, возможно, содействовало и расхождение в области половой жизни, «физиологического аппетита» с высшими психическими состояниями, как о том можно судить по «Вию», по «Страшной мести», по «Невскому проспекту» и по разным намекам в письмах.

Такими путями развивался в Гоголе взгляд на материальное и чувственное как на нечто порочное и отвратительное. Гоголь, однако, недаром сообщал о себе, что в нем всегда были заложены стремления стать лучше. Повторяем, внутренняя жизнь его отличалась крайней

напряженностью. Он был художник-моралист-мыслитель. Искусство для него являлось средством послужить обществу. Он обладал сильной волей, упорством и никогда не удовлетворялся собой и своими произведениями. Его занимала душа человека, ее строй, движения и порывы. Судьбы родины, Европы, человечества его постоянно тревожили. От умел смирять и обуздывать свои низшие потребности во имя высших.

Но и духовная жизнь Гоголя получала питание, отнюдь не доброкачественное. По некоторым его задаткам он отличался архаическим складом чувств и мыслей. Может быть, еще от предков, из которых некоторые были лицами духовного звания, к нему перешло предрасположение к религиозности. Поместная среда, александровская и николаевская эпохи, деятельно укрепляли эту религиозность. Распад натурально-поместного уклада тоже усиливал ее.

Рушился исконный быт, порывались естественные связи с людьми, с землей, с обиходом. Откуда-то со стороны вторгалось нечто вздорное, бессмысленное, разобщенное. Взор невольно искал опоры в потустороннем мире. Всякая религия зиждется на дуализме тела и души. Православие этот дуализм доводит до пропасти между материальным и духовным. Дух в чувствах и мнениях Гоголя все больше отрывался от своей первоосновы, от материи и противопоставлялся ей. Духовное обозначало христианское, аскетическое, потустороннее, между тем как материя являлась все более грязной, пошлой, дробной.

В самой религиозности Гоголя было много примитивного, даже дикарского. Он был суеверен, верил в предзнаменования, в чудеса, в то, что с помощью магических средств можно изменять естественное течение вещей. В основе тут лежало чувство, что все вещи интимно связаны друг с другом, с человеком, чувство, очень сильное, «вещественное», но лишенное реальных представлений, как можно изменять в свою пользу мир. С другой стороны, Гоголь впитал в себя и высшую религиозность христианства. *Он был маг, волшебник, колдун, который хотел быть христианином.* И это тоже питало его дуализм.

К аскетизму вели и общественные взгляды Гоголя, как они впоследствии сложились. Он видел кругом Чичиковых, Собакевичей, Плюшкиных, городничих, Хлестаковых, жалких Башмачкиных и Поприциных, чувствовал и понимал зависимость их уродств, их омертвения от окружающей их «вещественности», но он не видел, вернее, старался не видеть; что «вещественность» уродовала людей благодаря сложенным имущественным и иным отношениям, какие порождали производительные силы. Не имея их в поле своего зрения, Гоголь,

естественно, был далек и от взгляда, что человек есть совокупность общественных отношений, что чувства и мысли определяются «вещественностью» не непосредственно, а через эти отношения и через всю сложнейшую идеологическую надстройку.

Вещь и человек сопоставлялись им прямо, механически. Вещь скрывает в себе «соблазны», человек таит в себе «страсти». Дабы уничтожить уродства, надо отказаться от вещей и подавить в себе пороки. Надо заняться, стало быть, не изменением имущественных и иных общественных отношений и не изменением общественного человека, а личным хозяйством человека вообще и развитием в нем аскетического духа. Чем более зрелым делался Гоголь, тем сильнее он обвинял самого человека. Так возникло «душевное дело» Гоголя. Духовное начало тоже принимало нездоровый характер. Особенность Гоголя не в том, что он признавал дуализм души и тела, а в том, что он довел этот дуализм до предельной крайности. И в себе он соединял Фому Опискина и высокого, одухотворенного творца. Напомним еще раз его горькое восклицание:

«Часто я думаю о себе: зачем бог создал сердце, может, единственное, по крайней мере, редкое в мире, чистую, пламенеющую души; зачем он одел все это в такую страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения».

Про Гоголя в известном смысле можно сказать, что он написал в «Мертвых душах» о Хлобуеве: Хлобуев странным образом совмещал в себе глубокую религиозность с беспутством.

В «Вечерах на хуторе» еще много свежести и, выражаясь словами Пушкина, «веселости простодушной и вместе лукавой». Но уже и там в молодую и юную вещьественность мира, в наивное людское общество врываются дьявольская красная свитка и свиное рыло. Показывается Басаврюк со своими червонцами, ведьма-утопленница, у которой сквозь прозрачное тело что-то чернеет, — нежить путает деда, чорт крадет месяц, ведьма-Солоха путешествует на помеле. Появляется неведомо откуда страшный колдун в красном жупане, встают мертвецы. Мир отвратительных образин делается все более живым и подлинным, все сильней сливается с жизнью, все плотнее заслоняет ее собою, чтобы самому стать действительностью. Гоголь ищет спасения от нежити в казацком прошлом, у старосветских помещиков, но «орлиное соображение вещей» невольно заставляет художника обращаться к настоящему. Омерзительные хари множатся, лезут, обступают. В «Вии» они овладевают бурсаком-философом. Теперь они слились с действительностью, воплотились. Гоголь делается вполне «реальным» писателем, но его

реальные люди сами превращаются в нечто, пожалуй, хуже всякой нежити.

В этих харях читатель узнает страшное, мертвое лицо николаевской России. Воплощаются также червонцы Басаврюка и таинственные клады: они принимают вид ассигнаций, закладных, рыночных товаров, разваливающейся поместно-крепостной и новой, идущей ей на смену, капиталистической собственности.

В страхе и ужасе Гоголь спасается от мерзостных рыл и низкой вещественности за границу: может быть, оттуда, из-за прекрасного далека родина предстанет другой, очистится от харь, от рухляди и грязи; может быть, Запад принесет облегчение. Но Запад наполнен шумом и дрязгом вещественности девятнадцатого века. Как будто какой-то просвет мелькает в Риме с его руинами, с картинами старинных мастеров, но писатель уже не в силах оторваться от России. А вдобавок его обуревают собственные пороки, хари и рыла, живущие внутри.

Еще раньше художник научился поступать, как в древнейшей древности поступали его предки, веровавшие в колдовство. То, что они ненавидели, они изображали. Они полагали, что таким путем приобретают власть над тем, кого изображают, берут часть жизни врага и освобождаются от его влияния. Гоголь рисовал, больше, — он высекал ненавистные личины, присоединял к их порокам свои пороки и страсти, преследовал; смеялся, заклинал их. Подобно Хоме Бруту, чертил он вокруг себя волшебный круг, читал святые слова, стараясь ничего не видеть кроме священных букв. Все было напрасно.

«Труп уже стоял пред ним на самой черте и вперил на него мертвые позеленевшие глаза».

Труп была тогдашняя Россия, трупом казался Гоголю Запад, трупом мнился ему весь мир, все материальное. Художник стоял один, во тьме, когда «лежит неподвижная полночь», всеми оставленный. Вокруг билась в окна несметная сила чудовищ, нечто хаотическое, косное, космически-безжизненное, материально-мертвое, готовое поглотить, как ничтожную песчинку, человеческую личность со всеми помыслами, чувствами и мечтаниями. Одно время заклятия искусством как будто помогали, но пришло время — они перестали помогать.

Тогда Гоголь пытался заклясть образы и низкую вещественность мира другим путем. Надо отказаться от внешней жизни, от всего материального, в пользу внутренней жизни. Надо построить в себе другой мир, мир Христа, христианского подвига, душевного спасения, в противовес харям и мордам изобразить людей совершенной духовной красоты. Но чтобы их изобразить, надо очиститься от всего земного прежде

всего самому. Святое и чистое создается только непорочною рукою. И разве можно жить, созерцая и изображая одни лишь подлые, пошлые личины? Кто скажет, что неправ художник, когда в противовес им он ищет совершенное! Прочно живет в потомстве только положительное создание. Такова «Одиссея», «Илиада», «Божественная комедия», Пушкин в лучших своих вещах.

Гоголь пытается создать красоту духовную, образы идеальных русских людей. Но для этого надо самому сделаться более чистым. Главным препятствием является низкая, греховная плоть. Как соединить ее с духовными помыслами и поступками? Как достигнуть гармонии? Человек сам этого достигнуть не в силах. Нужна помощь бога, его благодать. Крайне любопытно, как Гоголь определяет, что есть бог. На это очень мало обращали внимания.

«Бог есть, — пишет Гоголь, — действительно, *середина* всего». (IV, стр. 8) Бог — благоразумие: «Без бога мне не поступить благоразумно» (IV, 51.) Но что такое середина и благоразумие?

«Я под словом «середина» разумел ту высокую *гармонию* в жизни, к которой стремится человечество». (IV, 85.)

Итак, бог есть гармония. Он над миром, он — личность, но именно он предустанавливает гармонию, Очистив плоть, он должен воссоединить ее с духом. Этот бог — часто гоголевский бог.

Гоголь повсюду ищет гармонии — бога. Ему кажется, что «Одиссея» воскрешает забытую древнюю пору, когда еще люди не были «лоскутными», мелкими, когда было много младенчески-прекрасного, гармоничного и цельного, утраченного впоследствии человеком. Какое-то таинственное преобразование плоти и духа, их органическое влияние мерещится ему при ожидаемом им всеобщем воскресении мертвых; он старается найти это преобразование в таинстве причащения. («Размышления о божественной литургии».)

«Середина», «благоразумие», гармония по вере Гоголя даруются не умом, а мудростью, благодатью. Гоголь молит, вопиет об этой благодати, но не находит ее в себе. Он безблагодатен. Его вера, молитва — от жалкого человеческого ума, а не от сердца. Да и есть ли вера в нем, хотя бы и от ума? Он часто и такой веры не видит в себе.

Он никого не любит, он порочен, не в силах освободиться от лжи, от высокомерия, причуд. Пленение материальным миром ведет к человеческой гордыне, к своевольному бунту, к стремлению надо всем поставить свою власть, к личному обожествлению, к крайнему эгоизму. Он никогда не достигнет простоты, естественности, самоотречения. Его перо бессильно

изобразить чистое, добродетельное, идеальное. Не бывать колдуну христианином. Будто непроизвольно, будто по наитию некоего злого духа продолжает он живописать мошенника Чичикова, обжору Петуха, небокопителя Тентеникова, самодура Бетрищева, полоумного Кошкарева, распутного Хлобуева. Их фигуры прекрасны, но это только продолжение первого тома поэмы. Его глаза продолжают превращать живое в камни. А где же результат «душевного дела», где идеальные русские люди?

Огромным усилием воли, великим напряжением ума Гоголь снова чертит вокруг себя волшебный круг: создает утопию — воображаемый патриархально-крепостной строй, управляемый высоко-нравственными помещиками, капитан-исправниками, генералами и царем-первосвященником. Учитывая новые веяния, решительную победу меркантильного «мануфактурного века», он творит положительных героев: помещика-фабриканта Костанжогло и откупщика Муразова.

«Орлиное соображение вещей» и здесь во многом не изменило писателю: Костанжогло и Муразов, действительно, положительные характеры в том смысле, что им принадлежало ближайшее будущее в России: они шли на смену Коробочкам, Ноздревым, Плюшкиным, олицетворяли собой победоносный русский капитализм. В этом Гоголь не ошибся, представив их агентами своего «душевного дела». Что же в них духовного, душевного? Костанжогло — только хозяин. «Воздělывай землю в поте лица своего... Тут нечего мудрить». Землю он, однако, воздělывает не своими, а крепостными руками. Костанжогло — кулак; он — груб, прижимист, он думает только о вещественном. Чичиков пришелся ему по нраву: рыбак рыбака видит издалека. Его идеал — «простая жизнь», то есть, крепостное хозяйство, освобожденное от хлама, от роскоши и заманок мануфактурного века, но уже с фабриками, которые «заводятся сами собой».

Другое — представитель «душевного дела» откупщик Муразов, миллионщик, у него «нет соперников». Радиус велик. Он нажил миллионы без греха. Уж не смеется ли, не издевается ли над нами писатель, уверяя, что можно спаивать население без греха? Что же тогда остается посчитать за грех? Нет, гениальный писатель не смеется над нами. Кулак Костанжогло, откупщик Муразов взяты им именно для того, чтобы показать, как низкая вещественность мира совмещается с горными полетами духа: ведь человек это — чорт и ангел, роза и жаба, колдун и святой. Гоголь намеренно хотел соединить святость с откупом, кулачество с идеальностью в полном соответствии с существом, с направлением своего художественного творчества. «Вещественность», однако, на этот раз

победила: Костанжогло вышел только кулаком-крепостником, а Муразов — откупщиком. Гоголь много смеялся над низменной, пошлой жизнью, но и она не оставалась пред ним в долгу: она сыграла с ним злую шутку, подсунув вместо идеальных русских лиц кулака и спаивателя.

Силен бес, сильна «вещественность». Кто знает, какие герои, события, какой конец поэмы по временам представлялся автору!

«В молодости, — рассказывает Иероним Ясинский, — в Нежине я слышал предание, что Чичиков должен был скончаться от несварения желудка, так как в его имение вздумал заехать и посетить его митрополит, и, не доверяя поварам и кухаркам, сам Павел Иванович в течение двух дней постоянно бегал на кухню, наблюдал и, что называется, перепробовал до объедения разных солений и сладостей. Митрополит приехал, а Чичиков уже отдал богу душу, и тогда была сказана удивительная по ораторскому искусству, необыкновенная, попавшая во все хрестоматии, речь над прахом Павла Ивановича русским святителем». («Тайны Гоголя».)

Если это и выдуманно, то выдуманно превосходно, вполне в духе Гоголя. Особенно в его духе речь митрополита над трупом Павла Ивановича; кощунство не раз позволял себе Гоголь: вспомним церковь в «Вии», Казанский собор, куда забежал нос майора Ковалева. И разве он не признавался, что многие содрогнулись, если бы знали, какие чудовища готов он был иногда изобразить.

Стремление быть лучше уводило в аскетизм, в христианскую догматику, а «орлиное соображение вещей» все более ярко и ясно обнаруживало отвратительные образы и низменную вещественность. Пропасть между материей и духом расширялась и углублялась. Она уже походила на ту пропасть, у которой сторожил колдуна в Карпатах страшный всадник: «дна ее никто не видал». Бог не помогал, благодать и молитвы не спасали художника. «Труп уже стоял пред ним на самой черте и вперил на него мертвые, позеленевшие глаза». Художник пал бездыханным, предварительно превратив себя в живой труп.

Гоголь совершил суд над собой с состоянием болезненного припадка. Здесь уместно несколько подробнее сказать об его болезни. Доктор Баженов утверждал, что Николай Васильевич еще смолodu заболел припадками периодической меланхолии.

О болезни Гоголя в настоящее время можно сообщить больше, чем сообщил тридцать с лишним лет назад Н. Н. Баженов. Психопатология за эти года сделала значительные шаги вперед.

Гоголь принадлежал к шизоидным темпераментам с шизофренической склонностью. Отличительная черта этих шизоидов — колебания между

крайней впечатлительностью и тупостью. Кречмер так определяет шизоидов:

«Только тот владеет ключом к пониманию шизоидных темпераментов, кто знает, что большинство шизоидов отличаются не одной только чрезмерной чувствительностью или холодностью, но обладают тем и другим одновременно». («Строение тела и характер».)

Шизоид тверд, как железо, и способен на самые тонкие и сентиментальные чувства. Между собой и миром он ощущает завесу как бы из стекла. Он оторван от внешнего мира. В нем отсутствует единство и последовательность поступков, он как бы склеен из лоскутков. Отсюда неожиданности и странности в поступках.

«У некоторых лиц... ненормально долго сохраняются инфантильные установки эмоций, которые затем своеобразно изменяют развитие сексуального инстинкта, окрашивают или оттесняют его. Сюда относится прежде всего чрезмерно сильная эмоциональная привязанность к матери».

«Робость... является одной из наиболее частых характерных свойств будущих шизофреников... Наряду с этими чрезвычайно сильными задержками мы находим... полную утрату задержек, цинические, бесстыдные форма сексуальности».

У нормальных людей психическая и соматическая стороны полового инстинкта развиваются параллельно.

«У лиц с шизофренической предрасположенностью... срастание психической и соматической сторон сексуального инстинкта выпадает на долгое время, даже навсегда... Тогда соматическое сексуальное возбуждение идет своим изолированным путем и удовлетворяется мастурбацией. Психическая потребность в любви сохраняет тогда форму, аналогичную периоду раннего полового созревания. Она выявляется в мечтах, в создании миражей и всевозможных планов».

«Чрезмерно сильный половой инстинкт у некоторых шизоидных групп составляет обычную черту личности. Тогда он имеет такой же резко альтернативный характер, как и вся аффективность шизоидов с сильными темпераментами».

«Мистическое смешение религии и сексуальности является постоянной составной частью шизофренического мышления».

«Мышление мистически романтическое, расплывчатое, избегающее конкретных вопросов. Что является его идеалом? Высшее. Это звучное слово — без содержания, но наполненное пламенным аффектом».

Хотя шизоиды часто и далеки от внешней жизни, хотя они и поражают своими неожиданными поступками, в то же время они бывают и



необыкновенно практичны. П. Б. Ганнушкин сообщает о них:

«Некоторые из них — как бы ни казались оторванными от жизни — ориентируются в элементарных ее соотношениях, например, в материальном ее устройстве, лучше, чем кто бы то ни было; в психике этих шизоидов словно две плоскости: одна — низшая, примитивная (наружная), в полной гармонии с реальными соотношениями, другая — высшая (внутренняя), с окружающей действительностью дисгармонирующая и ею не интересующаяся». («Клиника психопатии». стр. 34.)

Читая эти характеристики шизоидов со склонностью к шизофренией, кажется, что образцом для них послужил Николай Васильевич Гоголь. Колебания между крайней впечатлительностью и «хладностью», даже «мертвенностью», оторванность от жизни и в то же время необыкновенная практичность, прозаичность и мечтательность, преобладание «физиологического аппетита» в подходе к женщине наряду с отвлеченным преклонением пред ней и пред матерью, сексуальность и мистицизм, скрытность, застенчивость, манерность, дробность характера, изысканность, напыщенность, витиеватость и патетичность наряду со скукой и монотонностью, гиперболизм, подозрительность, дар пророчества, расплывчатый идеализм, — все эти свойства шизоидов присущи были и Гоголю.

Шизоидность Гоголя с годами развилась в шизофрению, которая и привела его к могиле. Болезнь углубила у обострила внутреннюю дисгармонию Гоголя, но она сама объясняется *социальными причинами*; это по преимуществу *социальная* болезнь. При благоприятных условиях шизоидность и предрасположение к шизофренией не получили бы обострения и развития, но быт крепостной России, «мануфактурный век», образины и личины, православие и самодержавие явились богатейшей питательной почвой для болезни Гоголя, создав в сознании Гоголя пропасть между материальным и духовным, которая и поглотила писателя.

Само собой понятно, что болезнь Гоголя отнюдь не лишает его художественные произведения общественной познавательной ценности и не обращает их в документы, которые имеют только клинический интерес. Такие утверждения приходилось слышать не раз. Опровержением этого реакционного вздора является все содержание гоголевских произведений. Можно сказать, скорее наоборот: болезненные состояния Гоголя, как это нередко бывает, лишив его веселой непринужденности и простодушия, обострили способность подмечать и изображать уродства современной ему действительности, все мертвое, обычно либо не замечаемой «нормальными» людьми, либо замечаемые не полно, не ярко.

Гоголь показал, что пропасть между вещественным и духовным в нашу эпоху углубляется *собственностью*. Разрешая свои общественные и личные задачи, он подвел читателя к крепостным и к капиталистическим имущественным отношениям, а через них и к частной собственности и вообще. В гениально созданных образах и картинах он выяснил, как собственность наполняет мир рухлядью, безвкускими и пошлыми вещами, «заманками», как она подчиняет себе человека и властвует над ним, превращает его в уроды; как с другой стороны, она обособляет мечту от действительности, делает ее больной, как придает она духовному началу надмирный, аскетический характер. «Боже, пусто и страшно становится в твоём мире!» Этот вопль звучит и обвинением и приговором миру собственности. Вот почему так живы и поныне все эти уроды и страшилища и почему отрыв у Гоголя мечты от действительности, духа от материи продолжает занимать нас: не о крепостной и не о николаевской России говорил только Гоголь, но и о мире крепостной и капиталистической, о частной собственности вообще.

Гоголь был современником Бальзака и имел с ним большое сходство. Бальзак тоже был монархист, сторонник аристократии, смотрел с прошлое, а не в будущее, был религиозен и тоже вопреки этим своим взглядам изображал распад феодализма, появление и развитие новых капиталистических имущественных отношений. Он не знал себе равных в изображении, когда дело касалось вексельного права, юридических подвохов и тонкостей, ростовщических вымогательств, плутовских финансовых сделок, обманов и грабежей на законных основаниях. Во всем этом Гоголь также уступал Бальзаку, как крепостная, николаевская Россия уступала тогдашней буржуазной Франции. Более того, Гоголь сплошь и рядом обнаруживал простое незнание внешних сторон общественной жизни. Арнольди верно указал, что Гоголь серьезно думал, будто еще существуют капитан-исправники, что без свидетельств можно заключить в гражданских палатах купчие крепости, что у проезжих не спрашивают подорожной, что в доме губернатора во время бала можно пьяному помещику хватать за ноги танцующих.

Но Гоголь пред Бальзаком имеет и преимущества: он показал, как частная собственность растлевает самую *душу* человека, как она угащает самые высокие ее свойства: товарищество, отвагу, дружбу, любовь, цельность и силу характера. Он изображал пагубное влияние собственности на общественного человека не с внешней, а с внутренней стороны. Каждая строка давалась Гоголю ценою величайших страданий, мучительных размышлений, надрывов, болезненных припадков, ценой

глубочайших сомнений, отчаянья. Бальзак — мрачен. Гоголь — трагичен. Бальзак тяжело, астмически дышал. Гоголь задыхался. Бальзак вспоминал о религии. Гоголь из-за нее уморил себя голодом. При всей его склонности к вещественности, в нем было что-то от неистового духа Аввакума, когда он, Гоголь, ополчался на приобретателей и стяжателей во имя человеческой души, ее лучших прав и запросов.

Вывод из художественных произведений Гоголя следовал один: в России на первых порах надо уничтожить крепостную «вещественность» и самодержавный строй. Это, между прочим, хотя и не разрешило окончательно вопроса о пропасти между материей и духом, но все же серьезно содействовало такому разрешению. Но для того, чтобы сделать такой вывод, надо было выйти за пределы интересов класса помещиков и стать на точку зрения революционных разночинцев.

Движение революционных разночинцев, однако, тогда только начиналось и захватило пока немногих отдельных лиц во главе с Белинским. Слабое и шаткое, оно развернулось лишь лет десять спустя после смерти Гоголя. К тому же у него было много и своих разнообразных причин, по каким он не мог вступить в ряды революционных разночинцев. О них уже говорилось. Даже либерально-дворянские идеи были ему чужды. Он оставался реакционным утопистом. Поэтому содержание его художественных произведений решительно разошлось с его же истолкованием их.

Про реакционные взгляды Гоголя можно сказать словами Маркса; о проповедниках феодального социализма он писал:

«Они упрекают буржуазию гораздо более в том, что она поражает *революционный* пролетариат, чем в том, что она создала пролетариат вообще».

«В политической практике они вопреки своим напыщенным словоизвержениям любят подбирать золотые яблоки, и не без выгоды обменивают свою «преданность», «любовь», честь на шерсть, свекловицу и водку». («Коммунистический манифест».)

Все это, к сожалению, справедливо. Но также справедливо и другое. Энгельс писал о Бальзаке:

«Бальзак политически был легитимистом. Его великое произведение — непрестанная элегия по поводу непоправимого развала высшего общества; его симпатия на стороне класса, осужденного на вымирание. Но при всем этом его сатира никогда не была более острой, его ирония — более горькой, чем тогда, когда он заставляет действовать аристократов, мужчин и женщин, которым он глубоко симпатизирует... То, что Бальзак

был вынужден идти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков, то, что *он видел* неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи, и то, что он *видел* настоящих людей будущего там, где в это время их только можно было найти, — это я считаю одной из величайших побед реализма».

Сказанное Энгельсом о Бальзаке в полной мере может быть отнесено и к Гоголю и к его художественным созданиям.

Подводя окончательный итог рассмотрению дуализма Гоголя и его «душевного дела», скажем следующее:

Во временном звучит вечное. Примером своей жизни, своими мучениями и смертью Гоголь, повторяем, показал, что дуализм материального и духовного, благодаря феодальной и капиталистической собственности хотя и не создается, но обостряется до крайности, до неразрешимых противоречий. Именно эта собственность делает «вещественность» низкой, а дух больным и оторванным от жизни. Очевидно, с уничтожением этой собственности дуализм тела и духа должен терять свой абсолютный характер.

*«Преображение»* плоти и духа, их более органическое сочетание, притом земное, а не сверхъестественное, даст не воскресение мертвых по надеждам Гоголя, а развернутое коммунистическое общество. Человек находит в вещи, не соблазн, не преступные «заманки», развивающие алчность, корысть и угасающие душу человека, он увидит в ней «малую чувствительность», «нашу прекрасную землю», не поработителя, а друга, который поможет ему развить до бесконечности лучшие свои потенции.

Вещь снова делается источником радости, какой она является в «Одиссее» Гомера, но она будет богаче, разнообразнее, она станет не только средством наслаждения, но и средством могучей победы человека над стихийными силами природы и над собой.

И над собой. Вопрос о «душевном деле» разрешается только с помощью диалектического материализма. Сторонники этого мировоззрения нисколько не отрицают «душевного дела», но понимают это дело совсем не по аскетичности. Во главу угла они полагают общественное переустройство хозяйственных, политических, бытовых и культурных форм жизни. Но в то же время они считают, что *изменяя эти формы жизни, человек вместе с этим изменяет и свою природу*, потому что он есть совокупность общественных отношений.

Ошибку делают те, кто говорит: сначала изменим внешние формы жизни, а потом будем воспитывать душу человека, так как внешние формы

— все, а человек сам по себе ничто; ошибку делают и те, кто говорит: сначала изменим человека, его душу, потом изменится и общество, так как человек все, а общество ничто, оно простое собрание единиц. И те и другие механически разрывают общество и человека, внешние стороны жизни от внутренних сторон. Правда в том, что внешние формы (производительные силы, имущественные отношения и т. д.) определяют человека, его дух, но эти формы творит человек, *изменяющийся вместе с ними*.

Изменение внешних условий жизни и внутренних духовных свойств человека — процесс одновременный и взаимообусловленный. Сторонники борьбы за общественное переустройство жизни не могут быть, да никогда и не были равнодушными к душе человека. Каждый революционер, а тем более революционер-марксист, большевик, проходит в своей борьбе суровую школу внутренней перековки, подчас мучительной и всегда очень напряженной. У него есть свое «душевное дело», но он воспитывает в себе иные, даже совсем противоположные свойства, нежели христианин-аскет; во всяком случае, про революционера-марксиста никак нельзя сказать, что ему безразлично внутреннее свое воспитание. Не безразличие к душевному делу отличает его от последователя Гоголя, его отличает от этого последователя разное понимание этого дела, а это разное понимание в свою очередь зависит от убеждения, что человек, переустраивая внешнюю жизнь и себя, *делает это не по произволу, а повинясь известным законам, управляющим этим переустройством*. Изучение этих законов приводит к заключению, что в конечном счете общественное переустройство обуславливается состоянием и характером производительных сил, которые в классовом обществе влияют через посредство классовой борьбы интересов. В противовес этому убеждению последователь Гоголя — проповедника должен сказать: *все дело в человеческом произволе, в его хотении, а его хотение — от бога и от его благодати*. Так именно и говорил Гоголь. Тут спорить не о чем: божие соизволение слишком прихотливо и надмирно. Можно только напомнить, что при Гоголе социология находилась в зачаточном состоянии; законы, управляющие общественным развитием, были открыты позже. Это во многом оправдывает Гоголя. Но этих оправданий уже нельзя принять во внимание, когда «душевное дело» продолжают со рвением проповедовать после того, как эти законы сделали общеизвестными и положены в практику борьбы многомиллионных масс. Все дело однако в том, что именно эта борьба и заставляет людей определенного общественного стиля все сильнее и ожесточеннее противопоставлять последователям Маркса пресловутое нравственное самоусовершенствование. Но тут речь уже идет не о том, что

такие люди не заслуживают оправдания, а о том, как бы их поскорее окончательно разгромить.

В соответствии с основным противоречием своей природы определял Гоголь и главные задачи искусства.

«Искусство, — писал он, — есть примирение с жизнью. Это правда. Истинное созидание искусства имеет в себе что-то успокаивающее и примирительное. В время чтения душа исполняется стройного согласия... Искусство есть водворение в душу стройности и порядка, а не смущения и расстройства». (Жуковскому, т. IV, стр. 140.)

Какими же средствами достигается в искусстве стройное согласие и порядок? Изображая природу, жизнь, людей, Гоголь воссоздавал их во всей их физичности и физиологичности, в мелких и мельчайших подробностях. В этом смысле он был реалистом из реалистов. Он помнил: «Если не не прикрепить красавицу к земле, то черты ее будут слишком воздушны, неопределенно общи и потому бесхарактерны». (Данилевскому, 1832 г.) Но будучи исключительным реалистом, Гоголь никогда не находился в рабском пленении у действительности. Он был художником-творцом, а не художником-наблюдателем, писателем, а не описателем.

Изображая действительность с силой «неумолимого резца», Николай Васильевич не забывал своего желания стать лучше. «У меня, — утверждал он, — никогда не было стремления быть отголоском всего и отражать в себе действительность, как она есть вокруг нас... Я даже не могу заговорить теперь ни о чем, кроме того, что близко моей собственной душе». (Плетневу, III, стр. 276.) — «Все мои последние сочинения — история моей собственной души», — подтверждал он в «Переписке».

Надо было соединить телесное, вещественное с духовным. Гоголь так именно и понимал основную задачу искусства. «Искусство должно изобразить нам таким образом людей земли нашей, чтобы каждый из нас почувствовал, что это — *живые люди, созданные из того же тела*, из которого и мы. Искусство должно выставить нам на вид все доблестные *народные* наши качества и свойства, чтобы каждый почувствовал их в самом себе *и загорелся бы желанием развить* и возлелеять в себе самом то, что им заброшено и позабыто... Тогда только таким образом действуя, искусство исполнит свое назначение и внесет порядок и стройность в общество». (Т. IV, стр. 140 — 41.)

Какими же средствами достигается в искусстве это совмещение телесного и духовного, действительного и воображаемого? В практике Гоголя оно достигалось путем соединения натурализма с символизмом. Откуда Гоголь почерпнул символизм? Он почерпнул его из древних

образцов всемирной и русской литературы, от Пушкина и Жуковского. Но он придал символизму свой, гоголевский характер.

Основная манера Гоголя заключается в *реалистическом* символизме: Гоголь берет *крайний* реализм и подчиняет ему символ; получается необыкновенно причудливый сплав. Изображая действительность со всей силой натурализма, со всей ее низменностью, не брезгуя малейшими подробностями, Гоголь одновременно возводил эту действительность в символ.

Маниловы, Собакевичи, Петухи натуральны до галлюцинаций и вместе с тем каждый из них символизирует какую-нибудь «страстишку»; реалистические подробности имеют свой сокровенный смысл: например, шкатулка Чичикова, его бричка, фрак наваринского племени с дымом, немая сцена в «Ревизоре» и т. д. В символе Гоголь старался уничтожить раздвоенность между материальным и духовным, между субъективным и объективным. Поднять реальность до высоты обобщающего символа и означало — по его мнению — возвести явления жизни «в перл создания».

Роль символа Гоголь отлично понимал: в черновых заметках по поводу «Мертвых душ» он записал:

«Как низвести все миры безделья во всех родах до сходства с городским бездельем? *И как городское безделье довести до преобразования безделья мира?*»

Своеобразным «преобразованием» является и «Страшная месть», и «Вий», и «Шинель», и «Нос», не говоря уже о главной поэме и о «Ревизоре». Символичны колдун, панна-ведьма, нежить, чорт, Хлестаков, Чичиков. Все эти символы венчаются одним грандиозным символом мертвых душ. Благодаря такому «преобразованию» гоголевские персонажи, являясь до жуткости реальными, в то же время уводят куда-то в бесконечность. На эту их черту указал еще Овсяннико-Куликовский. Каждый из них, умножаясь и повторяясь, как бы открывает собой перспективу в бесконечность: дореформенные Коробочки ведут к Коробочкам пореформенным, к русским, французским, к тем, которые еще будут.

В искусстве Гоголь искал гармонии и примирения между низменным материальным началом мира и началом духовным. Известное, относительное удовлетворение он получил в творческом акте. О реалистическом символизме, когда «вещественность» преображалась и олицетворяла собою нечто духовное, а главное, когда в этой вещественности он видел намеки, проблески на высшую духовную жизнь и на высший смысл. Это удовлетворение иногда чувствуют и читатели.

По справедливому замечанию В. Г. Короленко, стоит только от неискренних, тяжелых и мрачных писем Гоголя перейти к его художественным произведениям, начинаешь испытывать отрадное облегчение, «точно струя свежего воздуха врывается в больничную палату». («Трагедия великого юмориста», том II.)

Когда искусство уже не могло примирить Гоголя с жизнью, когда его создания начали его страшить и он даже стал верить в их особую реальность, в их жизнь, в бессмертие, увидев в них мрачное торжество низменной и пошлой материальности, художник обратился к религии, к аскетизму. «Вещественность» уступала место болезненным парениям духа. Реалистический символизм сделался невозможным. Если бы Гоголь продолжал свою художественную деятельность, он все больше и сильнее превращался бы в отвлеченного и тенденциозного символиста-схематика. Это было неизбежно при уходе писателя от действительности. Роковые признаки такого превращения нетрудно заметить в образах князя и откупщика Муразова. Смерть избавила Гоголя от этой самой страшной участи художника...

Как уже отмечалось в главе о «Мертвых душах», у Гоголя все двойственное, доведенное до самых резких противоположностей и все же соединенное гениальным мастером.

Двойное бытие.

Двойная Русь: она до тоски убога, прозаична, неподвижна, темна, грязна, и она чудодейна, сказочна, она — в полете, несется неведомо куда, но в прекрасную даль.

Двойственны герои: они погрязли в пошлом существовании, в стяжательстве, но и в них брезжит нечто, обнадеживающее, некий намек на духовное возрождение. Так, по крайней мере, выходит по намерениям автора.

Двойственен пейзаж, соединяя свет и тень, цвет и линию, покой и движение, низкое и высокое, тяжелое и легкое. Он двойственен не только в «Мертвых душах»; двойственно изображен Рим и его окрестности: грузное, древнее, осевшее, но с плывущими и улетающими контурами и линиями, с воздушностью. Таковы же и украинские степи, ночи, Днепр и т. д.

Двойственен сюжет: внешне статистический, но внутренне динамический.

Двойственен язык. О языке Гоголя следует кое-что прибавить. Может быть, лучше всего сказать словами, которыми Гоголь закончил свою статью: «В чем же, наконец, существо русской поэзии?»

«Необыкновенный язык, — писал он, — есть еще тайна. В нем все



тоны и оттенки, все переходы звуков — от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая с одной стороны высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны выбирая на выбор меткие названия из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность таким образом в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной ни какому другому языку и опускаться до простоты, ощутительной осязанию непонятливейшего человека».

Эта характеристика должна быть отнесена прежде всего к самому Гоголю. Своеобразие его языка заключается в соединении речи прозаической с речью лирической, твердой и мягкой, «высокой» и «низкой». Гоголь пользовался широко выражениями разговорно-обиходного порядка, любил слова «захолустные», областные, слова намеренно искаженные, испорченные, употребляемые средней и малой руки помещиками, чиновниками, обывателями за едой, возлияниями, за картами и пересудами; но еще больше, пожалуй, он любил речения церковно-славянские, древнерусские, песенные.

Как получилось такое соединение?

Флобер однажды заметил, что великие писатели не умеют литературно писать. Разве Бальзак, Гюго умели писать? Хорошо, вполне литературно обязаны писать только художники слова среднего таланта. Парадокс Флобера с большим правом, чем к Бальзаку и к Гюго, должен быть отнесен к Гоголю. Д. Н. Овсяннико-Куликовский определил Гоголя как общерусского писателя на украинской основе; надо, однако, признать, что этот общерусский писатель не знал хорошо ни русской грамматики, ни русского синтаксиса. По нужде Гоголь и сам отмечал этот свой недостаток в переписке. «Я до сих пор, — писал он Плетневу в 1846 году, — как ни бьюсь, не могу обработать слог и язык свой — первые, необходимые орудия всякого писателя. Они у меня до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дурных писателей». (Т. III, 275 — 76.) Зная свои недостатки, Гоголь часто просил исправлять его произведения то Прокоповича, преподавателя русской словесности, то Шевырева, то Плетнева, то Погодина. Погрешности Гоголя против русского языка, действительно, чрезвычайно обильны.

Приходилось изобретать собственную грамматику и собственный синтаксис. Гоголь так и поступал. Он выдумывал обороты, соединения предложение, выражения. В известной мере он мог про себя сказать, что однажды сказал мне Маяковский: «Зачем я буду служить русскому языку: пускай он лучше служит мне».

Гоголя спасала гениальность, изобретательность, редкая память, упорство, эстетическое чувство, музыкальность. Из захолустных, разговорно-обиходных выражений, из слов церковно-славянских, старинно-песенных, из оборотов, изобретенных самим Гоголем, получился язык крайне своеобразный, массивный и легкий, поражающий только Гоголю свойственными расстановками слов, связью, склонениями и спряжениями, семинарской витиеватостью и кудрявостью, длиннотами и поворотами, высоким лиризмом и самой житейской прозой. Все это причудливое сочетание необыкновенной гибкости, звучности, стихийности и умысла придало языку Гоголя что-то шаманское и колдовское.

Язык Гоголя — язык заклинаний. Может быть, никто из писателей не верил так в магическое, во всемогущее действие слова, как верил в него Гоголь. Он верил, что словами можно пронять и переродить любого человека; считал, что его слово облечено особой силой, данной ему свыше. В слове — спасение от пороков и грехов.

Гоголь сочиняет и рассылает молитвы, придавая им особое, сверхъестественное значение; упрасивает перечитывать его статьи, письма, художественные произведения: в них есть нечто сокровенное, с первого восприятия не усвояемое.

...Смех Гоголя находится тоже в органической связи с его крайним дуалистическим мироощущением. Почему смешны гоголевские герои, что является у него смешным? Переверзев полагает: гоголевские герои смешны оттого, что они — небокоптителы, но воображают, будто жизнь их вполне осмыслена и они делают нужное и полезное дело. Это, в общем верное замечание, нуждается, однако, в оговорках.

Павел Иванович Чичиков, Манилов, Бетрищев, может быть, даже Ноздрев, вероятно, уверены, что они чрезвычайно полезные обществу труженики. Но думают ли об этом Коробочка, Плюшкин? Сомнительно. Не правильнее ли будет сказать: все они смешны, потому, что их ничтожность, своекорыстие, утробное, бессмысленное существование слишком не соответствуют даже самым общим представлениям о высоком назначении человека, о лучших его силах, способностях, порывах и действиях? Такое утверждение, будет, пожалуй, более верным.

...Какое место занимает Гоголь в истории русской литературы? Н. Г. Чернышевский в своих «Очерках гоголевского периода» заявил:

«Гоголю обязана наша литература... самостоятельностью... Он пробудил в нас сознание о нас самих».

Это несомненная правда.

Гоголь начал свою литературную деятельность, когда у нас

господствовал отвлеченный романтизм, сатира и смех «вообще», отрешенные от общественной жизни, от ее гнойников и ран, и подчиненные западным литературным направлениям. Гоголь вложил персты свои в наши общественные раны. Он отдал дань романтизму, но даже его романтические повести очень близки к русской земле. Исчерпав романтизм двадцатых годов в лучших своих образцах, Гоголь создал русскую социально-насыщенную художественную прозу.

Мы знаем прекрасные в своей простоте и точности повести и рассказы Пушкина, обвеянные «дымом» нашего отечества, отразившие нашу стихию. Знаем заглядывающего вглубь Лермонтова с его «Героем нашего времени»; но проза Пушкина и Лермонтова касалась все же узкого круга лиц. В ней передавались мысли и чувства, свойственные небольшой привилегированной верхушке, праздной, обеспеченной. Гоголь недаром назвал себя писателем «во вкусе черни». Он ввел в литературу помещиков, чиновников, обывателей, ремесленников, селян, толпу, массу с ее бытом, скарбом, жаргоном, психологией. Но главное — Гоголь первый из русских писателей показал в гениальных созданиях, как крепостная и капиталистическая *собственность* уродует и калечит на русский манер людей, их души, как она ничего не оставляет в человеке, кроме «бессердечного чистогана». (Маркс.)

Сатире и смеху Гоголь тоже придал конкретный, общественный характер. Это отметил еще Белинский. До Гоголя сатира была безобидна, нападала на пороки вообще, никаких «конкретных носителей зла» она не трогала, Гоголь, вопреки своим желанием и заявлениям, связал порок с определенным общественным укладом, с определенными группами и слоями. От Гоголя ведет свою родословную так называемая натуральная школа с вскрытием социальных зол, неправд, с обличением и осмеянием, школа, которую до революции называли отрицательным направлением в русской литературе: Некрасов, Салтыков-Щедрин, шестидесятники, Глеб Успенский, Достоевский — все они обязаны Гоголю.

От Гоголя — «орлиное соображение вещей» в русской литературе, преобладание материальности, плоти, красок, языческого преклонения пред жизнью, интимной связи с вещью, с природой, умение изобразить их полно и насыщенно. Это «соображение» — в стихийности Толстого, в гимнах Достоевского подлой, но могучей и неистребимой карамазовской силе жизни с ее клейкими весенними листочками, — в тяжелой купеческой «существенности» Островского, в жрущих и пьющих пошехонцах, ташкенцах, в помпадурках и помпадуршах Салтыкова-Щедрина, в чувственной восприимчивости природы у Тургенева, в его людях, детях

Тентетникова, Хлобуева, Манилова, в Обломове, Штольце-Костанжогло, Гончарова в прекрасной, благородной, но тоже чувственной грусти Чехова, в его хмурых людях; она — в живописности и красочности Горького, у которого его босяки напоминают итальянских лацарони, Пеппе, — в «вещественности» Владимира Маяковского, в хаосе и в жесте-судороге Андрея Белого, в биологизме и фламандских настроениях советских писателей, в тоске по утраченной юности и свежести Сергея Есенина.

Петербургские повести Гоголя наметили линию урбанизма и импрессионизма Достоевского, символистов и футуристов. И разве не от Гоголя колорит и словечки Лескова, Ремизова, наше областничество, которое, кстати сказать, лучше назвать пародией на Гоголя.

Стремление Гоголя стать лучше, его «душевное дело» тоже наложило на наше художественное слово глубокий отпечаток. «Переписка с друзьями», дуализм, проповедь нравственного самоусовершенствования во многом определили христианство Достоевского, проповедничество Толстого. В душевной болезни Глеба Ивановича Успенского, которому казалось, что Глеб в нем ангел, а Иванович — свинья, не трудно увидеть отражение дуализма, погубившего и Гоголя. Мучения Гаршина, его болезнь тоже заставляет вспоминать Гоголя.

От Гоголя идет чувство неблагополучия, катастрофы, страх перед революционным пролетариатом у Розанова, Мережковского, Андрея Белого, Блока, Сологуба.

От Гоголя последних лет русский символизм с его попытками из грубых кусков жизни сотворить сладостную легенду, со взглядом на нашу жизнь, как на знак «миров иных».

Гоголь-двуликий Янус русской литературы. Одно лицо у него вполне земное. Другое лицо — аскетическое, «не от мира сего». Одно лицо обращено к общественной жизни, к ее быту, к человеческим радостям и горю; другое лицо поднято к «небесному отцу». Начиная с Гоголя, русская литература тоже имела два русла. Одно русло вело к общественной борьбе, к изменению общественных форм бытия. Это была линия революции, сначала разночинно-крестьянской, потом пролетарской. Другое русло приводило к крайнему дуализму, к обособленной человеческой личности, к «непротивлению злу насилем». Это была линия реакции, застоя, китайщины, линия гибнущих классов: дворянства, мещанства, кулачества.

Чем может быть полезен Гоголь советской литературной современности?

У Гоголя надо учиться социальной насыщенности произведений, умению брать жизнь во всю глубину и ширину, а не «в полобхвата», не с

головокружительной высоты, не со стороны и сбоку, не в угоду редакциям и издательствам, как это часто, к сожалению, у нас еще бывает.

У Гоголя надо учиться конкретности, внимательному отношению к художественным подробностям, — упорству, способности вынашивать произведение.

Наш смех, сатира, как и у Гоголя, должны разить, не отвлеченные, а вполне осязательные пороки и недостатки, разоблачая реальных носителей зла, «не взирая на лица». Для гоголевского смеха еще хватит объектов. Такое разоблачение, понятно, должно соединяться с поучительными обобщениями, а не потешать только веселыми и занимательными повествованиями.

Здесь поднимается вопрос о применимости в наших условиях основного литературного приема, каким пользовался Гоголь, создавая Чичиковых, Хлестаковых, Собакевичей и всю галерею уродов. Прием этот состоит в выделении и в обособлении резким «неумолимым резцом» фигуры, предмета, происшествия из окружающей обстановки. Они как бы обводятся твердой линией, обтачиваются. Выделенная таким путем фигура, явление жизни подвергаются дальнейшей обработке. Подчеркивается основное физическое свойство, два-три жеста, преобладающая душевная особенность, «страсть»; они преувеличиваются, между тем как остальное совсем затемняется.

Действия, поступки, встречи, диалог, все приспособлено к тому, чтобы еще сильнее и ярче вычертить то, на чем художник сосредоточил внимание. Этот прием противоположен другой манере, пушкинской, когда объект не отчеркивается, а берется вместе с окружающим, сливается с ним и лишь потом путем переходов, часто незаметных, оттеняется, не теряя, однако, своей первоначальной связи со средой. Физические и душевные особенности, поступки, жесты изображаются также наряду с остальными качествами, менее характерными, но присущими объекту, будучи выделяемы тоже путем постепенных переходов.

В нашей советской литературе молодые советские писатели до сих пор отдавали предпочтение пушкинскому приему. Требовали, чтобы изображали «живого человека» с его положительными и отрицательными качествами, чтобы освещали его со всех сторон и чтобы типические черты выступали на общем фоне других, второстепенных свойств. Исключением являлась школа футуристов, но она, сильная поэтически, не создавала своей прозы.

«Живой человек», опороченный критикой в период первой пятилетки, как будто продолжает на деле еще господствовать в художественном слове

и теперь, правда, с разными оговорками и ограничениями.

У нас очень быстро забывают прошлое и потому начинают судить и рядить, отвлекаясь от конкретной обстановки. «Живой человек» был выдвинут после гражданской войны в годы нэпа. Его противопоставляли агитационно-плакатному и схематически отвлеченному искусству «Кузницы», иманжистов и других направлений эпохи военного коммунизма. В этом был свой положительный смысл. Схема, плакат перестали удовлетворять и читателей и писателей. Требовался более конкретный подход к недавнему прошлому и настоящему. Лозунг «живого человека» на первых порах вполне удовлетворял этому требованию. Положительное значение его бесспорно. Но как это у нас часто случается, лозунг начала «углублять» и «углубляя» превратили в догмат, и тоже в схему. Стали утверждать, что изображение «живого человека» единственно-верный метод для советского искусства, что иных методов нет и быть не может. Условное сделали безусловным. К этому присоединили утверждения, будто все дело в том, чтобы изображать вместе дурное и хорошее и т. д.

Это была ошибка. И чем скорее в наши дни покончат с этой ошибкой, тем будет лучше для советской литературы. Пушкинский и толстовский метод изображения есть только один из методов художественного творчества. Есть другой метод, метод Гоголя, Достоевского, Островского, Салтыкова-Щедрина, Успенского. И не случайно в так называемом обличительном, отрицательном направлении русской литературы метод Гоголя являлся преобладающим. Он, действительно, очень выразителен и народен.

Фигура выделяется с предельной рельефностью, легко запечатлевается в памяти, внимание не рассеивается, а сразу сосредотачивается на главном, между тем, как пушкинское изображение требует большего напряжения, большего внимания и размышления. Так, где надо резко что-нибудь или кого-нибудь обличить, осмеять, выставить «на всенародные очи», гоголевский прием незаменим. И так как советской литературе приходится очень часто и очень многое выставлять «на всенародные очи», обличать и осмеивать, то гоголевская манера, имеет право на существование не менее пушкинской. До сих пор манера Гоголя среди советских писателей была в загоне; оглядывались больше на Толстого и Пушкина. Права Гоголя пора восстановить. Социалистическому реализму нет причины в этом отказывать Гоголю.

Но спросят: «А как же быть со схемой; мы не хотим схемы.» Но схемы у Гоголя нет и в помине. Вернее сказать: Гоголь добивался поразительных

результатов: его образ и схематичен и одновременно предельно конкретен. Гоголевские герои олицетворяют всегда какую-нибудь страсть. В этом смысле они — схематичны и аллегоричны; но вместе с тем они поданы с мелкими и мельчайшими подробностями, необычайной вещественностью и физиологичностью. В силу этого они оживают на наших глазах, они вполне жизненные, а не восковые фигуры. В этом соединении схемы с вещественностью тайна гоголевского мастерства. У его позднейших последователей эта удивительная манера сплошь и рядом снижается: снижена она Достоевским, еще более снижена Салтыковым-Щедриным; отдавая должное их гению в других областях, надо сказать, что им часто не хватает этого виртуозного, вполне органического соединения схемы с «орлиным соображением вещей». Словом, тут есть чему поучиться у Гоголя современной советской литературе.

Перед советской литературой стоит также и вопрос о символизмах Гоголя. Допустим ли он для революционного искусства наших дней, или нет?

Известно, что Плеханов относился к символизму отрицательно. В статье о Генрике Ибсене он утверждал, что символизм примесью абстракции всегда обескровливает живой, художественный образ; к символам прибегают тогда, когда не умеют проникнуть в смысл совершающегося общественного развития. Например, Генрику Ибсену символы потребовались для того, чтобы облечь в образ «несотворенный дух», попавший в рабство. В символах Ибсена отражаются бесплодные блуждания его героев. Так полагал Г. В. Плеханов.

Надо, однако, заметить, что символизм символизму рознь, как романтизм романтизму. Есть символизм и романтизм реалистический, революционный, есть символизм и романтизм идеалистический. Символизм Гоголя в основе — символизм реалистический, точнее сказать у него преобладает символический реализм. Такое соединение натурализма с символизмом встречается не только у Гоголя, а у многих гениальных художников.

Что может быть натуральнее «Одиссеи»? Но многое в ней носит и символический характер: Сцилла и Харибда, сирены, листригоны, циклопы и т. д. Разве у Шекспира при всей его натуральности не символически ряд сцен в «Гамлете», в «Макбете» и в других вещах? Не символически ли Фауст, Мефистофель? Не является ли медный всадник у Пушкина одним из самых обобщающих символов. Есть символизм натуралистический и есть символизм отвлеченный, идеалистический. Гоголь был реалистом-символистом. *У него символ покoren действительности, служит ей, от нее*

целиком зависит, больше, от нее рождается. А вот о своем символизме Андрей Белый в «Начале века» сделал такое признание: «становилось все наоборот: действительность оказывалась символом; символ действительностью». (стр. 115.) Когда действительность оказывается символом и символ действительностью, тогда он, символ, превращается в Лик, в Логос.

Скажут: пусть у Гоголя символ играет подчиненную роль, но для чего он нужен советской литературе? Не лучше ли ей ограничиться натуральностью Гоголя, отбросив его символизм? Но натуральности, кажется, у нас в литературе и без того достаточно. Наша советская литература все еще страдает натуральностью, бытовизмом, описательством. Все согласны с тем, что ей недостает широких и глубоких обобщений, что она часто не выводит за пределы дня. Отчасти поэтому она и отстает от нашей действительности.

Символ является, правда, не единственным, но одним из самых могучих способов обобщать материал и выводить читателя за пределы данной натуральности. Но здесь возражает нам Г. В. Плеханов: это есть — выход за пределы путем абстракции, а можно выходить из действительности иным путем; это бывает в тех случаях, когда действительность нынешнего дня, перебивая себя, создает основу для действительности будущего. Г. В. Плеханов не прав: не всякий символ абстрактен, а только такой, который символизирует, например, «несотворенного духа» Ибсена или что-нибудь в этом роде; если же шкатулка символизирует Чичикова, а сам Чичиков символизирует русских приобретателей-плутов, то в этих и подобных символах нет ничего абстрактного, они насквозь натуральны и конкретны.

Что касается выведения за пределы действительности путем диалектического ее отрицания, то да позволено будет сказать, что Г. В. Плеханов здесь позволили себе простую игру словом «выведение». Когда говорят, что символ выводит нас из данной натуральности, то имеют в виду выведение особого рода, выведение в смысле более широкого охвата жизни. Когда говорят, что Чичиков, символизирующий плутовство, выводит за пределы данной действительности, этим хотят сказать, что он олицетворяет собой не только плутов-приобретателей в эпоху николаевской крепостной России, но и плутов пореформенных, европейских, будущих плутов. В символ-абстракцию-схему Павел Иванович превратился бы в том случае, если бы он лишился своих натуральных черт определенной эпохи, среды и т. д. Но Павел Иванович награжден ими в полной мере. Вместе с тем он выводит нас из пределов двадцатых и тридцатых годов, из пределов



поместного захолустья. Поэтому он и жив для нас даже и доселе.

И если наши советские писатели хотят, чтобы создаваемые ими персонажи тоже жили как можно дольше, не будет худа, если этим персонажам, создавая их вполне натуральными станут придавать также и символический характер. В конце концов, разве «Органчики», Угрюм-Бурчевы, Прыщи, Бородавкины и т. д. не символичны у Салтыкова-Щедрина? Не прибегал ли к символам Чехов? Не пользовался ли символами Маяковский? Символический реализм Гоголя нужен советской литературе, чтобы решительно преодолеть ограниченный бытовизм, чтобы давать более широкие и глубокие охваты явлений жизни, чем это есть у нас теперь.

Тут Гоголь, как и во многом другом, может оказать нам большую помощь.

Скажут: а не достаточно ли нам одного типического обобщения и охвата? Нет, недостаточно: типическое обобщение лишено *философского значения*, между тем как обобщение символическое есть не только типическое, но и философское обобщение. Включая в себя типическое, оно шире, оно осмысливает его, выводя, таким образом, за пределы данной, даже и типически обобщенной, действительности.

Конечно, приемами Гоголя, особенно его символизмом, надо пользоваться с большой осмотрительностью. Уже у самого Гоголя под конец его жизни были попытки придать символу отвлеченный, аллегорический, даже мистический характер, то-есть, он уже превращал действительность в символ. Русские символисты эту отвлеченность и мистицизм Гоголя сделали своим знаменем. Здесь гибель для живых образов. С Гоголем это происходило оттого, что действительность уходила от него из-под ног. Такая опасность советскому искусству не угрожает. Советское искусство избежит отвлеченной рассудочности «Брандта» и «Пер-Гюнта» Ибсена, бесплотных теней Метерлинка, схем Леонида Андреева, сладостных легенд Соллогуба, «эмблематики действительности» Андрея Белого, но творец Хлестакова ей кровно близок.

...Еще в одном отношении чрезвычайно близок нам Гоголь. Нам враждебны его христианство, аскетизм, проповедь нравственного самоусовершенствования. Но Гоголь смотрел на свою работу художника? Как на служение обществу. Искусство для него не являлось ни забавой, ни отдыхом, ни самоуслаждением, а гражданской доблестью и подвигом. Гоголь был писатель-гражданин-подвижник. Все отдал он этому подвигу: здоровье, любовь, привязанность, склонности. Каждый образ он вынашивал в мучениях, в надеждах, что этот образ послужит во благо

родине, человечеству. Многие ли из советских писателей являются подвижниками?

Гоголь был прав, когда он искал положительное и идеальное в искусстве. Он видел это положительное не там, где его нужно было видеть, но самые поиски его, то, что он не удовлетворялся изображением страшилищ и уродов — высоко поучительно. Он понимал, что высшее искусство это то, которое создает возвышающие душу образы, зовущие к победам над всем ничтожным и пошлым. К этому должен стремиться каждый настоящий художник.

Беда Гоголя была в том, что вместо чистых, возвышенных образов жизнь показывала ему уродов. Окруженный ими Гоголь пал, страстно домогаясь воплотить идеальное. Он завещал это грядущим поколениям. На советских художникам, больше чем на ком-нибудь, лежит почетная и священная обязанность выполнить завещание гениального мученика-мастера. Попыток в создании положительных героев у нас не занимать, но как часто наши положительные герои худосочны и малокровны, как часто им недостает гоголевской «вещественности»!..

Столетие миновало со дня напечатания первых повестей и былей Гоголя. Из книг, статей, и очерков, ему посвященных, нетрудно составить библиотеку, но по-прежнему, если еще не больше, манит к себе этот странный человек своими загадками и тайнами. Их много и в личной жизни его и в его художественных произведениях. Самый скрытый из всех русских писателей, он неоднократно давал понять, что в его произведениях есть тайны. О ранних своих сочинениях он писал:...«В них точно, есть кое-где хвостики душевного состояния и его тогдашнего, но без моего собственного признания их никто не заметит». (Т. II, 557.) По поводу первого тома «Мертвых душ» он сообщал Аксакову: «Многое может быть понятно одному только мне». (Т. II, 205.) Отмечая в «Переписке» свое главное свойство выставлять ярко «пошлость пошлого человека», он прибавлял: «оно впоследствии углубилось во мне еще сильнее от соединения с ним некоторого душевного обстоятельства. Но этого я не в состоянии был открыть тогда даже и Пушкину». И о «Переписке»: «Там есть некоторые душевные тайны, которые не вдруг постигаются». (Т. III, 422.)

В самом деле, до сих пор в Гоголе больше нераскрытого, чем раскрытого. Какие душевные тайны имел в виду, Гоголь, говоря о своих сочинениях? К какому концу вел он своего Павла Ивановича Чичикова? Все ли понятно в «Вии», в «Страшной мести»? Что означает магический вызов колдуном души дочери Катерины? Почему Хома Брут не утерпел и

взглянул? С какой стати «нос» Ковалева посещает Казанский собор?.. Почти в каждой вещи Гоголя, действительно скрыта какая-то тайна. Его произведения напоминают утопленницу-мачеху из «Майской ночи». Дело прозрачное, светится, а внутри что-то черное. Что-то темное есть в образах Гоголя.

И в личной жизни повсюду тайны. Об отношениях Гоголя к женщине приходится ограничиваться догадками. Загадочны и непонятны многие его отношения к друзьям и знакомым. Его письма в смысле достоверности часто очень сомнительны. Иногда кажется, будто он составлен из лоскутков, он поражает упорством, он человек одной цели, одного замысла. Люди, горячо любившие Гоголя, сплошь и рядом, терялись в определениях, каков же он. С. Т. Аксаков с горечью признавался: «Я вижу в Гоголе добычу сатанинской гордости»; но он же потом заявлял: «Признаю Гоголя святым».

...Странный человек... тяжелый, мрачный человек! Много в нем темного, неприятного. Об этом следует говорить открыто несмотря на то, что и по сию пору есть пошляки, для которых главная прелесть знакомства с художником заключается в том, чтобы услышать что-нибудь об изнанке его жизни.

«Слыхали? Ваш знаменитый романист, говорят, однажды едва не изнасиловал девочку, а критик, писавший возвышенные статьи о женщине, шлялся по публичным домам...» И глотает слюни, ерзает кадыком, и спешит взапуски сообщить «новость» следующему встречному знакомому. Этим людям в свое время прекрасно и гневно ответил еще Пушкин в одном из писем Вяземскому. Он писал, что они в подлости своей радуются унижению высокого, слабостям могущего. «Они в восхищении от всякой открытой мерзости: «Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете подлецы: он мал и мерзок — не так, как вы — иначе».

Этим пошлякам и не снится та могучая буря, которая взметывается в душе таких писателей, как Гоголь. Эти писатели переживают гигантские внутренние события, перевороты и самые отрицательные их свойства в них существуют как бы для того, чтобы показать вечную, неустанную и победоносную борьбу человека над тем, что он считает низким и недостойным себя. Для торжества человеческого гения над косным и стихийным надо говорить о пороках и провалах великих людей.

Много сравнений и сопоставлений невольно встает пред читателем, когда он склоняется над дивными страницами и думает об ужасной судьбе их творца. Все эти и другие образы покрываются одним, самым страшным образом. Есть у Гоголя отрывок неоконченного романа о пленнике и пленнице, брошенных в подземелье. От запаха гнили там перехватывало

дыханье. Исполинского роста жаба пучила свои страшные глаза. Лоскотья паутины висели толстыми клоками. Торчали человеческие кости. «Сова или летучая мышь была бы здесь красавицей». Когда стали пытаться пленницу, слышался ужасный, черный голос: «не говори, Ганулечка». Тогда выступил человек. «Это был человек... но без кожи. Кожа была с него содрана. Весь он был закипевший кровью. Одни только жилы синели и простирались по нем ветвями. Кровь капала с него. Бандура на кожаной ржавой перевязи висела на его плече. На кровавом лице страшно мелькали глаза...» Гоголь был этим кровавым банудристом-поэтом, с очами, слишком много видевшими. Это он вопреки своей воле крикнул новой России черным голосом: «Не выдавай, Ганулечка!»

За это с него живьем содрали кожу.

# ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Н. В. ГОГОЛЯ<sup>[45]</sup>

1809, 19 марта<sup>[46]</sup> в 9 часов вечера — в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии в семье Василия Афанасьевича и Марии Ивановны Гоголь-Яновских родился сын Николай.

22 марта — младенец Николай Гоголь-Яновский крещен в местной Спасо-Преображенской церкви.

1818–1819 — Гоголь учится в Полтавском уездном училище.

1820 — Гоголь живет в доме учителя латинского языка Полтавской гимназии Г. М. Сорочинского, берет у него уроки.

1821–1828 — Гоголь учится в Нежинской гимназии высших наук князя Безбородко.

1825, 31 марта — умер отец Гоголя В. А. Гоголь-Яновский.

1828, конец декабря — Гоголь прибыл в Санкт-Петербург.

1829, июнь — вышла в свет поэма «Ганц Кюхельгартен» под псевдонимом В. Алов.

Ноябрь — Гоголь зачислен на службу в Департамент государственного хозяйства и публичных зданий Министерства внутренних дел.

1830 — Гоголь служит канцелярским чиновником в Департаменте уделов.

Декабрь — знакомство с В. А. Жуковским, П. А. Плетневым, А. А. Дельвигом.

1831, 16 января — вышел четвертый номер «Литературной газеты», где напечатана статья «Женщина» (подпись: Н. Гоголь) — первое произведение писателя, появившееся в печати под его фамилией.

1831–1835 — Гоголь преподает историю в Патриотическом институте.

1831, 20 мая — знакомство с А. С. Пушкиным на вечере у П. А. Плетнева.

Начало сентября — вышла в свет первая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

1832, начало марта — вышла в свет вторая книжка «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

1833, 2 декабря — Гоголь читает А. С. Пушкину «Повесть о том, как

поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

1834, 7 апреля — запись в дневнике А. С. Пушкина: «Гоголь по моему совету начал Историю русской критики». Июль — Гоголь принят в Санкт-Петербургский университет адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории.

1835, январь — вышел в свет сборник «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя».

Февраль — вышел в свет «Миргород. Повести, служащие продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Май — знакомство с В. Г. Белинским у С. Т. Аксакова. 7 октября — Гоголь сообщает А. С. Пушкину, что начал писать «Мертвые души». Просит дать какой-нибудь сюжет для комедии.

1836, январь — вышло в свет второе издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

19 апреля — первое представление «Ревизора» на сцене Александрийского театра в Санкт-Петербурге.

25 мая — премьера «Ревизора» на сцене Малого театра в Москве.

6 июня — отъезд Гоголя за границу.

1837, после 15 июня (н. ст.) — до 16 июля (н. ст.) — путешествие Гоголя в Испанию и Португалию, охваченные междоусобной войной.

1838, апрель — май (н. ст.) — Гоголь ухаживает за умирающим от чахотки гр. И. М. Виельгорским.

30 июня (н. ст.) — знакомство с Н. М. Языковым.

26 сентября — Гоголь возвращается в Россию.

1840, 9 мая — именинный обед Гоголя у М. П. Погодина в саду на Девичьем поле. Знакомство с М. Ю. Лермонтовым.

18 мая — отъезд Гоголя за границу.

1841, май — июнь (н. ст.) — П. В. Анненков под диктовку Гоголя переписывает главы «Мертвых душ».

7 октября — Гоголь возвращается в Россию.

1842, начало февраля — Гоголь читает «Рим» у Аксаковых и на литературном вечере у князя Д. В. Голицына.

Середина мая — вышли в свет «Похождения Чичикова, или Мертвые души».

5 июня — отъезд Гоголя за границу.

9 и 10 декабря — премьера «Женитьбы» на сцене Александрийского театра в Санкт-Петербурге.

1843, конец января — вышли из печати «Сочинения» Гоголя в четырех томах.

*5 февраля* — первая постановка «Женитьбы» и «Игроков» на сцене Малого театра в Москве в бенефис М. С. Щепкина.

*26 апреля* — первая постановка «Игроков» на сцене Александрийского театра в Санкт-Петербурге.

*1844, январь* — *первая половина марта* — Гоголь в Ницце составляет рукописный сборник выписок из творений святых отцов и учителей Церкви, переписывает в отдельную тетрадь церковные песни и каноны из служебных Миней. Пишет духовно-нравственные сочинения «Правило жития в мире» и «О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии». Работает над книгой о Божественной литургии.

*27 сентября* — постановка «Тяжбы» в Александрийском театре в Санкт-Петербурге в бенефис М. С. Щепкина.

*1845, 2 февраля* — Гоголь избран почетным членом Московского университета.

*Конец июня* — *начало июля (н. ст.)* — Гоголь сжигает первую редакцию второго тома «Мертвых душ». Пишет завещание, напечатанное впоследствии в книге «Выбранные места из переписки с друзьями».

*29 июня* — *3 июля (н. ст.)* — вместе с гр. А. П. Толстым Гоголь гостит в Веймаре. Говорит протоиерею Стефану Сабину о своем желании поступить в монастырь.

*24 октября* — *декабрь (н. ст.)* — Гоголь живет в Риме. Встречается с А. А. Ивановым, Ф. А. Моллером, Ф. И. Иорданом. Возобновляет работу над вторым томом «Мертвых душ».

*1847, начало января* — вышли из печати «Выбранные места из переписки с друзьями».

*15 июля (н. ст.)* — письмо В. Г. Белинского Гоголю из Зальцбрунна.

*1848, январь (н. ст.)* — Гоголь выехал из Неаполя в Иерусалим.

*16 февраля* — запись в записной книжке Гоголя: «Николай Гоголь — в Св. Граде».

*1 мая* — обед в честь Гоголя, данный в Одессе его друзьями и почитателями.

*16 сентября* — *9 октября* — Гоголь живет в Петербурге. Встречается с П. А. Плетневым, Виельгорскими, Н. Я. Прокоповичем, А. О. Смирновой, П. В. Анненковым. На вечере у А. А. Комарова знакомится с Н. А. Некрасовым, И. А. Гончаровым, Д. В. Григоровичем, А. В. Дружининым.

*13 октября* — возвращение Гоголя в Москву.

*1849, 19 марта* — Гоголь празднует свое сорокалетие у Аксаковых.

*9 мая* — именинный обед Гоголя в саду у М. П. Погодина.

*Первая половина июля* — поездка Гоголя в Калужскую губернию.  
*Последние числа июля* — возвращение Гоголя из Калуги в Москву.  
*Начало августа* — Гоголь живет на даче у С. П. Шевырева в Больших Вяземах, читает ему первые главы второго тома «Мертвых душ».  
*19 августа* — поездка Гоголя в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.  
*3 декабря* — Гоголь присутствует на чтении А. Н. Островским комедии «Банкрот» («Свои люди — сочтемся»).

*13 июня* — отъезд Гоголя с М. А. Максимовичем из Москвы на Украину.  
*17 июня* — Гоголь и М. А. Максимович прибыли в Оптину пустынь.  
*1 июля* — приезд Гоголя в Васильевку.  
*1 октября* — на именинах матери Гоголь читает ей и сестрам главы второго тома «Мертвых душ».  
*Около 17 октября* — отъезд Гоголя из Васильевки в Одессу.  
*1851, март* — Гоголь у Репниных читает главы второго тома «Мертвых душ».  
*28 марта* — отъезд Гоголя из Одессы.  
*2 июня* — Гоголь посещает Оптину пустынь.  
*Июль — начало августа* — на даче у С. П. Шевырева Гоголь читает ему под большим секретом новые главы второго тома «Мертвых душ» (всего прочитано в черновой редакции семь глав).  
*24 сентября* — Гоголь в третий раз приезжает в Оптину пустынь, посещает старца Макария в скиту. *Около 27 сентября* — Гоголь возвращается в Москву.  
*1 октября* — Гоголь приезжает в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Вместе с отцом Феодором (Бухаревым) посещает студентов Московской духовной академии.  
*3 октября* — Гоголь возвращается в Москву.  
*75 октября* — Гоголь вместе с Аксаковыми смотрит в Малом театре «Ревизора».  
*5 ноября* — на квартире гр. А. П. Толстого Гоголь читает московским писателям и артистам «Ревизора».

*1852, январь* — Гоголь работает над корректурами четырех томов второго издания своих сочинений. Встречается с И. К. Айвазовским.  
*26 января* — кончина Е. М. Хомяковой.  
*7 февраля* — Гоголь исповедуется и причащается Святых Христовых Тайн.  
*10 февраля* — Гоголь просит гр. А. П. Толстого передать свои рукописи митрополиту Филарету, чтобы тот определил, что нужно



печатать, а чего не следует.

*Ночь с 11 на 12 февраля* — Гоголь после продолжительной молитвы сжигает бумаги, среди которых, как полагают, была рукопись второго тома «Мертвых душ».

*16 февраля* — Гоголь приобщился Святых Тайн.

*18 февраля* — Гоголь исповедовался, причастился и соборовался.

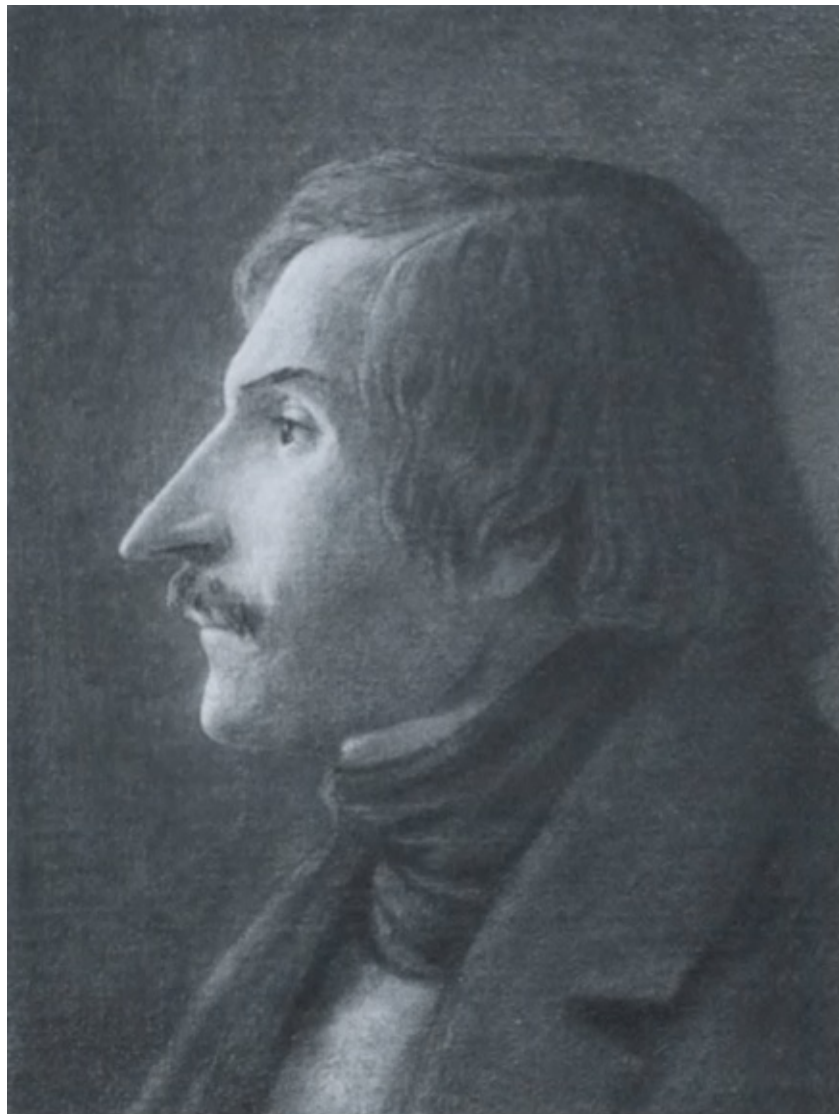
*20 февраля* — граф А. П. Толстой созвал консилиум врачей, который принял решение лечить Гоголя насильно.

*21 февраля в 8 часов утра* — Гоголь умер. Накануне кончины он громко произнес: «Лестницу, поскорее, давай лестницу!»

*24 февраля* — похороны Гоголя на кладбище Свято-Данилова монастыря. На его надгробном памятнике высечена надпись из пророка Иеремии: «Горьким словом моим посмеюсь».

*1931, 31 мая* — останки Гоголя перенесены на Новодевичье кладбище.

# ИЛЛЮСТРАЦИИ



Богомир



***В. А. Гоголь-Яновский, отец писателя***



*М. И. Гоголь-Яновская, мать писателя*



*Дом в Сорочинцах, где родился Н. В. Гоголь*



*Церковь, в которой крестили Н. В. Гоголя. Сорочинцы*



*Господский дом в Васильевке*



*Церковь Святого Николая в Диканьке*





*Яновщина*



*Гоголь-гимназист*



*Здание Гимназии высших наук в Нежине*



*А. С. Пушкин*



***Н. М. Языков***



*Академия художеств в Петербурге*



*М. С. Щепкин*



*Александринский театр*





*Н. В. Гоголь. Рисунок А. А. Иванова*



***А. А. Иванов***



*Обложка первого тома «Мертвых душ». Исполнена по рисунку Н. В. Гоголя*



*Граф А. П. Толстой*



*Дом графа А. П. Толстого*



*А. О. Смирнова-Россет*



***Е. М. Хомякова***



***И. С. Тургенев***





***С. Т. Аксаков***



*Отец Матфей Константиновский*



*Княгиня А. М. Виельгорская-Шаховская*



*Нательный крест Н. В. Гоголя*



*Мертвое море. Художник Г. Чернецов*



*В Оптиной пустыни. Художник Д. Карпунин*



*Памятник Н. В. Гоголю. Скульптор Н. А. Андреев*

## ВАЖНЕЙШИЕ ИСТОЧНИКИ И ПОСОБИЯ<sup>[47]</sup>

- Собрание сочинений Н. В. Гоголя, под ред. Н. С. Тихонравова.  
Собрание сочинений Н. В. Гоголя, из «Красной нивы», 1931.  
Письма Н. В. Гоголя, ред. В. И. Шенрока, изд. Маркса. В 4 т.  
*Шенрок В. И.* Материалы для биографии Н. В. Гоголя. В 4 т. 1892<sup>^</sup>—  
1897.  
*Никрлай М. (П. Кулиш).* Записки о жизни Гоголя. В 2 т. 1855. Памяти В.  
А. Жуковского и Гоголя, под ред. Георгиевского, издание Академии наук.  
Вып. 3. 1909. Литературный музей. Цензурные материалы, под ред. А. С.  
Николаева, Ю. Г. Оксмана, 1921.  
*Аксаков С. Т.* История моего знакомства с Гоголем. Собр. соч.  
*Анненков П. В.* Литературные воспоминания, изд. «Академия», 1928.  
*Тургенев И. С.* Литературные и житейские воспоминания. Собр. соч.  
*Смирнова А. О.* Автобиография, изд. «Мир», 1931.  
*Панаев И. И.* Литературные воспоминания. Собр. соч.  
*Соллогуб В. А.* Воспоминания, изд. «Академия».  
*Арнольди Л. И.* Мое знакомство с Гоголем, «Русский Вестник». Т. 37.  
1862.  
*Тарасенков Л. Т.* Последние дни жизни Гоголя, 1857.  
*Гоголь М. И.* Автобиографическая записка, «Русский Архив». IV. 1902.  
*Вересаев В. В.* Гоголь в жизни, изд. «Академия», 1933.  
*Белинский В. Г.* 1) Собр. соч., под ред. С. А. Венгерова; 2) Статьи о  
Гоголе, ГИЗ, 1923.  
*Чернышевский Н. Г.* Очерки Гоголевского периода, ГИЗ.  
*Овсяннико-Куликовский.* Гоголь, 1913.  
*Котляревский Н. А.* Гоголь, 3-е изд., 1911.  
*Мережковский Д. С.* Гоголь. Творчество, жизнь, религия.  
*Короленко В. Г.* Трагедия великого юмориста. Собр. соч. Т. 2.  
*Брюсов В. Я.* Испепеленный, 1910.  
*Переверзев В. Ф.* Творчество Гоголя, изд. «Основа».  
*Розанов В. В.* Легенда о великом инквизиторе (статьи о  
Гоголе). Магическая страница у Гоголя, «Весы», VIII, 1909.  
*Баженов Н. И.* Болезнь и смерть Гоголя, 1902.  
*Пытин А. Н.* Характеристика литературных мнений, 1909.



- Венгеров С. А.* Писатель-гражданин. Собр. соч. Т. 2. 1913.
- Иванов-Разумник.* История русской общественной мысли. Т. 1.
- Проф. Ермаков.* Очерки по анализу творчества Н. В. Гоголя, ГИЗ.
- Гершензон М. О.* Исторические записки, 1910.
- Анненский И. Ф.* Книга отражений, 1906.
- Мандельштам И.* О характере Гоголевского стиля. Гельсингфорс, 1902.
- Белый Андрей.* Мастерство Гоголя, изд. ГИХЛ, 1934.
- Слонимский А.* Техника комизма у Гоголя, 1923.
- Эйхенбаум Б.* Как сделана «Шинель». Сборник. «Поэтика», 1919.
- Тынянов Ю.* Архаисты и новаторы, Достоевский и Гоголь, изд. «Прибой», 1929.
- Коробка Н. И.* Гоголь как романтик // Образование, № 2, 1902.
- «Гоголь». Сборник статей (А. В. Луначарского, Коробки, Войтоловского, Переверзева и др.), изд. «Никитинские субботники».
- Каменев Л. Б.* Гоголь и «Мертвые души», предисловие к изд. «Мертвые души», ГИХЛ, 1934.

## INFO

Воронский А. К.

В 75 Гоголь / Александр Воронский; вступ. ст. В. А. Воропаева. — М.: Молодая гвардия, 2009. — 447[1] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 1).

ISBN 978-5-235-03228-6

УДК 821.161.1.0(092)

ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8

Воронский Александр Константинович  
ГОГОЛЬ

Главный редактор *А. В. Петров*

Редактор *Л. А. Барыкина*

Художественный редактор *А. В. Никитин*

Технический редактор *В. В. Пилкова*

Корректоры *И. В. Аветисова, Т. И. Маляренко, Г. В. Платова*

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 12.01.2009. Подписано в печать 21.04.2009.  
Формат 70x100/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.  
Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 18,2+0,84 вкл. Тираж 3000 экз.  
Заказ 93010

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства:  
127994, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: <http://mg.gvardiya.ru>.  
E-mail: [dsel@Kvardiva.ru](mailto:dsel@Kvardiva.ru)

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии:  
127994, Москва, Сущевская ул., 21

ISBN 978-5-235-03228-6

---

**notes**

## **Примечания**

**1**

Сведения сообщены Галиной Александровной Воронской и  
Валентиной Ивановной Исаевой — дочерью и внучкой писателя.

Новый мир. 1964. № 10. С. 197.

Разрядка повсюду автора книги. В электронном виде разрядка заменена на курсив.

Шенрок В. И. Материалы для биографии Н. В. Гоголя. Т. II. С. 47–49.



Шенрок В. И. Материалы для биографии Н. В. Гоголя. Т. I. С. 53.

Кулиш П. Записки, Т. I.

Письма, Т. I. 1821 год, 10 декабря.

Письма, Т. I. 1825 год, 23 апреля.

Письма, Т. I, 1928 год.

Шенрок В. И. Материалы. Т. I. С. 320.

Кулиш П. Записки. Т. I. С. 42.

Вересаев В. В. Гоголь в жизни. С. 60.



Данилевский Г. П. Т. XIV. С. 122.

Кулиш П. Записки. Т. I. С. 23.

Анненков П. В. Литературные воспоминания. Изд. «Академия», 1928.  
С. 48, 55.

Аксаков С. П. Собрание соч. Т. IV. Изд. «Просвещение». История моего знакомства с Гоголем. С. 348–352.

Тургенев И. С. Литературные и житейские воспоминания. Т. 12. С. 70–71.

М-н. Воспоминания // Русская Старина, 1881, кн. V.

Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем.

Соллогуб В. А. Воспоминания. Изд. «Академия».



Андрей Белый. Мастерство Гоголя. С. 161–162.

Шенрок В. И. Материалы. Т. II. С. 351–532.

Анненков П. В. Литературные воспоминания. Изд. «Академия», 1928.  
С. 66–70.

В. Вересаев. «Гоголь в жизни», стр. 198–199.

Толстой Федор Иванович, кутила, скандалист.

П. Анненков. «Литературные воспоминания», стр. 95.

Там же, стр. 114–115.

В. Ф. Переверзев. «Творчество Гоголя». Изд. «Основа», стр. 82–83.



В. В. Розанов. «Легенда о великом инквизиторе». О Гоголе, стр. 260–261.

Кулиш. «Записки», том I-й, стр. 329 — 30.

Толстой гр., Александр Петрович, впоследствии обер-прокурор синода.

Панаев И. И. Литературные воспоминания.

Вересаев В. В. Гоголь в жизни. С. 355.

В. В. Вересаев. «Гоголь в жизни», стр. 355.



Кулиш. Записки. Т. II. С. 114.



Вересаев В. В. Гоголь в жизни. С. 399.

Вересаев В. В. Гоголь в жизни. С. 453.

А. О. Смирнова. «Автобиография».

Данилевский Г. П. Т. XIV. Знакомство с Гоголем.

Кулиш, том II, стр. 246.

Вересаев В. В. Гоголь в жизни.

Тарасенков А. Т. Последние дни.

Баженов Н. И. Болезнь и смерть Гоголя. 1902 г. С. 38.



Биографическая хроника составлена В. А. Воропаевым.

Даты, кроме оговоренных случаев, приводятся по старому стилю. Согласно свидетельству матери Гоголя и его родных, он родился именно 19 марта, а не 20-го (как ошибочно указано в метрической книге).

Список источников составлен автором книги А. К. Воронским.